

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
ІСТОРИКО-  
АРХЕОГРАФІЧНИЙ  
ЗБІРНИК

ВИПУСК 4

*З нагоди 60-річного ювілею  
Євгена Абрамовича Чернова*

*За редакцією О.І. Журби*

Дніпропетровськ  
«Ліра»  
2010



Конь тоо сіләнә сәүнәләсв,  
тоо көн фәсәләсв ие сәфәсв-  
әнәс!.. Ненән Конь сәүнәләсв  
әфәсв, ү ғәә һөз...

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
ІСТОРИКО-  
АРХЕОГРАФІЧНИЙ  
ЗБІРНИК

ВИПУСК 4

*З нагоди 60-річного ювілею  
Євгена Абрамовича Чернова*

*За редакцією О.І. Журби*

Дніпропетровськ  
«Ліра»  
2010

**УДК 930.1 (477.63) (082)**  
**ББК 63.1 (4 Укр–4 Дні) я 5**  
**Д 54**

**Редакційна колегія:**

О.І. Журба (головний редактор), Т.Ф. Литвинова (заступник головного редактора), О.П. Толочко, Т.В. Портнова, Л.Ю. Жеребцова, М.В. Кибальна, К.О. Литвинова

**Д 54 Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д.: Ліра, 2010. – Вип. 4: З нагоди 60-річного ювілею Євгена Абрамовича Чернова. – 316 с.**

**ISBN 978-966-383-299-9**

Збірник підготовлений до ювілею одного з провідних істориків та історіографів Дніпропетровського університету Євгена Абрамовича Чернова і представляє собою зібрання його текстів останніх 30 років, присвячених проблемам історії історичного пізнання, регіональної історії, професійної етики історика, розвитку історичної науки і освіти.

Археографічна презентація творчості ювіляра представляє шляхи формування і становлення дніпропетровської історіографічної школи та одного з її лідерів.

Видання викличе інтерес у всіх, хто небайдужий до історії історичної науки, теорії і методології історичного пізнання, формування і функціонування регіонального історіографічного середовища.

**УДК 930.1 (477.63) (082)**  
**ББК 63.1 (4 Укр–4 Дні) я 5**

**ISBN 978-966-383-299-9**

© Голов. ред. О.І. Журба, 2010  
© «Ліра», 2010



# ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ



## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Если бы кто-нибудь весной 2009 г. сказал, что следующий выпуск ДІАЗа появится осенью 2010 г., нашему удивлению не было бы предела. Инициаторы сборника, слишком дорожат его и своей репутацией, слишком хорошо осознают свои возможности и ограничения, чтобы необдуманно, сломя голову выпускать на «свет Божий» невыношенное дитя, вызревание которого, как свидетельствует некоторый родительский опыт\*, измеряется достаточно длительными сроками.

Однако, в данном случае, редколлегия совершенно не опасается обвинений в незрелости и невыношенности текстов, представленных на последующих страницах. Прежде всего потому, что этот выпуск посвящен творчеству нашего близкого и дорогого друга, блестящего интеллектуала, историка-мыслителя, искрометного и обаятельного человека – Евгения Абрамовича Чернова, и представляет собой собрание отобранных нами его текстов за последние почти 30 лет, которые мы отваживаемся представить в качестве юбилейного подарка.

И, хотя, как говорят, «дареному коню...», некоторый трепет, в связи с выходом этой книжки, все причастные к этому событию, несомненно, испытывают. Связан он, прежде всего, с историей подготовки издания. Как говорили еще, кажется, совсем недавно, «идя навстречу славному юбилею», весной этого года мы робко заикнулись Евгению Абрамовичу об идее опубликовать некоторые его тексты, и попросили содействия в их комментировании... Все ирландские вулканы взятые вместе тут же были посыпаны негодующей, бурной, возмущенной реакцией ЕА. Понятное нежелание юбиляра создавать себе прижизненный памятник, столкнувшись с настолько же понятным желанием его настырных друзей хотя бы заложить постамент, определило как формат издания,

---

\* Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д., 1997. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – 536 с.; Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д., 2001. – Вип. 2. – 742 с.; Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д., 2009. – Вип. 3: На пошану професора Анатолія Григоровича Болебруха. – 772 с.

так и «полуподпольные» формы нашей работы над его подготовкой. Из-за отсутствия возможности достаточного комментария от идеи отдельной книжки пришлось отказаться, взвалив всю ответственность за уровень историографической и археографической проработки на формат ДІАЗа и его инициаторов. Это обстоятельство, а также исключительная скромность юбиляра, заставили редколлегию забыть и об амбициозных планах ориентироваться в определении тиража на количество вузов Украины, и первоначально даже вызвало стремление присвоить этому выпуску необычно застенчивый номер (3 ½).

И все же, публикация текстов Евгения Абрамовича именно в этом формате вовсе не случайна. Он – один из самых активных членов редколлегии ДІАЗа, без оригинальных работ которого не обходился ни один из его выпусков. Более того, именно по инициативе юбиляра и в структуре сборника, и в его идеологии одной из принципиальных составляющих обозначилась проблема создания и исследования материалов к изучению днепропетровского «цеха историков». К тому же, с выпуском сборника, посвященного Е.А. Чернову, редколлегия получила возможность органически продолжить «юбилейную тему» начатую ранее, стараясь при этом и избежать громозвучных «фанфар», и заложить шурфы для будущих историографических, источниковедческих и археографических проектов, и, при всем этом, не отказать себе в удовольствии от всей души выразить признательность тем, кого любим, ценим, с кем с радостью общаемся, дружим, связываем собственные планы, проекты, преподавательскую и научную жизнь.

При всех особенностях подготовки издания, оно имеет потенциал стать заметным историографическим событием. Прежде всего, потому, что представляет формы, способы, механизмы стратегии переживания незаурядной личностью, ученым, вузовским и лицейским преподавателем Советского Союза, Украины, Днепропетровска, Днепропетровского университета, исторического факультета, кафедры историографии и источниковедения Евгением Абрамовичем Черновым интеллектуальных и общественных переломов и поворотов последних 30 лет.

В нашем сборнике эти переживания отразились почти исключительно в форме научных текстов. Их отбор осуществлялся

с целью как можно полнее представить основные пласты творчества историка, его направленность, проблематику, стиль мышления и писания.

Насколько репрезентативна наша выборка? По отношению к объему исторических текстов Е.А. Чернова – безусловно. По отношению же к его научно-исследовательской деятельности... По этому поводу возникают обоснованные сомнения, связанные как со спецификами стиля и форм присущих юбиляру способов профессиональной коммуникации и репрезентации, так и с особенностями его понимания смысла и миссии историка в познавательных и общественных процессах.

Не смотря на немалое количество исписанных и опубликованных страниц, Евгений Абрамович, несомненно, приверженец вербальных форм выражения собственной научной и преподавательской идентичности. Монологичные, диалогичные, дискутивные практики формального и неформального общения – излюбленная оболочка для поиска, генезиса, развития, разработки и распространения идей, проектов, планов. Какое это увлекательное времяпровождение! За чашкой кофе или бокалом вина, на прогулке по городу и на отдыхе на даче, дома и в гостях, в университете и вне его, – везде встречи с ЕА обещают собеседнику и полезный обмен мнениями, и подлинно эстетическое удовольствие.

Обостренная научная интуиция Евгения Абрамовича основана не только на прирожденных способностях, но и на глубоком знании и понимании мировой культуры и историографической традиции, на постоянном отслеживании новейших тенденций научного поиска, на собственных оригинальных размышлениях о предназначении и сущности истории и профессии историка. К этому следует добавить характерную для научного и личностного этоса нашего юбиляра широкую открытость, постоянную готовность включаться в обсуждение различных тем, проблем, ситуаций, волнующих других исследователей. Поэтому, наверное, не будет серьезным преувеличением утверждение, что значительная часть сложных научных проектов в жанрах монографических и диссертационных исследований, прежде всего на кафедре историографии, источниковедения и архивоведения (но и не только), были оплодотворены идеями Е.А. Чернова. Его умение тонко и точно уловить в чужой теме главное, сущностное, дать ключевую

подсказку, нередко формирующую новое, неожиданное, оригинальное лицо обсуждаемой работы, способно иногда даже вызывать досаду и раздражение у собеседника: «Ну как же я сам этого не заметил!».

И еще, Евгений Абрамович – историк пламенный, в смысле легко увлекающийся, зажигающийся и зажигающий других своими новыми идеями, текстами, авторами. Стремящийся находиться на острие научного поиска ЕА одним из первых начинал осваивать новые направления, открывая для украинских исследователей неизведанные и неосвоенные познавательные горизонты: «историографический образ», «региональная история», «количественные методы в исторических исследованиях», «интеллектуальная история» – вот только очень поверхностный перечень областей знания, куда за ним, благодаря ему и вместе с ним понемногу стали перемещаться познавательные усилия днепропетровских историков последних двух десятилетий.

В то же время, уяснив для себя сущность поставленных вопросов, Евгений Абрамович способен так же легко «остыть», не считая необходимым закрепить когда-то любимую или облюбованную проблематику, сюжет в виде оформленного текста: «Зачем писать? Я все сказал!..»

Структура этого выпуска определена кругом научных интересов юбиляра. Её открывает цикл статей, посвященных крупному российскому историку Н.И. Надеждину, исследованием исторических и историографических взглядов которого Е.А. Чернов занялся в аспирантские годы с подачи своего научного руководителя, одного из фундаторов историографического направления на историческом факультете ДГУ В.И. Шевцова\*. Окунувшись в атмосферу 30 – 50-х гг. XIX в., время, когда формировалась профессиональная историографическая культура, происходили глубокие идейные

---

\* О.В.И. Шевцове см.: *Колесник И.И. Исследование отечественной историографии в трудах В.И. Шевцова // Актуальные историографические проблемы отечественной истории XVII – XIX веков. Д., 1982. – С. 154 – 163; Чернов Е.А. Ретроспектива и перспективы историографии // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія та джерелознавство у часовому вимірі: Міжвуз. зб. наук. праць / За ред. А.Г. Болебруха. – Д., 2003. – С. 27 – 42; Колесник І.І. Дніпропетровська історіографічна школа: спроба саморефлексії // Ейдос. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 379 – 404.*

сдвиги, попав под влияние обаяния своего героя, ЕА получил отличную школу теоретической и историографической выучки, стал одним из признанных авторитетов в истории исторической науки. Его статьи о Н.И. Надеждине до сих пор востребованы в изучении интеллектуальной истории России того времени.

Несмотря на погруженность в научную проблематику, ЕА постоянно находится в поиске её общественного звучания. Глубокое чувство ответственности за дело, которому посвятил себя, напряженные размышления над морально-этической составляющей деятельности историка во многом способствовало появлению текстов второго раздела.

Бурно обсуждавшиеся как на научном, так и на общественном уровне с конца 1980-х гг. вопросы истоков истории Днепропетровска определили подходы историка в поисках «городских начал» урбанизации Южной Украины, а введенное им понятие «время URBIS» во многом определило «нормализацию» последующих дискуссий, стало важным инструментом урбанистических исследований.

Внимание к местной, в том числе и к городской истории, вместе с глубокой неудовлетворенностью способами презентации истории Украины в начале 90-х гг., стимулировали формирование в сознании историка оригинального наполнения концепта «региональной истории».

Ключевым в концепции Е.А. Чернова стало положение, согласно которому «исторический регион» – не данность, а объект исследовательского поиска. Им был предложен новаторский терминологический регистр, в котором понятия «мерцающий регион», «блуждающий регион» выполняют важную эвристическую роль и несут глубокую смысловую нагрузку, с помощью которой могут открыться новые возможности преодоления глубокого кризиса линейных, телеологических представлений в презентациях гражданской истории в целом.

Особняком во втором разделе стоит «Открытое письмо Виктору Брехуненко». И не только потому, что оно так и не было опубликовано из-за его остроты, необычной формы, некоторой публицистичности. Формально пресвященный проблемам линейных презентаций истории города и не утративший в этой связи своей свежести до сего

дня, этот текст, прежде всего о профессиональной этике историка, о проблеме, которая постоянно находится на острие внимания ЕА.

Работы третьего раздела представляют наиболее теоретически и методологически насыщенную сторону творчества юбиляра, направленную если не на поиски «ключа» к воротам исторического познания, то на выяснение его сущности, предназначения, природы, механизмов, смыслов.

Самым не цельным с точки зрения общности проблематики оказался четвертый раздел. Юбиляр предстает историком очень разносторонних интересов, охватывающих время от XVII до начала XXI в. В то же время, собранные здесь статьи, как нам представляется, подчинены единой научной стратегии – формированию историографической культуры и историографического стиля мышления профессиональных историков.

Стоит обратить внимание также и на то, что Евгений Абрамович, нередко выступает в соавторстве. В его профессиональном этосе коллективные формы творчества занимают важное место как одна из идеальных форм организации сообщества профессионалов. Среди его соавторов – Н.П. Ковальский, А.Г. Болебрух, И.И. Колесник, С.Н Плохий, В.М. Бекетова, В.И. Воронов, М.А. Руднев, Т.В. Портнова, авторы этих строк, и это, кажется, еще не полный список. Общие цели, стратегии, коллективные обсуждения, планы, проекты, – вот стихия Евгения Абрамовича. В значительной степени этому посвящен пятый раздел, в центре внимания которого – судьбы родной кафедры, её научных направлений и перспектив развития, живых, «в крови и кости» (В. Вжозек) историков-коллег. Без сомнения, среди этих материалов выделяется, положивший начало изучению днепропетровского «цеха историков» проект «Н.П. Ковальский: о времени и о себе», а также статья «Ретроспектива и перспективы историографии», вызвавшая непрямую дискуссию с И.И. Колесник по поводу презентаций развития историографии в стенах Днепропетровского университета и размышления по этому же поводу А.Г. Болебруха\*.

В то же время, «за бортом» издания остались тексты, «вписывающиеся» в этот проект, но, по разным причинам, в него

---

\* Колесник І.І. Дніпропетровська історіографічна школа.; Болебрух А.Г. Професія історика: реальність і очікування // ДІАЗ. – 2009. – Вип. 3. – С. 12 – 34.

не вошедшие\*. Откровенно говоря, мы сознательно отказались и от составления, как это принято в подобных случаях, полной научной библиографии юбиляра, оставляя эту заботу потомкам и надеясь, что ими будут учтены все тексты ЕА: малых и очень малых форм, прозаические и поэтические, шахматные и педагогические, опубликованные и даже рукописные...

Как нам известно из задушевных бесед, в розовом детстве у ЕА была мечта, – стать историком и шахматистом. Как историки мы можем только посетовать, что оба эти желания счастливо реализовались. Как действующий мастер спорта, неоднократный чемпион области по шахматам, победитель Всесоюзных универсиад, успешный тренер, который не раз выводил на шахматный «Олимп» Украины своих подопечных, как заместитель председателя областной шахматной федерации, авторитетный в шахматном мире страны человек, ЕА был неоднократных замечен в изменениях Клио. Как говорится, за грехи приходится платить, в том числе отсутствием крупных форм на историческом поприще. Хотя нам известны подобные примеры «разбрасывающихся историков», некоторые из которых с полным правом не только смогли занять достойное место в истории науки, но и существенно повлиять, определить пути её развития.

И все же, нисколько не оправдывая юбиляра, мы искренне надеемся на воплощение им в письменной форме задуманных и уже неоднократно проговоренных крупных проектов: если уж не о

---

\* Методологические аспекты изучения советскими историками развития русской историографической науки второй четверти XIX в. // Теоретико-методологические аспекты развития советской исторической науки. – Д., 1987. – С. 120 – 127; О перестройке преподавания историографии в вузах // Историографическая культура студента-историка: этапы формирования, содержание, значение. – Калинин, 1989. – С. 28 – 35 (Соавторы: Ковальский Н.П., Болебрух А.Г., Колесник И.И.); Заметки дилетанта: Открытое письмо Л.И. Бородкину // Информационный бюллетень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях Российской Академии наук. – М., 1991. – № 4. – С. 63 – 69; Новороссийский период творческой биографии Н.И. Надеждина // Тезисы второй областной историко-краеведческой научно-практической конференции. – О., 1991. – С. 216 – 218; Историография и социология: дидактические аспекты // Программа и тезисы всесоюзной научно-методической конференции «Перестройка исторического образования в вузах страны: опыт, проблемы, поиск». – Д., 1990. – С. 31 – 32; Історична антропологія // Історіографічний словник. – Х., 2004. – С. 69 – 72; Модернізм // Там же. – С. 141 – 144; Постмодернізм // Там же. – С. 201 – 206.

Н.И. Надеждине, то хотя бы, посвященных П.А. Кулишу, проблемам региональной истории, профессиональной этики... Редколлегия клятвенно обещает зарезервировать для любого из них какой-нибудь из последующих выпусков ДІАЗа.

Необходимо сказать также несколько слов об археографических принципах, положенных в основу издания. Они бесхитростны. Редактируя тексты, мы позволяли себе исправлять явные типографские погрешности, не отмечая этого. Кроме того, имея в некоторых случаях в своем распоряжении рукописи, мы использовали их для сверки с опубликованными вариантами, ориентируясь при подготовке нашего издания именно на первоисточник. Хотя, в целом, выявленные различия между рукописными и напечатанными текстами невелики.

Подготовка сборника велась в непростых организационных условиях. Характер издания потребовал серьезных кадровых изменений в составе редколлегии. Так как она была существенно ослаблена отсутствием (по этическим соображениям) одной из важных интеллектуальных единиц, главный редактор был вынужден обратиться к целому ряду коллег, слаженная и напряженная работа которых обеспечила выход этого тома. Доцент кафедры истории Украины ДНУ Т.Ф. Литвинова кроме редактирования оказала неоценимую консультативную помощь и взвалила на себя значительную часть работы по редактированию текста. Сочувственное отношение к сборнику постоянно проявлял член-корреспондент НАН Украины А.П. Толочко, который в коротких промежутках ожесточенных баталий на фронтах «софийской войны», развернувшейся от Скандинавии до Византии, в трудную минуту укреплял нашу веру в необходимость проекта, призывал не бросать задуманное и своим сочувственным словом подбадривал нас в нелегком труде. Горячо откликнулись на идею такого сборника воспитанницы кафедры историографии, источниковедения и архивоведения кандидаты исторических наук Т.В. Портнова и Л.Ю. Жеребцова. Особую благодарность выражаем Ларисе Юрьевне, на плечи которой мы взвалили труд компьютерного макетирования. Нельзя не отметить и магистранта истфака Марину Кибальную, которая с охотой откликнулась на наши призывы о помощи. Посильную лепту в подготовку текстов внесла и Екатерина Олеговна Литвинова, готовность которой преподнести сюрприз близкому другу семьи мы также использовали сполна.

Учитывая характер издания, редколлегия кроме работ самого Е.А. Чернова, сочла необходимым сохранить и традиционную юбилейную рубрику. По объему она занимает скромное место, и виновник, в отличие от предыдущих выпусков, здесь ничего не проговаривает «о времени и о себе». Эту задачу взяли на себя другие. Безусловно, их круг мог бы быть гораздо шире. И мы уверены, что очень многие откликнулись бы на наше предложение. Но пусть они простят нас, поскольку, стремясь сохранить камерность издания, мы сознательно ограничили этот круг наиболее близкими по духу и историографическому «цеху» людьми. Поэтому особую признательность мы выражаем декану исторического факультета Харьковского национального университета, заведующему кафедрой историографии, источниковедения и археологии профессору Сергею Ивановичу Порохову и доктору Дмитрию Белкину (Институт Фритца Бауэра и Еврейский Музей, Франкфурт-на-Майне).

Вот и все. Осталось только пожелать этому тому внимательного, умного и заинтересованного читателя, первым, и надеемся не единственным, будет Евгений Абрамович Чернов.

И наконец, редколлегия искренне благодарит Региональный фонд поддержки гуманитарных исследований «47/48» за неизменную материальную благосклонность к нашим историко-археографическим проектам, что было особенно ощутимо при подготовке именно этого юбилейного издания.

*Татьяна Литвинова, Олег Журба*

*22.11.2010.*

# ЮВІЛЯРУ

## РАССУЖДЕНИЕ ПО ПОВОДУ И БЕЗ ПОВОДА

У нас есть прекрасный повод поговорить об Университетском человеке. Такой повод дает данный юбилей. Евгений Абрамович – как воплощение Университетского человека. Каково, Евгений Абрамович? Слышу Ваш голос: «да бросьте, Вы!». Слышу, но не стану слушать. Я все же скажу о Вас, но не столько для Вас. Вообще, об этом Университетском человеке стоит поговорить и без повода. Итак...

Наверное, если спросить случайного прохожего, но желательно это сделать не очень далеко от университета (не суррогатного), чем отличается университетский человек от неуниверситетского, то, скорее всего, нам ответят, что это знающий человек. Примем этот вариант. Хотя известно, что многознание не есть ум, тем не менее, согласитесь, как интересно общаться со знающим человеком. Он может поддержать беседу на любую тему, а его сведения, возможно, окажутся «как нельзя кстати». Такая беседа не обременяет, она обогащает. Я был свидетелем и участником многих бесед с Евгением Абрамовичем. Это пиршество общения. И я надеюсь, что судьба подарит мне еще это удовольствие. При этом Евгений Абрамович – это не сундук (простите за такой образ!) набитый сокровищами. ЕА – это сеятель. И об этом все знают. Он может дать совет или справку «без повода», я имею в виду формального повода. Вспоминается, как однажды я оказался возле входа в здание Днепропетровского университета рядом с Евгением Абрамовичем, в невероятной толчее входящих и выходящих студентов. Вдруг, продираясь сквозь толпу, к нам ринулся студент. Подойдя, он без всяких вступлений и комментариев задал Евгению Абрамовичу вопрос: «кто, когда и по какому поводу сказал...». ЕА невозмутимо ответил и даже назвал (со словом «кажется») конкретную работу автора. Посмотрев на мое удивленное лицо, ЕА сказал: «я не знаю, зачем ему это нужно». Полагаю, что сам Евгений Абрамович уже забыл эту историю, ведь для него она один эпизод из тысяч. Но она показательна еще вот почему: для ЕА Университет – это все что угодно, но только не формальная иерархия и не способ продвижения по служебной лестнице в табели о рангах.

Но вернемся к вопросу о характерных чертах университетского человека. Опрашивая случайных прохожих в том же месте, возможно, мы бы услышали и утверждение, что это, прежде всего, культурный человек. Сразу замечу, что для многих сегодня «культурный» значит «воспитанный». Вам сказали «здравствуйте», «спасибо», «извините» – значит, вам встретился «культурный» человек. Но, говоря о «культурности», я бы имел в виду нечто другое. Если знание дает «ширину», то культура – «глубину». Применительно к Евгению Абрамовичу можно смело сказать, что он глубокий человек. Для этого достаточно посмотреть ему в глаза. Умные, понимающие. Понять другого человека ой как не просто. Многие бегут к ЕА за советом и «просто так», чтобы быть понятыми. Я сам, впервые оказавшись в Днепропетровском университете, не понимая многоного и многих, озабоченный предстоящей защитой кандидатской, случайно (ли?) встретился на кафедре с ЕА, который, заметив мое мятущееся состояние, нашел несколько слов «по делу», и я ощущил невероятное облегчение, а незнакомый мне ЕА сразу в моих глазах превратился в «доброго незнакомца», «доброжелателя», «которых, наверное, здесь много». Но Евгений Абрамович не «сююкающий» добряк. Он может быть и жестким, и требовательным, и даже категоричным (мне, например, никогда не удавалось расплатиться самому за посиделки в днепропетровском/и не только/ кафе!). Но, прежде всего, он скептичен. В этом последнем – одна из основных черт культуры университетского человека. Сомнения/размышления – вот основа его стиля жизни. К «слову», именно отсюда постоянные комментарии, уточнения и примечания: и к тексту, и в ходе разговора. В дополнение ко всему ЕА историограф. Уже сама дисциплина, которая определила направленность его научных изысканий (методологическая по существу и рефлексирующая по форме), повлияла и на сам процесс мышления. Витиеватость, а в ряде случаев даже виртуозность фразы, оригинальность конструкции мысли, критичность подхода, осознание многоаспектности бытия – все это признаки, признаки настоящего Университетского человека. В них культура и культурность. Но, подчеркну, не внешняя форма примечательна сама по себе. Я хочу быть правильно понят. Напомню, речь идет о том, что связано со словом «глубина». Я вспоминаю один из «круглых столов» во время проведения Астаховских чтений в Харькове. Тогда на повестке дня стоял «простой» вопрос о социальных функциях исторической

науки. Высказываясь «по теме», ЕА достаточно твердо заявил, что одна из основных (если не основная) функция – это «соединять поколения». Как глубоко и как правильно! С тех пор я пробую в этом убеждать и других историков, и не только историков. Сразу ведь вырисовывается иная (отличная от доминирующей сегодня) проекция историописания.

А теперь о том, что дает высоту. ЕА увлеченный человек. Он увлекается чтением, шахматами, идеями... Он предлагает, анализирует, ищет варианты. В этой активности много того, что можно было бы назвать мечтательностью. Как-то проф. А.И. Эпштейн сказал фразу о том, что настоящим мужчиной является именно тот, в ком не умер мальчишка. Я убеждаюсь, что в этом утверждении что-то есть. Сколько вокруг людей уставших от жизни, стремящихся все подытожить, скучных. Евгений Абрамович, как мне представляется, не таков. Его жизненный принцип – «cogito ergo sum». За его мыслью не всякий угонится. Но даже если не получается уgnаться, она окрыляет тех, кто может наблюдать ее. Университетскому человеку хочется летать!

Вам хочется? Тогда ищите встреч с Евгением Абрамовичем!

P.S. Для ЕА.

Дорогой Евгений Абрамович! Я знаю, что у Вас много поклонников и поклонниц. Будет еще больше. Это судьба. Не обижайтесь на нее. Я же прошу ее быть к Вам, как и прежде, благосклонной и даже щедрой. Многая лета!

*Искренне Ваш, С. Посохов  
Ноябрь 2010*

## ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Цель этого короткого сообщения конкретная, а не гипотетическая. Вопрос, что было бы, окажись Евгений Чернов за границей, т.е. вопрос о широко понимаемом ПМЖ здесь не ставится. Этот вопрос не актуален и для самого юбиляра. Гораздо больше интересует вопрос об уже свершившемся, а именно о рецепции идей и слов Чернова за границами Украины.

Тезис этого сообщения: старший преподаватель кафедры историографии и источниковедения Днепропетровского национального Университета имени Олеся Гончара, Евгений Абрамович Чернов оказал, несмотря на свою известную многим дистанцию по отношению к электронным *social networks* и *emails*, через друзей, учеников и коллег ощущимое влияние на интеллектуальный климат части постсоветского пространства. Это влияние безусловно распространяется на дискурсивные пространства США и Европы, где работают люди так или иначе связанные с Днепропетровском Чернова.

Доминирующая форма этого влияния – вербальная коммуникация. Структурообразующим элементом является здесь интеллектуальная интуиция: Евгений Чернов был и остается в состоянии формулировать темы и направления, обладающие высоким потенциалом культурной социализации в различных политico-экономических пространствах.

Абсолютная самоидентификация в качестве историка и (не)стыковка основных элементов этой профессии – идейной составляющей и последующей ремесленной реализации – в сознании и деятельности Евгения Чернова, делают возможной бескорыстную экспансию юбиляра. Ирония и самоирония выполняют при этом функцию входного (и проездного) билета в свободное дарение – и одновременно в приватизацию подобных ситуаций.

Делиться идеями за кофе – лишь кажущийся заурядным жанр. Мир 2000-х перекочевал из библиотек и кафедр в кафе и бары, места – в отсутствии ноутбука и интернета – облюбованные Черновым еще в позднесоветское время. При этом анонимности индивидуальной работы Евгений Чернов противопоставляет жанр диалога, при котором в режим анонимности архивов и формулировок уходят позже коллекции, взявшие импульсы и идеи из кофейного дискурса.

Историк не является сегодня за редкими исключениями проективной фигурой интеллектуального мира. Евгений Чернов называет и считает объектов своей рефлексии историками, а их деятельность историей науки или уже – историографией, рефлектируя при этом о темах, далеко выходящих за институциональные границы исторического познания. Это сужало и сужает круг распространения идей, т.к. не многие нуждаются в усилиях додумывания и достраивания, расширяя одновременно зону попадания в головы (компьютеры) нужных – в значении эти идеи реализующих – людей.

Базисом для подобного типа деятельности Евгения Чернова является советская интеллектуальная культура 70 – 80-х годов. Стимулом – короткая эпоха перестройки (1989 – 94 гг.) Имеющие ментальное и профессиональное отношение к этому времени люди осознают переводимость его ценностей в языки и контексты других стран и эпох. Многоязычный историк Чернов выполняет здесь функцию переводчика.

У данной темы есть социальный аспект, выходящий за рамки сувениров из-за границы. Социально-интеллектуальная необходимость типа ученого и интеллектуала подобного Евгению Чернову бессознательно (а теперь и все больше сознательно) фиксируется институциями, с которыми он профессионально связан в течение многих лет. Не покидая географического ареала и сторонясь жаргонов трансформации, Евгений Чернов без сомнения стал маркой – не на конверте города и университета, а маркой во вполне ее ценностном, но и эмблематичном – виде.

Днепропетровск, дававший импульсы в виде рождения, ибо будущие знаковые фигуры, как правило, покидали город вскоре по выходе из роддома, продемонстрировал в случае Евгения Чернова долгое дыхание – на языке города «хорошую дыхалку». Это умение оставаться на дистанции выходит далеко за пределы способности выживания – качества также далеко не тривиального. Оно существенно с моральной точки зрения и приносит сегодня плоды, в том числе интернациональные.

*Дмитрий Белкин*

*Институт Фримца Бауэра и Еврейский Музей, Франкфурт-на-Майне*

*Ноябрь 2010.*

## ЧЕЛОВЕКУ, СПАВШЕМУ НА БИЛЬЯРДНОМ СТОЛЕ!

(ШАГ К ФОРМИРОВАНИЮ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА  
Е.А. ЧЕРНОВА)

Дорогой друг, говорить о тебе и просто и сложно. Просто, потому, что наша довольно продолжительная дружба, безусловно, дает основания и для воспоминаний, а главное, и для признательности. Сложно, – по той же причине. Множество ипостасей – друг, учитель, советчик, коллега, иногда идейный противник – только усложняют задачу. Смущает и сама дата. К тому же сдерживает опасение что-то пропустить, не найти нужных слов, не попасть в тональность, сомнение в необходимости вообще что-то говорить, тем более по поводу юбилея, тем более публично.

Но жанр публичного обращения, думаю, требует не просто слов благодарности, ритуальных поздравлений-пожеланий в адрес юбиляра. Мне кажется, что это походящий случай для того, чтобы добавить «штрих к портрету», который, может быть, позволит и заинтересованным читателям, лучше узнать ЕА.

Если иметь в виду категорию «историографического образа» (запущена в оборот ЕА во второй половине 1980-х и впервые апробирована в работе моей однокурсницы Жени Корецкой, дипломницы ЕА) и пытаться повлиять на формирование «прижизненного» образа ЕА, то мне кажется, важно подыскать адекватное определение, которое, наиболее точно характеризует Чернова-человека. Конечно, любой, кто его знает, может принять участие в этой увлекательной историографической игре. И вполне возможно получиться не один, а множество образов. А какой из них закрепится и перейдет в следующую фазу, предсказывать не берусь. Возможно, кто-то, особенно студенты младших курсов, не сталкиваясь с ним на финише своего университетского образования, так и пронесут образ вечно недовольного ответами, нахмуренного, как будто корчащего гримасы человека, которого стоит побаиваться. Острое и меткое словцо, иногда колкие и, на первый взгляд, обидные замечания ЕА действительно способны отрезвить и надолго отбить охоту острить у записных юмористов. Возможно, кто-то вспомнит «шуточки», вызывающие одновременно и восторг («Вот это да! Я

бы так не смог!»), и раздражение, и тихую ненависть тех, на кого они чаще всего справедливо направлены. Ум, не всегда доступный пониманию студентов и принимаемый ими, особенно не знающими ЕА близко, за умничанье, – все это, несмотря на постоянную готовность откликнуться на любое позитивное движение, может кем-то восприниматься как высокомерие, стремление отгородиться от студентов, подчеркнуть дистанцию между ними и умным преподом. Возможно, все это вполне справедливо будет дополнять «прижизненную» картинку.

Но мне хотелось бы, опираясь, в том числе и на свой студенческий опыт общения с ЕА, сказать не о другом образе, а лишь о другой грани одного и того же, которая, на мой взгляд, довольно точно отражает суть этого, как сейчас говорят, актора. Для меня Евгений Абрамович – человек, спящий на бильярдном столе. И это не метафора, не какой-то отвлеченный образ, а вполне реальное явление. Поясню, немного углубляясь в историю.

Музейно-архивная практика в Ленинграде в 1987 г., руководителем которой был Евгений Абрамович Чернов, по независящим от него обстоятельствам, почти в самом начале оказалась под угрозой срыва. Уставшую от продолжительного пути нашу группу не смогли принять на «базе», точнее в общежитии архивного управления, в котором традиционно размещались днепропетровские практиканты по договоренности ЕА. На этот раз наши заказанные места заняли какие-то киношники, обещая их освободить только через несколько дней. Не буду останавливаться на всех перипетиях первых часов пребывания в северной столице, скажу лишь, что позаботившись обо всех, определив всех на ночлег, сам ЕА пару, слава Богу, теплых и белых ночей провел под открытым небом. (Напомню, что в то время не было кафе или баров, работавших круглосуточно, разве что в недоступных для простых граждан интуристовских гостиницах). Когда же, наконец, вожделенное для части нашей группы общежитие оказалось свободным, местами ЕА постепенно обеспечил всех, кроме себя. Конечно, это он определял, кого и куда поселить. Конечно, он не мог себе позволить расположиться, прежде не позаботившись обо всех. Не мог он себе позволить и воспользоваться предложением давнего друга-приятеля, профессора Ленинградского университета Ю.Д. Марголиса, не устроив всех студентов. Когда же для ЕА наши ребята нашли место в общежитии какого-то вуза, он вскоре его отдал

неожиданно приехавшему мужу одной из практиканток, бывшему студенту нашего истфака. После этого, не желая никого стеснять, беспокоить, ЕА несколько ночей провел, съедаемый суровыми ленинградскими комарами, не за, а на бильярдном столе, который стоял в бильярдной общежития архивного управления.

Потом все устроилось. Но этот образ человека на бильярдном столе не просто остался в памяти. Человек, склонный к сибаритствованию, к аристократическим замашкам (в хорошем смысле), всегда готов довольно легко жертвовать, терпеть неудобства, делиться, бежать на помощь любому, кто в ней нуждается, особенно тем, «кого приручили». Круг же таковых довольно широк. Его щедрость, иногда граничащая с расточительством, поражает всех. При этом ЕА не безрассуден. Он не банальный альтруист. Просто он убежден, что **так** нужно жить, что это **нормально**. Ежевечерние чаепития на практике в ленинградской общаге никогда не обходились без угощений ЕА. Он всегда порывается угостить, подкормить. И, думаю, в этом со мной согласятся все, кто когда-либо и где-либо был с ЕА на практике. Организованные им чаепития на студенческо-аспирантско-перподавательском кружке еще в начале 1990-х вошли в норму и этот «опыт» перенимается и другими. Все, кому удалось приблизиться к ЕА (а это все, кто этого хотел), лучше его узнать, вряд ли будут его побаиваться, чувствовать высокомерие. Он щедро раздает не только идеи, советы, но и время, средства, может быть, и в ущерб себе, своим близким. Но он такой. По крайней мере, в «прижизненной» фазе эти характеристики уже закрепились, как и нетерпимость к хамству, невежеству, к интеллектуальной лени.

И все же слова признательности: за то, что, поддерживая решение Анны Кирилловны Швидько, подтолкнул меня на «скользкий путь» преподавания истории, к чему я себя не готовила, учась на истфаке; за «историографическую науку», которую недополучила на лекциях аспиранта О.И. Журбы, «брошенного» к нам на четвертый курс читать «Историографию истории СССР» (это общение с Е.А. по поводу историографии, когда я только начинала работать на истфаке и одновременно над кандидатской, еще раз убеждает в необходимости не сокращать, а увеличивать индивидуальную работу со студентами. На семинарах по историографии, которые иногда вел у нас Е.А., правда, очевидно, из-за производственной необходимости, не в группе, а на целом курсе, я, как и большинство присутствующих, как правило, не

могла понять: чего он от нас хочет?). Спасибо за роль поводыря по ЦГИА СССР, Салтыковке и т.д. во время музейно-архивной практики, когда воочию постигались азы многотрудной архивно-библиотечной эвристики. Спасибо за творческую подпитку, за выставленную профессиональную планку, за язвительное подстегивание, иногда раздражающее всезнайство, за споры, иногда до хрипоты, в которых, наверное, отыскивалась «истина», за вечное «однако», за дружеское плечо, на которое всегда можно рассчитывать в сложных жизненных ситуациях, за возможность поплакаться «в жилетку», за расширение дружески-семейного круга, где и Валя, и Вита, и Андрюха, и за многое, многое другое. Долгих, долгих, долгих лет жизни тебе. И делай все, чтобы «мемориальная» фаза наступила как можно позже.

*Т. Литвинова  
23.11.2010*



## РОЗДІЛ 1

# «НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НАДЕЖДИН...»

(НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ)



## ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Н.И. НАДЕЖДИНА\*

Историография отечественной истории, несмотря на сравнительную молодость, имеет уже собственную насыщенную научную биографию, которая, как и история любой науки, любой научной дисциплины, требует своего изучения. Особое значение приобретает анализ узловых моментов истории науки. К таким моментам следует отнести и становление историографии как науки в России. Этот сложный процесс, как уже отмечалось рядом советских исследователей, особенно отчетливо проявляется во второй четверти XIX века<sup>1</sup>.

Одним из пионеров движения русской исторической науки в этом направлении был Н.И. Надеждин (1804 – 1856).

Николая Ивановича Надеждина нельзя назвать «баловнем» историков отечественной исторической науки. Занимая видное место в исследованиях по истории русской литературы, эстетики, журналистики, философии, деятельность Н.И. Надеждина на поприще исторической науки не получила широкого специального освещения как в дореволюционной, так и в советской историографии, хотя сам ученый считал, что «главное направление» его «умственной деятельности всегда было философско-историческое!»<sup>2</sup>

Одним из плодов деятельности Н.И. Надеждина как историка было обращение его к сюжетам историографического характера. Еще в 1829 году, в самом начале своего творческого пути, будущий издатель «Телескопа» явился одним из застрельщиков яростной журнальной полемики вокруг «Истории русского народа» Н.А. Полевого, полемики, которая не прекращалась до тех пор, пока не оборвалось и само издание этой многотомной истории. Несмотря на то, что спорящие стороны не гнушались иногда переходить к прямой бране и наветам и что тем самым дискуссия зачастую представляет больший интерес для истории нравов, чем для истории науки, по ней, отбросив в сторону журнальные дрязги, можно проследить практически основной круг проблем, стоящих перед русской исторической наукой

---

\* Напечатано: Актуальные историографические проблемы отечественной истории XVII – XIX веков: Сб. науч. тр. / Под ред. В. Я. Борщевского. – Д., 1982. – С. 111 – 127.

того времени. Однако полемические экскурсы Н.И. Надеждина, разбросанные по многочисленным статьям и рецензиям, зачастую посвященным неисторической проблематике, не были новым шагом вперед в становлении историографии как науки. Эта форма живого отклика на свежие «историографические факты» прижилась в России с XVIII в.<sup>3</sup>, а к рассматриваемому периоду завоевала прочные позиции на страницах общих русских периодических изданий всех направлений. Таким новым шагом должны были стать специальные работы, посвященные историографии, работы, целью которых был бы не столько критический анализ трудов того или иного автора, сколько осмысление всего хода развития отечественной историографии. В каком-то смысле состояние исторической науки в России можно сравнить с состоянием литературы в это же время: огромное число литературных произведений, ряд серьезных достижений, повышенный интерес общества, борьба литературных направлений, не сознающих адекватно самих себя – все это вызвало к жизни литературную критику, способную осмыслить с философских позиций весь историко-литературный процесс, сформулировать задачи, стоящие перед русской литературой. Во многом похожая картина наблюдается и в исторической науке.

Знаменательно, что как и на литературном, так и на историческом фронте, одним из первых, взявших на себя новую роль, был Н.И. Надеждин, перу которого принадлежит очерк «Об исторических трудах в России»<sup>4</sup>.

Эта статья, с характерным названием, не прошла мимо внимания как современников, так и позднейших исследователей. Из крупных дореволюционных историков, занимавшихся отечественной историографией, ее отмечали П.Н. Милюков<sup>5</sup> и А.С. Лаппо-Данилевский<sup>6</sup>. В советской исторической литературе историографический очерк Н.И. Надеждина упоминается рядом авторов обобщающих трудов по историографии в «сухом» перечне работ историографического характера 20 – 30-х годов XIX в. Правда, С.Л. Пештич в кратком обзорном очерке, открывающем его фундаментальное исследование по историографии XVIII в., упоминая надеждинский труд, отметил его малооригинальность с историографической точки зрения<sup>7</sup>. На этом фоне выделяется небольшая статья В.И. Шевцова, ранняя смерть которого оборвала его плодотворные исследования периода оформления буржуазного

направления в русской историографии, в которой автор коротко отмечает положительные стороны рассматриваемого произведения русского ученого, удачно определив его как «историографический опыт», явившийся одним из этапов становления отечественной историографии как науки<sup>8</sup>.

Целью данной статьи является анализ историографических взглядов Н.И. Надеждина, анализ, который, по мнению автора, может частично восполнить имеющийся в настоящее время пробел в изучении научной деятельности одного из крупнейших отечественных гуманитариев, Н.И. Надеждина, и тем самым способствовать решению более общей проблемы – реконструкции этапа «большого перелома» в развитии самой исторической науки<sup>9</sup>.

Само название очерка Н.И. Надеждина уже во многом определяет предмет исследования его автора, который в рамках одной статьи дает критическое обозрение развития исторической мысли в России. Однако это обозрение для автора не цель, а только средство для выяснения основных задач, стоящих перед молодой исторической наукой. Цель эта обусловила и особенность очерка, упор в котором делается на вопросы теоретического характера, на историю развития методологии отечественной истории; и совсем незначительное место отводится вопросам конкретно-исторического характера, и то только в тесной связи с теоретическими и методическими проблемами. Поэтому не удивительно, что Н.И. Надеждин начинает с определения задач истории как науки, указывая на постепенность, многоэтапность ее становления: от мифологического «самопознания» до «исторической критики», являющейся «необходимым преддверием истории», которая на «высшей и окончательной ступени своего развития, должна, если возможно, быть системою, разумея под этим словом не сухой скелет вываренных и очищенных фактов, но живую картину, расположенную в правильной художественной перспективе, под одним общим светом, с той истиной, до которой достигает живопись и поэзия»<sup>10</sup>. В этом определении для современной историографии особенный интерес представляет, на наш взгляд, оговорка: «если возможно». К этой «оговорке» мы еще вернемся, а здесь заметим, что она знаменательна для ученого, мировоззрение которого складывалось под влиянием немецкой классической философии<sup>11</sup>, ученого, который, по определению Н.Г. Чернышевского, «приблизился, силою самостоятельного мышления, к Гегелю»<sup>12</sup>.

В исторической литературе уже неоднократно отмечалось, что в понимании задач исторической науки Н.И. Надеждин поднялся до требования «философской истории», тем самым солидаризуясь с Н.А. Полевым, наиболее громким глашатаем «философской истории»<sup>13</sup>. Но в отличие от автора «Истории русского народа» Н.И. Надеждин демонстрирует более рафинированный подход к этой проблеме, справедливо указывая на то, что его формулировка задач истории есть пока только «идеал, к которому стремятся общие усилия просвещеннейших историков»<sup>14</sup>.

В развитии отечественной исторической мысли ученый выделяет два основных этапа: докритический (до середины XVIII в.), когда «мы жили, в счастливом довольстве, сказаниями наших предков»<sup>15</sup>, и период «критики», верхние рамки которого не ограничены. Очевидно, что анализу второго этапа должен был предшествовать хоть бы беглый обзор первого, так как все основные усилия исследователей отечественной истории XVIII – первой половины XIX в. были в большей или меньшей степени связаны с изучением первых веков русской истории, а от оценок русского летописания зависела во многом сама возможность ее воссоздания.

Поэтому Н.И. Надеждин и прибегает к такому краткому обзору, причем, памятуя о своих целях, он касается в основном только вопросов, связанных с оценкой главных этапов русского летописания, выделяя только важнейшие летописные своды. Уже в этих кратких характеристиках русских летописей и их полубезымянных авторов проявляется одна сильная черта Н.И. Надеждина-мыслителя – историзм. Историзм для него еще не столько осознанный методологический принцип, сколько неизбежный результат развитого диалектического мышления. Правда, он склонен несколько идеализировать первых летописцев, видя в них только искренних, добровольных подвижников, исключив политическую (о классовой не может быть речи вообще) заданность их трудов<sup>16</sup>. На первый взгляд, в этом вопросе русский ученый находится под влиянием шлецеровского пietета перед Нестором (особенно в своем явном предпочтении русских летописцев западноевропейским и византийским). Но, если восторг А.Л. Шлецера – это восторг источниковеда, открывшего богатейший, уникальнейший источник, то для Н.И. Надеждина – это прежде всего возможность указать на исконные самобытные традиции, которые будут, по его мнению, «живым укором, если мы станем создавать

русскую историю по чужим образцам, если будем смотреть сами на себя сквозь стекло отцветленное иноземным толком»<sup>17</sup>. Эта же, подчеркиваемая самобытность первых летописей, послужила ученому иллюстрацией для психологической характеристики русского народа, который «постигал всегда свое независимое, отдельное назначение, свою недоступность для чуждых влияний»<sup>18</sup>.

Цели и рамки данной статьи не позволяют рассмотреть вопрос о надеждинской теории «народности». Здесь же только отметим, что «чувство историзма» не смогло вытеснить полностью у воспитанника духовной академии теологической трактовки идеи «народности».

Большой интерес представляет характеристика Н.И. Надеждина позднего летописания. Он обращает внимание на политическую обусловленность появления крупных летописных памятников: Степенной книги и Никоновской летописи. И несмотря на то что рассматривает сами эти «сборники» (особенно Никоновскую летопись) как регресс по сравнению с первоначальной летописью, так как авторы создавали их уже «в угоджение известным понятиям и видам, не имели ни добродушной простоты, ни искренней правдивости древних летописцев», несмотря на то, что тем самым была затруднена «будущая работа критики», ученый обращает внимание на важную особенность всего периода в целом, давшего «сказаниям бывшего тружеников характер официальной важности». Н.И. Надеждин подчеркивает, что со «Степенной книги» началась наша «публичная историография»<sup>19</sup>. Этими словами исследователь дает понять, что в объект своего обзора исторических трудов он включает вопросы по «организации истории».

Особенно это становится наглядным в части очерка, посвященной изучению петровской эпохи. Но прежде чем перейти к анализу взглядов Н.И. Надеждина на период зарождения русской исторической науки, отметим, что ему не удалось объяснить причину прекращения летописания в XVII веке. Об этом он пишет не как историк науки, а как преподаватель риторики в духовной семинарии<sup>20</sup>.

Петровская эпоха, по мнению Н.И. Надеждина, – «эпоха действий», и он обращает внимание на действия Петра I, направленные на подъем русской историографии, подчеркивая, что само приобщение России «к жизни человечества» сделало необходимым создание «истории для народа, сделавшегося историческим»<sup>21</sup>. Организационная деятельность Петра I, его распоряжение о «Радзивилловском»

списке летописи, указ 1722 года о собрании древних летописцев и хронографов, проект Академии наук с классом для истории, стремление собирать и публиковать известия иностранцев о России — все это заслужило самую высокую оценку со стороны Н.И. Надеждина, который всегда в восторженных тонах отзывался о петровском «перевороте».

На первый взгляд, здесь ученый противоречит своему же собственному утверждению о недоступности «чуждых влияний» для русского народа. Но «чуждых» не означает «чужих»<sup>22</sup>. И то, что он был не против «чужих» влияний вообще, наглядно свидетельствует его обзор дальнейшего пути русской историографии.

Мы уже видели, что Н.И. Надеждин царствованием Петра I датирует начало нового этапа развития русской истории как науки. Он отмечает, что и после смерти «Великого», толчок, данный всей его деятельностью, медленно, но все-таки начал оказывать свое влияние на движение отечественной историографии. Верный своему принципу ученый обращает внимание только на те факты, которые, по его мнению, способствовали становлению современной ему отечественной исторической науки. Именно поэтому он даже не упоминает о труде секретаря князя Хилкова<sup>23</sup>, и в то же время находит место для того, чтобы отметить деятельность Коля — первого профессора Академии наук по классу истории, — отметить не результаты самой этой деятельности, а деятельность как таковую; именно поэтому он не проходит мимо «Синопсиса» — первого школьного руководства по отечественной истории. Н.И. Надеждин не закрывает глаза на недостатки этого сочинения, но «чувство историзма» в сочетании с просветительскими тенденциями его мировоззрения не позволяет ему не отметить значение «Синопсиса» в развитии исторических знаний в России<sup>24</sup>.

Очевидно, что при таком подходе Н.И. Надеждин тем более высоко оценивает роль Г.З. Байера, который, по его мнению, «открыл своими исследованиями новый критический период нашей истории»<sup>25</sup>.

Г.З. Байер остается интереснейшей фигурой, с историографической точки зрения, и для современной истории науки. Поэтому интересно проследить, как решает эту «проблему» Н.И. Надеждин. В исторической литературе того времени уже сложились определенные традиции в оценке деятельности немецкого ученого, подвившегося на русской истории. Авторитет Г.З. Байера, «духовного праотца»

норманистов («отец» – А.Л. Шлецер) был подкреплен именами самого А.Л. Шлецера и Н.М. Карамзина, видевших его основную заслугу в «открытии» норманнской теории происхождения Русского государства.

Н.И. Надеждин признает негативные явления в деятельности немецкого ученого. Основной же конкретный результат исследований Г.З. Байера – его «теория» – для нашего ученого представляется важной не столько как историческое «открытие», сколько своим общественно-научным резонансом<sup>26</sup>. Выводы Г.З. Байера эпатировали русских, а «грубость ошибок его ободрила самых робких. Начались споры, опровержения, новые толкования и догадки. История невольно увлеклась критическим направлением»<sup>27</sup>. К конфликту вокруг норманнской теории исследователь подходит с позиций историка науки. Поэтому он осуждает те несколько ненаучные методы борьбы, которые иногда избирались антинорманистами, понимая, что ими руководило оскорбленное чувство «народной гордости» и «политические опасения»<sup>28</sup>. Следует отметить, что Н.И. Надеждин не преминул указать и на роль государства, которое с опаской относилось к первым шагам исторической критики. И хотя, по мнению Н.И. Надеждина, царствование Екатерины II «развязало руки исследователям», но «великая монархия» тоже «требовала осторожности от критики». Правда, опытный журналист сумел за это похвалить императрицу, проявившую «знак внимательности к народу юному, который еще не столько освоился с своим настоящим величием, чтобы глядеть беспристрастно в прошедшее»<sup>29</sup>.

Русским историкам XVIII в. Н.И. Надеждин уделяет не много внимания и то только в связи с критическим методом Г.З. Байера и норманнской теорией. Но для нас интересно, что он не противопоставляет их немецкому ученому, хотя большинство русских историков XVIII в. были ярыми противниками выводов Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера и других «норманистов». Для Н.И. Надеждина и В.Н. Татищев, и М.В. Ломоносов, и В.К. Тредиаковский, и М.М. Щербатов, и Ф.А. Эмин, и И.П. Елагин, и даже И.Н. Болтин – все были, в той или иной степени, последователями применимого Г.З. Байером критического метода, принадлежали к его «школе»<sup>30</sup>. Автор выделяет основные черты этой «школы»: поиски «руси» в северном направлении, склонность к филологической критике; указывает и на основной порок «школы», которая, по его

мнению, охотно прибегала к филологическим толкованиям, «тогда как главнейшие материалы критики, летописи не только не были сличены, но даже и напечатаны»<sup>31</sup>.

Конечно можно оспорить, так ли уж справедлив ученый к В.Н. Татищеву, М.В. Ломоносову, И.Н. Болтину и другим русским историкам, но неоспоримым, является высокий для своего времени теоретический уровень историографических рассуждений Н.И. Надеждина. Отметим, что и в конкретной оценке деятельности русских историков XVIII в. ученый сумел преодолеть шлецеровско-карамзинскую традицию пренебрежения их трудов. Если даже в деятельности В.К. Тредиаковского, И.П. Елагина и Ф.А. Эмина он видит положительный момент для русской историографии, то о В.Н. Татищеве, М.В. Ломоносове, М.М. Щербатове и И.Н. Болтине Н.И. Надеждин говорит в уважительном тоне. Интересно, что в очерке нашлось место и для лестной характеристики деятельности выдающегося русского просветителя Н.И. Новикова<sup>32</sup>. Цели статьи не позволили ему исследовать и оценить значение трудов русских историков XVIII в. более подробно<sup>33</sup>.

По-видимому, поверхностное, может быть не из первых рук, знакомство с трудами Густава Эверса не позволило Н.И. Надеждину по достоинству оценить значение исследований дерптского профессора, который для него только лишь «трудолюбивый» ученый, отважившийся «возстать против норманнского происхождения Руси». Вывод же Г. Эверса о происхождении «Руссов от турков» он определил «как ересь неслыханного сумасбродства»<sup>34</sup>. Из этого еще не следует, что Н.И. Надеждин был в этот период «норманистом», просто он отвергает окончательные выводы автора «Истории Руссов»\*.

Поверхностное знакомство и, как следствие этого, недостаточное понимание мыслей Г. Эверса не помешало Н.И. Надеждину указать на «генетическое» родство между норманизмом А.Л. Шлецера и антинорманизмом дерптского ученого, который свои взгляды обосновывает «текстами Нестора», применяя в критике этих текстов метод и дух шлецеровской критики<sup>35</sup>.

---

\* Впоследствии Н.И. Надеждин давал высокую оценку Г. Эверсу, что дало основание М.П. Погодину отнести Н.И. Надеждина чуть ли не к последователям дерптского ученого.

Фактически с именем А.Л. Шлецера Н.И. Надеждин вступает в область современной ему исторической науки. Отсюда историографические рассуждения ученого приобретают особенный интерес. Лишенные известного преимущества ретроспективного взгляда, они (рассуждения) имеют преимущество и прелесть свежего восприятия, восприятия тем более ценного, что оно в то же время базируется на ретроспективном осмыслении всего предшествующего хода развития исторической мысли в России.

В.О. Ключевский отмечал, что развитие русской исторической науки шло по двум направлениям: «панографическо-прагматическому» и «монографическо-критическому»<sup>36</sup>, понимая под первым стремление к разработке цельной прагматической истории, а под вторым – критическую разработку отдельных вопросов и проблем, работу по созданию источниковой базы. Интересно, что это наблюдение В.О. Ключевского близко к мнению Н.И. Надеждина, который в других словах, но фактически говорит о том же, уделяя особенное внимание представителям (по терминологии В.О. Ключевского) монографическо-критического направления, наиболее выдающимся представителем которого был А.Л. Шлецер; и, напротив, русские историки XVIII в., стремившиеся к созданию «панорамной» отечественной истории, русской «наставницы жизни», не нашли себе достойного места в надеждинском обзоре.

Но «История государства Российского» Н.М. Карамзина, несмотря на то, что она была плодом того же стремления, заняла в очерке Н.И. Надеждина солидное место.

У того, кто знаком в общих чертах с полемикой вокруг «Истории русского народа», может сложиться впечатление, что карамзинский труд был для Н.И. Надеждина образцом истории России, и он с ретроградных позиций осуждал Н.А. Полевого. Но более внимательное изучение позволяет понять, что сначала «экс-студент Никодим Аристархович Надоумко»\*, а затем профессор Московского университета, издатель и редактор «Телескопа», не столько хвалили достоинства исторического труда официального историографа, сколько поругивали «Историю...» издателя и редактора «Московского телеграфа».

---

\* Псевдоним Н.И. Надеждина, которым он подписывал критические статьи в «Вестнике Европы».

Н.М. Карамзин был и всегда оставался для Н.И. Надеждина одним из крупнейших русских писателей, «резчиком на языке»<sup>37</sup>. Поэтому в рассматриваемом очерке ученый высоко отзыается о литературных достоинствах творения «историографа», подчеркивая, что «художник (курсив мой. – Е.Ч.) работал изо всех сил, употребил все свои способности и средства, положил лучшее время жизни, даже жизнь свою»<sup>38</sup>. Н.И. Надеждин не скучился на комплименты Н.М. Карамзину и его «Истории...», называя ее великолепным храмом, замечая, что это «бессмертное произведение составляет эпоху в нашей исторической литературе».

Но мы уже видели, что по надеждинской «шкале» наиболее высоко оцениваются только те ученые, которые, по его мнению, внесли нечто принципиально новое в методологию и методику исследования, дали начало новому направлению в развитии отечественной исторической мысли, и, наконец, их деятельность положительно бы отразилась на всем последующем ходе исторической науки в России. С этих точек зрения научно-историческая деятельность Н.М. Карамзина оценивается Н.И. Надеждиным не так уж высоко. И хотя ученый отдает должное литератору Н.М. Карамзину, сумевшему подняться до уровня исторической критики, отдает должное его научной добросовестности, но подчеркивает «шлецеризм» Н.М. Карамзина-историка, не подвинувшего «вперед исторической нашей критики»<sup>39</sup>. Более того, исследователь склонен утверждать зависимость автора «Истории государства Российского» от А.Л. Шлецера и в конкретных вопросах, полагая, что там, где «историограф» мог пользоваться результатами исследований геттингенского профессора, там он чувствует себя увереннее, ступает, по словам Н.И. Надеждина, «твердою ногою». При написании же истории «удельного периода» критической «закалки» Н.М. Карамзина не хватило для того, чтобы разобраться «в глухой и непроходимой чаще имен»<sup>40</sup>. Он замечает, что, несмотря на запутанность истории «удельного периода», можно было бы добиться большей ясности, осветив ее, исходя из «внутренней связи событий», а не хронологии<sup>41</sup>.

В целом, положительно отзываясь об освещении Н.М. Карамзиным эпохи «Московского царства», ученый не упускает случай отметить недостаточность критических методов Н.М. Карамзина, относя эту слабость на счет всей «экзегетической» критики.

И хотя после солидной порции замечаний Н.И. Надеждин «нанизывает» комплимент за комплиментом в адрес покойного уже к тому времени писателя-историка, мы можем сделать вывод, что наш ученый в оценке Н.М. Карамзина-историка был не так уж далек от своего недавнего противника Н.А. Полевого. Правда, критика Н.И. Надеждина в «Истории государства Российского» – узко научная. Она далека от декабристской критики социально-политической концепции Н.М. Карамзина, не касается и философских основ, как критика Н.А. Полевого, не подвергает пересмотру отдельные выводы автора «Истории государства Российской», как критика М.Т. Каченовского и Н.С. Арцыбашева. В то же время можно упрекнуть Н.И. Надеждина и в несколько неисторичном подходе к Н.М. Карамзину-критику, так как он явно уменьшил заслуги историка в области критической разработки отечественных источников. Однако в целом исследователь дал довольно верную оценку значению «Истории...» Н.М. Карамзина, отметив, что «Карамзин заставил нас впервые прочесть свою историю на звучном языке, который сам для неё создал, и сверх-того подготовил огромный запас сведений в своих драгоценных «Примечаниях», которые можно назвать библиотекою нашей древности. Это последнее с лихвой выкупает все недостатки»<sup>42</sup>.

Историографическое «чутье» не подвело Н.И. Надеждина, коротко и точно указавшего на основные нетленные ценности «Истории государства Российской».

Эта высокая оценка достоинств карамзинского исторического труда сочетается у исследователя с подспудной мыслью о том, что эти достоинства имели и негативную сторону. Мысль, на первый взгляд парадоксальная, имеет при более тщательном анализе объяснение. Сторонник шлецеровской программы широких подготовительных работ, Н.И. Надеждин склонен считать всякие попытки написания полной истории преждевременными, не вытекающими органично из состояния исторических знаний, и поэтому, не имей «История...» Н.М. Карамзина столь яркие достоинства, можно было бы четче осознать, на что направить основные усилия, не произошло бы и «канонизации» труда и имени его создателя. Если в процессе уже неоднократно упоминаемой полемики с Н.А. Полевым Н.И. Надеждин, в пылу борьбы, выставлял своего противника чуть ли не еретиком, посягнувшим на «святая святых» – Н.М. Карамзина

и его труд, то в рассматриваемом очерке он, не без сожаления, отмечает, что заносить руку критики на основания, уже положенные, считалось почти святотатством<sup>43</sup>. Хотя тут же ученый отмечает и явную слабость попытка первоначальной критики карамзинского сочинения, видя в ней только «мародерские наезды на слова». Можно с полным основанием упрекнуть Н.И. Надеждина, который, дабы его мысль о «парализующем» воздействии карамзинской «Истории...» выглядела более убедительно, допускает извращение, сознательно умалчивая о тех серьезных разборах труда историографа, имевших место с первых же опубликованных томов его «Истории...»<sup>44</sup>.

Несмотря на риторическую эффектность этой мысли, ученый все же довольно легко расстается с ней и возвращается к своей основной «историографической идее» – важности шлецеровского **направления**, отмечая, что дальнейшее движение науки вперед было связано с продолжением сбора материала по древнерусской истории, с реализацией шлецеровской программы и его заветной мечты, заразившей последующие поколения, – видеть подлинного «Нестора». И в этой связи, коротко, но с явной симпатией, ученый отмечает деятельность Археографической комиссии и Московского общества истории и древностей.

Но основное внимание Н.И. Надеждин обращает не на столь ценимое им направление усилий исторической науки, а на оценку «Истории русского народа» Н.А. Полевого.

«История...» Н.А. Полевого на протяжении длительного времени была излюбленным объектом критики Н.И. Надеждина. Однако в рассматриваемом очерке отношение ученого к труду Н.А. Полевого, как верно заметил В.И. Шевцов, стало более беспристрастным и объективным<sup>45</sup>. И если в целом сама «История...» подвергается довольно серьезной критике, то Н.А. Полевому-историку отдается должное. Н.И. Надеждин фактически прибегает к самокритике, когда отмечает, что «преувеличение не видело ни настоящих достоинств сочинения, ни его настоящих недостатков», добавляя, что «похвала, в таких делах, всегда более права»<sup>46</sup>. Но несмотря на свое утверждение о «правоте похвалы», Н.И. Надеждин, характеризуя и оценивая труд Н.А. Полевого, очень редко прибегает к возможности «быть правым».

Предшествующий анализ взглядов Н.И. Надеждина показывает, как высоко ценились им те ученые, которые делали новый шаг

в становлении научного метода отечественной историографии. Однако Н.А. Полевому, решившему применить к русской истории новейшую методологию западноевропейской исторической мысли, Н.И. Надеждин не только не отдает в этом должное, но и склонен отметить как положительное только то, что «у него (Н.А. Полевого. – Е.Ч.) разсыпано много живых картин, много новых удачных замечаний, много занимательных страниц»<sup>47</sup>. На первый взгляд, напрашивается вывод о неприятии Н.И. Надеждина философских и методологических концепций западноевропейской историографии. Но из формулировки ученым задач исторической науки и довольно подробной характеристики причин, побудивших Н.А. Полевого взяться за «Историю русского народа», отчетливо видно, что Н.И. Надеждин прекрасно сознает и признает роль и значение новейших достижений исторической науки в Западной Европе. И вот именно в этом месте проливается свет на один из важнейших аспектов историографической концепции русского ученого-публициста.

Выше уже шла речь о «чуждых» и «чужих» влияниях, и главная «вина» Н.А. Полевого, в глазах Н.И. Надеждина, состоит в том, что он пытался механически перенести на русскую историю европейские «образцы». Нет, ученому не чужда мысль Н.А. Полевого о создании отечественной истории, основанной на «чистых фактах» и просветленной «высшими взглядами», но он считает, что «высшие взгляды» и «чистые факты» в исторической науке возможны только при определенном уровне развития отечественной исторической мысли. А лучшим доказательством этого для него является сама «История русского народа», в которой намерения ее автора, так, в основном, и остались намерениями из-за, подчеркиваемой Н.И. Надеждиным, «нынешней, весьма слабой обработки исторических материалов в России»<sup>48</sup>.

Ученый практически отказывается от традиции сравнивать труды Н.М. Карамзина и Н.А. Полевого, хотя, очевидно, отдавая предпочтение «Истории государства Российского», он, по-видимому, не видит серьезных оснований для противопоставлений, так как, несмотря на все заверения Н.А. Полевого, считает его только «шлецеристом» в исторической критике и «антишлецеристом» в направлении исторической деятельности.

Поэтому, признавая все-таки общую полезность труда Н.А. Полевого, Н.И. Надеждин не признает заслугу историка в том, что

он одним из первых громко заговорил о необходимости философского осмысления отечественной истории. В эволюционистской, по своей сути, схеме Н.И. Надеждина взглядам, пропагандируемым Н.А. Полевым, нет места. «Каждому овощу – свое время» – эта пословица как нельзя лучше выражает мысль Н.И. Надеждина. И одна из основных бед современной ему отечественной историографии, по мнению ученого, состоит в этом поспешном стремлении к созданию «прагматической русской истории», стремлении, которое сопутствует всему ходу научно-исторического процесса в России. «За Байером, – сетует Н.И. Надеждин, – который предложил несколько удачных словопроизводств, следовали немедленно Ломоносов, Щербатов, Эмин. На нескольких страницах древнего временника, очищенных Шлецером, воздвигнулось великолепное здание «Истории Российского Государства»<sup>49</sup>.

Далее исследователь обращает внимание на современных ему «прагматиков», полагающих, что успех «прагматической истории» зависит в основном от выбора плана. И хотя Н.И. Надеждин не называет имен, очевидно, что он имеет в виду прежде всего Н.Г. Устриялова, защитившего в 1836 году докторскую диссертацию на тему «О системе прагматической русской истории»<sup>50</sup>. Н.И. Надеждин не отвергает саму идея создания такой истории, но полагает, что ее созданною мешает не столько отсутствие верного плана, сколько скудость материалов. «Смета средств, – утверждает он, – должна предшествовать плану. Надо не факты прибирать для системы, но систему выводить из фактов. Иначе история наша будет безконечным шитьем Пенелопы, которое, вечно разделяясь, никогда не доделается»<sup>51</sup>.

Приведенная мысль Н.И. Надеждина и упоминаемая в начале данной статьи «оговорка» в определении им задач исторической науки, наглядно свидетельствуют, что как историк в методологическом отношении русский ученый был близок к позитивистской методологии истории, был одним из тех, кто способствовал распространению идей позитивизма в русской исторической науке.

Близость к «контизму» отчетливо прослеживается при рассмотрении Н.И. Надеждина так называемой «скептической школы». Однако, на наш взгляд, этот вопрос настолько интересен и настолько тесно смыкается с «критическими» принципами самого ученого, что заслуживает самостоятельного изучения с позиций историографии отечественного источниковедения. Поэтому ограничимся только тем,

что отметим Н.И. Надеждина как одного из самых серьезнейших историков и критиков «скептической школы». Ученый, отвергая крайние выводы «скептиков», доказывая несостоятельность их посылок, сумел «вместе с водой не выплеснуть и ребенка»: сумел «вылущить» «рациональное зерно», содержащееся в этих посылках.

Таким образом, изучение историографического очерка Н.И. Надеждина является яркой иллюстрацией мысли о том, что в 30-е годы XIX в. русская историческая наука вступила в такую стадию развития, при которой появилась возможность и необходимость качественно нового метода исторического познания – историографии. Более того, исходя из современных определений задач историографического анализа, можно сделать вывод и о том, что статья Н.И. Надеждина «Об исторических трудах в России» в целом соответствует этим задачам, и может расцениваться как историографический факт в истории историографии.

Для истории историографии очерк Н.И. Надеждина представляет интерес во всей его целостности, но этим не исчерпывается значение работы русского ученого-энциклопедиста.

Замечательной стороной этого «факта» является постоянный интерес автора к тому кругу вопросов, который определен в новейшей советской исторической литературе как самая главная задача историографии – «истории развития методологии исторической науки»<sup>52</sup>.

Немалый интерес для современной науки представляют конкретные историографические наблюдения Н.И. Надеждина. Его оценки Г.З. Байера, А.Л. Шлецера, Н.М. Карамзина, Н.А. Полевого, «скептической школы», несмотря на то, что они (оценки), конечно, лишены социально-классового содержания, не утратили своего значения и для современной историографии, в которой многие вопросы, поднятые Н.И. Надеждиным, остались еще до конца не выясненными. Эта «жизненность» надеждинских характеристик связана с «историзмом» его мировоззрения.

Историографические взгляды Н.И. Надеждина являются прекрасным источником для реконструкции этого мировоззрения. Даже на таком сравнительно небольшом материале можно проследить сильные и слабые стороны русского ученого-мыслителя, энциклопедизм которого не позволяет определить одним словом предмет его научных интересов.

Как историк Н.И. Надеждин объективно был представителем оформлявшегося буржуазного направления, но одновременно был одним из серьезнейших оппонентов многих крупнейших представителей этого направления, критикуя их зачастую с позиций «вчерашнего дня» средствами «завтрашнего».

В русской историографии второй четверти XIX в., пожалуй, трудно найти какую-либо другую фигуру, взгляды которой могли бы с полным основанием служить источником возникновения и развития последующих различных направлений русской общественно-политической мысли.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> См.: Сахаров А.М. О предмете историографических исследований // История СССР. – 1974. – №3. – С. 90; Шевцов В. И. Вопросы отечественной историографии в русской исторической литературе 20 – 30-х годов XIX века. // Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения. — Д., 1976. – С. 128.

<sup>2</sup> Письмо Н.И. Надеждина к Ю.Н. Бартеневу // Русский архив. – 1864. – № 1. – Стб. 45 – 46.

<sup>3</sup> См.: Болтун И.Н. Критические примечания на Историю князя Щербатова. – Спб., 1793 – 1794.

<sup>4</sup> См.: Библиотека для чтения. – 1837. – Т. 20. – № 1 – 2. – С. 93 – 136. Подробности о публикации этой статьи см.: ЦГИА СССР в г. Ленинграде. Ф. № 777. – Оп. 1. – Д. № 1387. – Л. 1 – 4.

<sup>5</sup> См.: Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. – 3-е изд. – Спб., 1913. – С. 234.

<sup>6</sup> См.: Лаппо-Данилевский А.С. Очерки по русской историографии. Литография. – Б.м., б.г. – С. 21 – 22.

<sup>7</sup> См.: Пешитич С.Л. Русская историография XVIII в. – Л., 1961. – Ч. 1. С. 21 – 22.

<sup>8</sup> См.: Шевцов В. И. Указ. соч. – С. 142 – 144.

<sup>9</sup> См.: Сахаров А. М. Указ. соч. – С. 90.

<sup>10</sup> Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России. – С. 94 – 95.

<sup>11</sup> См.: Надеждин Н.И. Автобиография. С доп. П.С. Савельева // Русский вестник. – 1856. – Т. – 2. – Кн. 1. – С. 53 – 55.

<sup>12</sup> Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Н.Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. – М., 1947. – Т. 3 – С. 159.

<sup>13</sup> Милюков П.Н. Указ. соч. – С. 239, 252, 253.

<sup>14</sup> Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России. – С. 95.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> См.: Там же. – С. 96 – 97.

<sup>17</sup> Там же. – С. 97.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Там же. – С. 97 – 98.

<sup>20</sup> Н.И. Надеждин преподавал риторику в Рязанской семинарии в 1824 – 1826 гг. – См.: *Ростиславов Д.И.* Записки. О Николае Ивановиче Надеждине // Русская старина. – 1894. – № 6. – С. 99 – 406.

<sup>21</sup> *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России. – С. 99.

<sup>22</sup> См.: *Надеждин Н.И.* Европеизм и народность в отношении к русской словесности. – В кн.: *Надеждин Н.И.* Литературная критика. Эстетика. – М., 1972, – С. 412 – 413.

<sup>23</sup> См.: *Манкиев А.* Ядро Российской истории. – М. 1770.

<sup>24</sup> См.: *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России. – С. 100.

<sup>25</sup> Там же. – С. 101.

<sup>26</sup> Только в начале 40-х годов Н.И. Надеждин определенно высказывается как сторонник теории южного происхождения «Руси». – См.: Погодин М.П. Рец.: Надеждин Н. Речь. Важность исторических и археологических исследований Новороссийского края, преимущественно в отношении к Истории и Древностям Русским // Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей – Одесса, 1840. // Москвитянин. – 1841. – Ч. 1. – № 2. – С. 547 – 557.

<sup>27</sup> *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России. – С. 101.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> См.: Там же. – С. 102.

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> См.: Там же. – С. 116.

<sup>33</sup> В 1842 году Н.И. Надеждин писал о В.Н. Татищеве: «Татищев, труженик незабвенный па поприще отечественной истории и, при всех своих ошибках, гораздо ученейший и добросовестнейший нежели как его считают ныне...». – См.: *Надеждин Н.И.* О местоположении древнего города Пересечена, принадлежавшего народу угличам. // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1844. – Ч. 1. – (цит. по оттиску. – Одесса, 1842. – С. 4).

<sup>34</sup> *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России. – С. 108.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> *Ключевский В.О.* Соч. – Т. 8. – С. 406.

<sup>37</sup> *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России. – С. 108.

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Там же. – С. 109.

<sup>40</sup> Там же.

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup> Там же. – С. 110.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> *Каченовский М.Т.* От киевского жителя к его другу // Вестник Европы. – 1818. – № 18; 1819. – № 2 – 6.

<sup>45</sup> *Шевцов В.И.* Указ. соч. – С. 143.

<sup>46</sup> *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России. – С. 113.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> Там же. – С. 112 – 113.

<sup>49</sup> Там же. – С. 113.

<sup>50</sup> *Устялов Н.* О системе прагматической русской истории. – СПб., 1836.

<sup>51</sup> Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России. – С. 115.

<sup>52</sup> Сахаров А.М. Указ. соч. – С. 109.

## К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 30-Х ГОДОВ XIX ВЕКА\*

Одним из самых значительных явлений русской дореволюционной научно-просветительной мысли было создание общих и специальных многотомных энциклопедических словарей.

Имена их издателей занимают почетное место в летописях отечественной науки и культуры, а такие словари, как Брокгауза и Эфрона, братьев Гранат и в наши дни, наравне с современными энциклопедиями, служат в качестве необходимой научно-справочной литературы.

Но для исторической науки ценность энциклопедических словарей определяется не только возможностью их использования как справочников, а и тем, что они являются оригинальными и богатейшими историческими источниками.

Трудно себе представить серьезное историческое исследование, посвященное, например, проблемам французского Просвещения, без обращения исследователя к знаменитой «Энциклопедии...» Д. Дидро и его соратников.

В то же время русские энциклопедии до сих пор еще не заняли полноправного места в корпусе источников по различным проблемам отечественной истории. Использование материалов энциклопедии как источников зачастую носит спорадический характер, а специалисты-источниковеды, несмотря на «экспансию» источниковедения в последние годы, не включили эти памятники в круг источниковедческой проблематики.

В настоящей статье предпринята попытка использовать «Энциклопедический Лексикон» А.А. Плюшара как источник по

---

\* Напечатано: Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории. Источники по социально-экономической истории России и Украины XVII – XIX веков: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.П. Ковальского. – Д., 1983. – С. 102 – 107.

истории социально-экономической мысли России 30-х годов XIX в.\*, точнее, статьи одного из сотрудников «Лексикона» – Николая Ивановича Надеждина (1804 – 1856).

Сотрудничество Н.И. Надеждина в «Лексиконе» было непродолжительным, но весьма продуктивным. В VIII – XI томах «ЭЛ»\*\* Н.И. Надеждин опубликовал 125 статей<sup>1</sup> по широкому кругу вопросов.

Необходимо отметить, что сотрудничество Н.И. Надеждина в «Лексиконе» во многом обусловлено его ссылкой в Усть-Сысольск, последовавшей в связи с опубликованием в «Телескопе» «Философического письма» П.Я. Чаадаева<sup>2</sup>. Лишенный средств существования, обремененный долгами, опальный ученый-литератор заключил договор с издателем «ЭЛ». Этим объясняется и столь высокая продуктивность и разнообразие тематики статей.

Но начало деятельности Н.И. Надеждина в плюшаровском издании связано также и с изменением программы «Лексикона». Если большинство статей первых восьми томов не отличались оригинальностью, а представляли собой в основном переводы с западноевропейских языков, то в предисловии к IX тому главный редактор А. Шенин писал: «...каждая страна, каждый народ имеет надобность в своей энциклопедии, которая соответствовала бы состоянию общества и его требованиям. Эту задачу предложили мы теперь себе. Знаем, что решение ее нелегко, особенно в России, где еще так неровно разлито просвещение, где потребности умственной пищи в каждом классе народа, в каждом kraю, удивительны и разнообразны. <...>... «Русский Энциклопедический Лексикон» должен поставить себе главнейшим отличием и главнейшим своим правом на занятие места в Европейском литературе, полноту и верность статей, относящихся к нашей истории, географии, топографии и статистики, чтобы мы, русские, могли достойно отплатить нашим Европейским собратьям за то, что сами заимствовали из их энциклопедий...»<sup>3</sup>.

---

\* «Энциклопедический Лексион» издавался в 1835 – 1841 гг. петербургским книгоиздателем Александром Адольфовичем Плюшаром (1806 – 1865); был первой попыткой издания русского многотомного общего энциклопедического словаря. Издано всего 17 томов. Издание прекратилось на букве «Д» в связи с финансовыми и организационными неурядицами

\*\* «ЭЛ» – здесь и далее «Энциклопедический Лексикон».

Для реализации этой программы «ЭЛ» нуждался именно в таких ученых, как Н.И. Надеждин, европейская образованность которого сочеталась с глубокими и разнообразными познаниями в истории, этнографии, географии России, подлинным интересом ко всему национальному, отечественному.

Но изменение программы «Лексикона» не отразилось на его официозной общественно-политической направленности. Более того, есть основания полагать, что это изменение в какой-то степени явилось своеобразной реакцией на Чаадаевский «выстрел» (А.И. Герцен). Поэтому, обращаясь к «ЭЛ» как источнику, необходимо учитывать его официозно-академический характер, поддерживаемый, с одной стороны, патриотическо-национальной ностальгией большинства образованной части русского общества, с другой – свежими воспоминаниями о судьбах Н.А. Полевого, Н.И. Надеждина, и П.Я. Чаадаева.

Вопросы социально-экономического характера, несмотря на их злободневность для России того времени, не нашли в «Лексиконе» достаточно полного освещения. Это свидетельство, как и уже отмеченной консервативной общественно-политической направленности заданной словарю, так и недостаточной развитости русской социально-экономической мысли<sup>4</sup>.

Все статьи «ЭЛ», служащие источником по изучению отечественной социально-экономической мысли, можно условно разделить на две группы: первая – посвященные непосредственно социально-экономическим вопросам, в основном политического характера; вторая – географические и этнографические.

Об уровне и направленности большинства статей первой группы свидетельствует, например, статья Д.П. Шелухова «Вольнонаемный»<sup>5</sup>, в которой автор, признавая, что с вольнонаемным трудом «мы мало знакомы»<sup>6</sup> заканчивает свое описание так: «Для всякого очевидно, какое великое преимущество имеют наши Русские крестьяне перед иноземными всех государств в свете. Что может мешать счастливому быту наших крестьян и их довольству в жизни? Перед ними открыты все роды промышленности: сельского хозяйства, торговая и ремесленная, которые с жадностью требуют рук». Ответ на этот вопрос экономиста-крепостника не менее красноречив: «...нашему крестьянину недостает только некоторой степенидержанности от горячих напитков, нравственности и семейном быту своем, ясных

понятий о своем деле и искусства в сельском хозяйстве: не то он был бы Крезом перед чужеземными крестьянами»<sup>7</sup>.

Если статьи первой группы являются интересными источниками по изучению истории социально-экономической мысли, то источниковое значение статей второй группы более существенное.

Иллюстрацией этого может служить статья Н.И. Надеждина «Великий Устюг», опубликованная в IX томе «ЭЛ»<sup>8</sup>.

Несмотря на то, что социально-экономические характеристики Великого Устюга занимают сравнительно небольшое место в статье Н.И. Надеждина, они являются замечательным подтверждением мысли об источниковом богатстве «Энциклопедического Лексикона» А.А. Плюшара.

В чем же мы видим это богатство? Прежде всего, – в многоплановости, в возможности использовать содержащуюся информацию для изучения разнообразного круга вопросов. Во-первых, наличие конкретных статистико-экономических данных по Великому Устюгу, которые могут быть сопоставлены с другими статистическими источниками и, в свою очередь, служить дополнительным источником проверки их достоверности, так как автор мог использовать неизвестные нам источники, а также опираться на собственные аудио-визуальные наблюдения\*; во-вторых, экономическое описание Великого Устюга содержит в себе информацию не только локального характера, но и общероссийского. Так, например, Н.И. Надеждин указывает, что «Устюг принадлежит к лучшим, самым промышленным и богатейшим городам северной России»<sup>9</sup>. Приведенные же статистические данные по «промышленности» Великого Устюга позволяют представить себе уровень промышленного развития других городов Северной России. В этом же плане интерес могут представить данные об Устюге как центре беломорской торговли, снабжающем Архангельский порт товарами русского экспорта: щетиной, льном, паклей, говяжьим салом, хлебом<sup>10</sup>.

В-третьих, здесь же содержаться скучные, но красноречивые сведения о постепенном падении кустарно-промышленного и торгового значения Устюга. Сведения, которые могут быть использованы не только для изучения современной Н.И. Надеждину

---

\* Н.И. Надеждин некоторое время жил в Великом Устюге в период ссылки.

экономики северных районов Европейской части России, но и более позднего времени. Сам автор объясняет факт упадка как результат «быстрого развития тех же ветвей промышленности внутри империи и других удобнейших путей отпуска...»<sup>11</sup>.

И в-четвертых, – это возможность изучения данного источника с точки зрения историографии, то есть возможность принципиально отличного от предыдущих подхода к источнику – историографического. Причем и в этой своей «кипостаси» он может быть интерпретирован как с позиций изучения социально-экономической мысли 30-х годов XIX в., так и с позиций изучения научных интересов, мировоззрения самого автора.

При всем подчеркиваемом нами богатстве и многоплановости материалов «Энциклопедического Лексикона» и других энциклопедических словарей как исторических источников следует учитывать, что далеко не по всем вопросам целесообразно использование их в источниковедческой практике.

Однако по таким проблемам, как изучение истории общественно-политической мысли в различных ее проявлениях, по изучению истории отдельных отраслей научного знания тех периодов, когда эти отрасли еще не вышли окончательно из «энциклопедического» лона, материалы энциклопедических словарей являются ценными, полноправными источниками, без привлечения и всестороннего изучения которых исследование этих проблем будет не полным.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Энциклопедический Лексикон. – Спб., 1837, – Т. VIII, IX, X; 1838. – Т. XI.

<sup>2</sup> Телескоп. – 1836. – № 15.

<sup>3</sup> Энциклопедический Лексикон, предисловие. – Т. IX. – С. 6 – 7.

<sup>4</sup> См.: Русская экономическая мысль в эпоху кризиса и ликвидации крепостничества // История русской экономической мысли. Эпоха феодализма. – М., 1958. – Т. 1, – Ч. 2. – С. 203 – 262.

<sup>5</sup> Энциклопедический Лексикон. Д. Ш-в. Вольнонаемный. – Т. XI, С. 365 – 369.

<sup>6</sup> Там же. – С. 366.

<sup>7</sup> Там же. – С. 367.

<sup>8</sup> Там же. – Т. IX. – С. 291 – 296.

<sup>9</sup> Там же. – С. 291.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же.

## ОБ ОТНОШЕНИИ Н.И. НАДЕЖДИНА К ПЕРВОМУ «ФИЛОСОФИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ» П.Я. ЧААДАЕВА\*

В истории русского освободительного движения и передовой общественной мысли Н.И. Надеждин известен, прежде всего, как публикатор «Философического письма» П.Я. Чаадаева – самого антиапологетического произведения отечественной подцензурной печати в эпоху николаевской реакции.

Репрессии, обрушившиеся на автора, цензора и редактора, стали хрестоматийным примером «драконовских» законов (т.е. беззаконий), иезуитских методов, применяемых режимом «фельдфебеля на троне» (А.И. Герцен) для уничтожения инакомыслия.

В данной статье нет необходимости напоминать о значении чаадаевского письма в развитии русской общественной мысли и общественного движения, раскрывать основные его положения. Цель статьи – осветить менее изученный вопрос об отношении Н.И. Надеждина к изданному им самим произведению.

В изучении этого вопроса существует уже определенная историографическая традиция, в которой преобладает две точки зрения. Согласно первой, идущей от М.Н. Лемке, Н.И. Надеждин – фигура, которая не может быть соизмерима с исполинской личностью П.Я. Чаадаева; взгляды их диаметрально противоположны (П.Я. Чаадаев носитель передовой идеологии, а Н.И. Надеждин – всего лишь журнальный коммерческий деятель, близкий к идеологам «официальной народности») и инициатива в публикации принадлежала П.Я. Чаадаеву<sup>1</sup>.

Характерно, что в целом, негативно оценивая Н.И. Надеждина, инкриминируя ему ряд неблаговидных намерений и поступков, М.К. Лемке свою антитезу Чаадаев – Надеждин основывает на полном доверии к показаниям Н.И. Надеждина на следствии<sup>2</sup>. Позиции М.К. Лемке тогда же были подвергнуты критике и, прежде всего, биографом Н.И. Надеждина Н.К. Козминым<sup>3</sup>, отвергшим как несостоятельное мнение о несоизмеримости в интеллектуальном и

---

\* Напечатано: Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории. Историография освободительного движения и общественной мысли России и Украины: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.П. Ковальского. – Д., 1984. – С. 127 – 135.

нравственном отношении личности Н.И. Надеждина и П.Я. Чаадаева. При этом он счел необходимым, подобно своему оппоненту, искавшему «грязные пятна» в биографии Н.И. Надеждина, вспомнить о трудном характере П.Я. Чаадаева, стремясь тем самым обелить издателя «Телескопа», не замечая, что апологией Надеждина он невольно попадает в плен методологических установок М.К. Лемке. Конечный вывод Н.К. Козмина – Н.И. Надеждин был «солидарен со многими мыслями чаадаевской статьи, заслуга публикации принадлежит самому Н.И. Надеждину, показания же Надеждина на следствии заслуживают более критического отношения, чем Чаадаева. В то же время исследователь внес существенный вклад в расширение источниковой базы вопроса, введя в научный оборот две неопубликованные статьи Н.И. Надеждина, написанные по поводу «Философического письма»<sup>4</sup>. Однако к этим статьям Н.К. Козмин отнесся с большой дозой гиперкритицизма, считая, что они служат только оправдательным целям и не дают представлений об истинных взглядах самого их автора<sup>5</sup>.

Следует отметить, что в дальнейшем мнения биографа Н.И. Надеждина в той или иной степени были приняты большинством исследователей. Между тем скептическое отношение к статьям Н.И. Надеждина, подготовленным как ответы на «Философическое письмо», следует, на наш взгляд, пересмотреть.

Во-первых, ссылка на конъюнктурность не представляется достаточно убедительной, так как многие самые признанные и исследуемые работы Н.И. Надеждина (да и только ли его?) написаны явно с учетом разнообразной конъюнктуры; во-вторых, тексты отвергаемых статей построены таким образом, что в них сравнительно легко можно отделить «плевелы» от «семян»; в-третьих, нет особых оснований не доверять свидетельству Н.И. Надеждина, утверждавшего, что он намеревался в дальнейшем опубликовать свою статью в последующих номерах «Телескопа», полемизирующую с чаадаевской<sup>6</sup>.

В издательской и редакторской практике Н.И. Надеждина неоднократно были случаи публикации статей, отдельные положения которых могли противоречить взглядам самого редактора, но касавшихся проблематики, волнующей его мысль, и дававших повод для высказывания собственного понимания в форме острой полемической статьи.

Конечно, Н.И. Надеждин, будучи заинтересованным в сохранении П.Я. Чаадаева в качестве сотрудника своих изданий и планирующий продолжить печатание остальных писем, вел бы полемику в сдержанных тонах, с уважением к оппоненту, с вниманием к его заветным мыслям. Но очевидно и другое, что для Н.И. Надеждина – современника П.Я. Чаадаева – «Философические письма» не могли представлять ценность такого же рода, как для русских радикалов пореформенной России, он не мог (да и вряд ли должен был) отнестись к ним как историк к памятнику общественной мысли. Вспомним, что и А.С. Пушкин, посвятивший на заре своего творчества именно П.Я. Чаадаеву не одну из своих бессмертных строк, после «телескопского самоубийства» счел необходимым возражать своему старшему другу и идейному вдохновителю в юности<sup>7</sup>.

Некоторые советские исследователи, в частности профессор В.С. Нечаева, подчеркивали близость позиций П.Я. Чаадаева и Н.И. Надеждина, считая, что к моменту публикации письма издатель «Телескопа» разделял убеждения своего нового сотрудника, вплоть до проповеди католицизма<sup>8</sup>. Подобные утверждения лишены, на наш взгляд, всякого основания и являются результатом методологически порочной традиции противопоставления «консерватора» Н.И. Надеждина своему «передовому» сотруднику В.Г. Белинскому, противопоставления, совершенно не учитывавшего, что в период сотрудничества в «Телескопе» и «Молве» великий русский критик и революционер-демократ испытывал огромное идейное влияние лично близкого ему в это время Н.И. Надеждина. Но все-таки можно говорить о близости надеждинской мысли к чаадаевской. Редактору «Телескопа» не могло не импонировать стремление П.Я. Чаадаева к эпатированию общественного мнения крайностями своих выводов\*, его «восстание» против ложно понимаемой народной гордости.

Однако Н.И. Надеждину был совершенно не свойственен и полностью чужд исторический пессимизм, которым пропитано мировоззрение П.Я. Чаадаева. В этом мы видим основное

---

\* Для Н.И. Надеждина – журналиста и мыслителя – было характерно, еще с первых его полемических статей в «Вестнике Европы» эпатирование общепринятого общественного мнения. Он вошел в русскую публицистику как ниспровергатель кумиров современной ему литературы и эту репутацию сохранил за собой вплоть до 1836 г.

принципиальное различие в их позициях. И такое различие хорошо прослеживается при анализе содержания оправдательных надеждинских статей.

Первая из них, не имеющая даже заглавия, написана как непосредственное обсуждение «Философического письма». Логическая структура этой статьи отличается четкостью. Вначале автор, не жалея самых ярких красок, в самых возвышенных тонах объясняет, почему «Философическое письмо» возбудило «естественное негодование»<sup>9</sup>. Картины грандиозного прошлого и великолепного настоящего России, призванные как-будто опровергнуть чаадаевский скептицизм и успокоить оскорбленную национальную гордость читателей «Телескопа», внушить им мысль, что кто-кто, а уж редактор журнала – сторонник самого правоверного патриотизма, Кукольник публицистики. Однако более внимательный читатель вряд ли мог обмануться на этот счет. Его должны были насторожить несколько шаржированный тон возмущений и восторгов и непокидающее чувство, что торжественные «песнопения» на мотив Уварова-Бенкendorфа – это прелюдия к авторской теме. От постулирования величия России Н.И. Надеждин переходит к выяснению истоков этого величия, приходя к выводу, что «самодержавная воля была и есть нашей водительницей на всех путях совершенствования», что «мы сами по себе точно ничто!»<sup>10</sup>.

Не вдаваясь в анализ сложного вопроса, требующего специального рассмотрения, о степени монархизма Н.И Надеждина, отметим, что в контексте рассматриваемой статьи превознесение миссионерской роли русских монархов, школьное повторение «азов» карамзинской концепции русской истории есть попытка дезавуирования Николая I и его правительства. Под прикрытием безудержных похвал монархам

Н.И. Надеждин не только пытается оправдаться, но и со своих, позиций поддержать чаадаевское нападение против национального чванства. По сути дела, Н.И. Надеждин, вслед за П.Я. Чаадаевым, отмечает отсталость и неразвитость русского общества. Характерно, что, даже подчеркивая огромную роль монархического государства в деле отечественного просвещения, он не находит лучшего примера попечительства правительства, чем указание на рост числа воспитанников<sup>11</sup> в военных училищах. Трудно воспринимать это иначе как непроизвольную иронию, выплеснувшуюся из-под пера автора.

Однако, если для П.Я. Чаадаева отсталость России от Европы и подчеркиваемый им неевропейский путь ее развития является основанием для пессимизма, безысходности, то взгляды Н.И. Надеждина более противоречивы. С одной стороны, в хвалебной части своей статьи, он не отказывается от возможности воскликнуть: «Как же мы не идем вместе с другими народами, не принимаем участия в ходе и движениях европейского просвещения? Нет! мы бежим с нею (ними?) взапуски, и верно перебежим скоро, если еще не перебежали!»\*. С другой стороны, Н.И. Надеждин, принимая тезис о неевропейском пути развития русского народа, видит в этом преимущество России, не оскорбление народного достоинства, а основание для гордости<sup>12</sup>. Конечно, эта противоречивость во многом может быть оправдана противоречивостью положения, в котором оказался редактор и издатель «Телескопа». Но в то же время она является отражением процесса формирования путей развития общественной мысли в России, стоявшей на пороге возникновения трех основных течений, разделивших в скором времени русское образованное общество на западников, славянофилов и охранителей.

Более рельефно отношение Н.И. Надеждина к первому «Философическому письму» вырисовывается при анализе его статьи «В чем состоит народная гордость?». Написанная после запрета на какое-либо упоминание чаадаевского произведения в печати, эта статья была попыткой сформулировать собственное *credo*. Интересно, что в условиях, когда очевидным становилась неизбежность сурового наказания<sup>13</sup>, Н.И. Надеждин вместо того, чтобы развить хвалебно-монархические идеи своей первой статьи, отказавшись от попытки выражения собственных оригинальных позиций, от излишней велеречивости, казенно-патриотического камуфляжа, загружавшего текст предшествующей статьи, четко и ясно отвечает на вопрос, вынесенный им в заголовок.

Чем же объяснить кажущуюся нелогичность защитительной политики редактора «Телескопа»? Прямых ответов на этот вопрос имеющиеся источники не дают. На наш взгляд, объяснить это можно стремлением Н.И. Надеждина вначале прибегнуть к испытанному

---

\* И в этом месте Н.И. Надеждин не удержался от иронии. Недаром министр просвещения С.С. Уваров не верил в монархизм, лояльность редактора «Телескопа».

оружию опытного журналиста – запутыванию цензурного ведомства с целью отвода удара от журнала. Но дела приняли такой оборот, что угроза нависла не только над журналом и не только в виде цензурных карательных мер, а над головой самого редактора и издателя, причем в виде, жандармских репрессий. Поэтому Н.И. Надеждин саморазоблачается, почти что исповедуется, так как столь превозносимая им «отеческая» опека царя над своими подданными предусматривала, в обязательном порядке, «сыновнее чистосердечие» последних.

Задаваясь целью выяснить причины склонности своих соотечественников к добровольному унижению себя в собственных глазах и признавая «фальшивость» такого положения, Н.И. Надеждин обращается к анализу критериев, служащих основанием для национальной самооценки. Таким критериев оказывается, по его мнению, европейское просвещение, и образование<sup>14</sup>. Эта тенденция – измерять самих себя европейскими мерками – приводит к тому, что «большая часть наших соотечественников, – подчеркивает Н.И. Надеждин» – ознакомившись с европейским просвещением, видя, что мы русские не имеем тех форм, которые там выработаны веками, говорят с презрением: «Да к чему русский человек способен, что из него можно сделать?»<sup>15</sup> Но эти мерки представляются для автора неприемлемыми, так как между Европой и Россией «не может быть никакой параллели»\* (курсив наш. – Е.Ч.).

Отсюда и исторический оптимизм Н.И. Надеждина, – который, правда, необходимо отличать от пошлого оптимизма формулы А.Х. Бенкendorфа: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение»<sup>16</sup>.

В оценке прошлого и настоящего России в рассматриваемой статье Н.И. Надеждин стоит ближе к П.Я. Чаадаеву, чем к официально-патриотической доктрине. Тем самым, он отмежевывается и от собственных красноречивых рассуждений предшествующей статьи о процветании в России всех форм европейского просвещения. Более того, автор старается совершенно определенно отмежеваться и от тех, у кого народная гордость превращается «в самообольщение,

---

\* В 40-е гг. эта мысль станет одной из генеральных идей славянофильства и славянофильствующей части «охранителей».

закрывающее глаза от своих недостатков»<sup>17</sup>. В чисто славянофильском духе Н.И. Надеждин отмечает патриархальные «добродетели» русского народа, служащие основой его могущества и разрушающиеся, «как скоро касается их наше ввозное, чужеземное просвещение»<sup>18</sup>. В то же время Н.И. Надеждин стремится противопоставить концепции автора «Философического письма» свою, основанную на идеях народности и теории циклов исторического процесса. В интерпретации Н.И. Надеждина, пугающий П.Я. Чаадаева «неевропеизм» России должен вселять оптимизм и не оскорблять национальную гордость русских, а способствовать ее укреплению, так как европейские народы прошли уже периоды «юности» и «зрелости» и вступили в период «старости», а русский народ, находясь в состоянии «младенчества», по законам исторического развития движется к своему расцвету<sup>19</sup>.

Но в схеме Н.И. Надеждина далеко не все обстоит благополучно с логической точки зрения. Своим признанием, что только Петр I сумел «провести первые борозды на этой (русской. – Е.Ч.) одичалой почве»<sup>20</sup>, он, хорошо понимая, какие «семена» были брошены в эту почву, снижает пафос собственного утверждения об отсутствии между Европой и Россией «точек соприкосновения». И, несмотря на четкое изложение вывода, согласно которому «русским нечем пока еще гордиться, кроме разве благородным сознанием своего младенческого состояния; нечего тянуться до других европейских народов...» – «...у них есть прошедшее...», «...но зато у нас есть будущее, в котором они отчиваются», идеи Н.И. Надеждина не укладываются в прокрустово ложе известных направлений русской общественной мысли, хотя вызывает сомнение утверждение Ю.В. Манна, что «неосновательны попытки увидеть в Надеждине... предвестие славянофильства»<sup>21</sup>. Мысль Н.И. Надеждина была близка к славянофильству 40 – 50-х годов, близка даже к почвенничеству и теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, но организация его мышления, преобладание в нем рационалистической струи, неприятие крайностей позитивных выводов, а также некоторые конформистские черты его характера и, наконец, самое главное, условия общественной жизни в России, уровень развития общественной мысли – все это отразилось на надеждинском мировоззрении, которое с ретроспективных позиций велик соблазн определить как эклектическое. Однако кажущийся эклектизм является сильной стороной русского мыслителя, отражающей его умение пробираться сквозь дебри самых

сложных философских систем, логических построений. Выражаясь современным языком, Н.И. Надеждин обладал историографическим складом мышления: чужая мысль была для него необходимой пищей ума, поводом рефлексии, источником интеллектуального вдохновения, основой для выработки собственных оригинальных позиций. Правда, формированию логически стройного и прогрессивного мировоззрения Н.И. Надеждину мешала монархически-православная закваска, на которой была густо замешана вся его обширная образованность. Эта особенность мировоззрения ученого-публициста определила и его отношение к «Философическому письму» П.Я. Чаадаева.

В статьях Н.И. Надеждина, подготовленных им к публикации, нашло отражение стремление объединить вокруг идеи «народности» самые противоречивые тенденции развивающейся русской общественной мысли. Но путь ее движения был иной – не объединение, а поляризация. И только в конце 50 – начале 60-х гг. идеологами почвенничества была предпринята попытка примирения западнических и славянофильских идей, правда, уже в другой исторической обстановке, но также безуспешно.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> См.: *Лемке М.К. Чаадаев и Надеждин // Мир Божий.* – 1905. – № 9. – С. 1 – 33; № 10. – С. 122 – 156; № 11. – С. 137 – 162; № 12. – С. 91 – 108; *Он же. Николаевские жандармы и литература 1826 – 1855 гг. –СПб. – 1908. – С. 412 – 441.*

<sup>2</sup> См.: *Лемке М.К. Чаадаев и Надеждин // Мир Божий.* – 1905.

<sup>3</sup> См.: *Козмин Н.К. Рец. на очерк: Лемке М.К. Чаадаев и Надеждин (по неизданным материалам) // Журнал министерства просвещения.* – 1906. – № 7. – С. 158 – 162; *Он же. Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804 – 1836.* – СПб. – С. 510 – 550.

<sup>4</sup> См.: Две статьи Н.И. Надеждина, написанные по поводу «Философического письма» П.Я. Чаадаева (Введение Н.К. Козмина) // *Русская старина.* – 1907. – № 8. – С. 237 – 258. Авторские рукописи этих статей см.: Так называемое «Философическое письмо» ответ П.Я. Чаадаеву // РО ИРЛИ. – Ф. 199. – Оп. 2. – № 20; В чем состоит народная гордость? Из письма к НН // Там же. – № 21.

<sup>5</sup> См.: Козмин Н.К. Две статьи Н. И. Надеждина... – С. 238.

<sup>6</sup> См.: Дело о запрещении журнала «Телескоп» за напечатание «Философических писем» Чаадаева и о вызове в С-Петербург издателя Надеждина и цензора Болдырева // ЦГИА г. Москвы. – Ф.16. – Оп. 31. – Ед. хр. 997. – Л. 21.

<sup>7</sup> Пушкин А.С. Письмо к П.Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. // Полн. собр. соч.: В 10-ти т. – М. – Т. Х. – С. 867 – 868.

<sup>8</sup> См.: *Нечаева В.С.* В.Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829 – 1836. – М., 1954. – С. 404 – 405.

<sup>9</sup> См.: *Русская старина*. – 1907. – № 8. – С. 233.

<sup>10</sup> Там же. – С. 246.

<sup>11</sup> Там же. – С. 245.

<sup>12</sup> Там же. – С. 244.

<sup>13</sup> Там же. – С. 247.

<sup>14</sup> *Надеждин Н.И.* Письмо К В.Г. Белинскому // *Русская мысль*. – 1911. – Кн. 6. – С. 42.

<sup>15</sup> *Надеждин Н.И.* В чем состоит народная гордость? // *Русская старина*. – 1907. – № 8. – С. 254 – 255.

<sup>16</sup> Там же. – С. 255.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Цит. по: *Сахаров А.Н.* Историография истории СССР. Досоветский период. – М., 1978. – С. 103.

<sup>19</sup> *Надеждин Н.И.* В чем состоит народная гордость? // *Русская старина*. – 1907. – № 8. – С. 254 – 255.

<sup>20</sup> Там же. – С. 225 – 258.

<sup>21</sup> *Манн Ю.В.* Факультеты Надеждина // Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. – С. 35.

## ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ Н.И. НАДЕЖДИНА\*

Письма ученых в качестве источников историографических исследований играют важную роль в научной практике, а на теоретическом уровне их источниковая значимость, с большей или меньшей степенью аргументации, подчеркивалась неоднократно<sup>1</sup>.

Если к этому добавить, что имя Н.И. Надеждина, при всех превратностях его историографической судьбы, достаточно прочно вошло в научный обиход, то фактически можно было бы обойтись без апологетических обоснований темы данной статьи.

Однако, учитывая, что в историко-научном сознании доминирует представление, что специальные персонологические или построенные на персонологическом принципе исследования должны быть ориентированы главным образом на оценочные моменты (взглядов, деятельности в целом), то письма как источники отходят на второй план в сравнении с научными трудами. Подобное положение не

\* Напечатано: Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XIX – XX вв.: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.П. Ковальского. – Д., 1990. – С. 108 – 117.

может вызывать сомнений (даже если не прибегать к обоснованию его с помощью известной фразы В.О. Ключевского, которая от частого употребления из яркого афоризма превратилась в потускневшую сакрментальность) до тех пор, пока не начинаешь сознавать, что главная цель историко-научного познания – постижение феномена науки в целом, научно-исторического творчества, в частности. Такая трансформация в иерархии целей неизбежно приводит к изменениям как в структуре источниковой базы, так и в самом характере источниковедческой деятельности историка науки, который вправе много ожидать от эпистолярного и мемуарно-дневникового творчества ученого. Но чтобы ожидания оправдались, необходимо, как было уже отмечено, «изменение в характере источниковедческой деятельности историка науки».

В чем суть этих «изменений» относительно эпистолярного наследия? Коротко – это отказ от фрагментарного, иллюстративного подхода к анализу и использованию писем при изучении историко-научных проблем. Подобный отказ требует от исследователя подойти к письмам как сложному комплексу источников, могущих нести в себе информацию как о макро-среде, так и микросреде науки. В источниковедческом плане письма ученого, чья деятельность является объектом исследования чаще всего представляют собой синтетический источник о взаимодействии этих сред<sup>2</sup>. Требование комплексности в изучении эпистолярного наследия, конечно, гораздо легче провозгласить, чем реализовать в историографической практике. По крайней мере, нам не известно удовлетворительных примеров, отвечающих этим требованиям. И здесь необходимо отличать «физические» трудности от методологических. Если первые связаны с преодолением эвристических трудностей (выявления и учета опубликованного и неопубликованного, информационной классификации т.д.), и хотя бы теоретически преодолимы, то вторые в некотором плане представляются непреодолимыми. Речь идет о следующем противоречии: чтобы на источниковедческом уровне изучить письма как особый комплекс, необходима наиболее полная реконструкция научной биографии ученого, что в свою очередь нереализуемо без изучения писем. Кроме того, «феноменологический» подход приводит к смещению акцентов – письма (как и любой другой комплекс источников) становятся не средством, а целью. Однако указанные противоречия фактически раскрывают одну из

специфических сторон исторического познания вообще, что, как ни странно, вселяет некоторый оптимизм и позволяет надеяться, что это вращение на «кругах» познания способствует продвижению к истине. Эти соображения раскрывают особенность данной статьи, в которой автор, насколько это возможно, абстрагируется от основной цели – Надеждина, но посредством него рассматривает надеждинское эпистолярное наследие, с надеждой (простите за каламбур), что подобное «абстрагирование» позволяет вернуться более вооруженным к «основной цели». Изучение данной темы включает в себя три основных аспекта: 1) описание комплекса на археографическом и источниковедческом уровнях; 2) раскрытие его информационных возможностей; 3) степень использования комплекса в литературе о Н.И. Надеждине. Ограниченные рамки статьи позволяют остановиться только на первой аспекте.

Прежде всего следует отметить, что понятие «комплекс» относительно надеждинских писем ни в коей степени нельзя рассматривать как компактную реальность с четкими координатами ее местонахождения. Причем это замечание касается как опубликованных, так и рукописных материалов.

Публикация писем Н.И. Надеждина (если придерживаться формальных критериев) началась еще при его жизни. Речь идет о статьях ученого, имеющих форму писем<sup>3</sup>. Так как это популярный литературно-публицистический жанр, то в целом нет оснований относить их к эпистолярному наследию.

Публикации надеждинских писем могут быть представлены в зависимости от эдиционных целей следующими группами: а) археографические – публикация как самоцель<sup>4</sup>; б) мемориально-биографические – письма как часть воспоминания об их авторе или его биографии<sup>5</sup>. В корпусе опубликованных мемуаров о Н.И. Надеждине его письма занимают незначительное место, однако в биографических исследованиях полностью или фрагментарно опубликован ряд содержательных писем<sup>6</sup>; в) проблемно-тематические – публикация писем в связи с освещением какой-нибудь темы или проблемы. Таких публикаций немного. В отличие от 2-й группы надеждинская тема не является ведущей<sup>7</sup>; г) публикации писем Н.И. Надеждина в связи с изучением различных аспектов жизни, взглядов и деятельности их адресатов<sup>8</sup>. Учитывая, что Н.И. Надеждин попадал в орбиту деятельности многих крупнейших фигур своего времени и находился

с ними в переписке, то в этой группе мы сталкиваемся с наибольшими эвристическими трудностями.

На наш взгляд, подобная группировка позволяет подходить с определенными критериями при анализе опубликованной части эпистолярного наследия. Кроме того, эта группировка отражает и позволяет понять некоторые особенности историографической судьбы Н.И. Надеждина.

В настоящее время наиболее полно опубликованы письма Н.И. Надеждина М.П. Погодину, М.А. Максимовичу, Ф.А. Голубинскому, С.Т. Аксакову, В.Г. Белинскому. Следует отметить, что степень полноты в данном случае определяется в сравнении с известной частью сохранившихся оригиналов писем.

Так, сохранилось всего лишь одно письмо Н.И. Надеждина В.Г. Белинскому, хотя есть все основания предполагать, что в количественном отношении это письмо нерепрезентативно отражает их переписку.

В связи с вопросом о количественной репрезентативности следует отметить, что о соответствии опубликованного, сохранившегося (в архивах) и реально существовавшего можно судить лишь весьма условно, так как главные источники проверки – ответные письма Н.И. Надеждину – дошли до нашего времени хуже (насколько удалось выяснить автору этих строк), чем его письма\*.

Такая же разбросанность, как и в публикациях, характерна и для рукописей, хранящихся в различных архивохранилищах нашей страны и, несомненно, за рубежом. Относительно последних мы можем только судить предположительно, не имея данных о представленности надеждинского наследия в зарубежных архивах.

Давая общую характеристику надеждинских писем архивного хранения, следует отметить, что все известные нам письма легко атрибуируются и их достоверность с точки зрения авторства не вызывает сомнений, так как все они – автографы с характерным выразительным почерком, приметы и особенности которого не требуют тонкого графологического анализа. Изучение рукописей ученого, представляющих разные периоды его жизни, позволяют

---

\* Н.И. Надеждин небрежно относился к собственному архиву, так что многое могло погибнуть еще при его жизни. Но и оставшийся после него значительный архив подвергся многим испытаниям.

сделать вывод о сравнительной устойчивости его почерка. Кроме того, почерк Н.И. Надеждина достаточно адекватно описан мемуаристами (М.А. Максимовичем<sup>9</sup>, П. Прозоровым<sup>10</sup>). Правда, П. Прозоров отмечал, что почерк «нельзя было похвалить»<sup>11</sup>, однако он плох только лишь по меркам писарской каллиграфии того времени. В основном (за редким исключением) сохранившиеся письма прочитываются полностью.

Как это не покажется парадоксальным, выявить и учесть рукописи писем Н.И. Надеждина оказывается проще, чем публикации. Общие сведения об отложившихся в архивохранилищах СССР письмах Н.И. Надеждина представлены в табл. 1.

Не дали никаких результатов в плане обнаружения интересующих нас писем архивные изыскания в ЦГИА г. Москвы, ЦГИА СССР, РО ЛОИИ (г. Ленинград), ЦГИА УССР (г. Киев), ЦГА Коми АССР (г. Сыктывкар), Государственном архиве Одесской области и ряде других областных архивов.

Таблица 1\*

Название хранилища	Кол-во фондов	Кол-во писем	Кол-во адресатов	Крайние даты
РО ИРЛИ (г. Ленинград)	9	136	[20]**	1824 – 1853 гг.
РО ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (г. Ленинград)	3	4	[3]	[1831 – 1832] – конец 40-х гг. :
ОР ГБЛ (г. Москва)	4	46	4	1826 – [1852] гг.
ЦГАЛИ СССР (г. Москва)	7	20	[8]	1831 – 1852 гг.
ОР ЦНБ (г. Киев)	1	2	1	1835 – [конец 40-х – 1852] г.

Как видно из табл. 1, наиболее полно надеждинские письма отложились в РО ИРЛИ. Следует учесть, что именно в этом хранилище сформировался сравнительно объемный разнообразный по составу фонд Н.И. Надеждина. В этом фонде представлены письма ученого

\* В табл. 1 не нашли отражения письма Н.И. Надеждина, хранящиеся в ОПИГИМ, так как автор не имел возможности с ними ознакомиться).

\*\* Здесь и далее квадратные скобки [] означают наше предположение.

разному кругу лиц, в числе которых наиболее значительный комплекс писем и писем-дневников адресован Е.В. Сухово-Кобылиной<sup>\*12</sup>. Следует отметить, что в корпусе этих документов наряду с обычными по форме письмами находятся два дневника в форме писем, написанных в 1834 (16 – 31 августа) и 1835 (18 – 31 марта) гг.

Наличие в других архивах писем Н.И. Надеждина Е.В. Сухово-Кобылиной нам не известно, по-видимому, письма второй половины 1835 – 1837 гг. были уничтожены самой респонденткой (или в связи с замужеством в 1837 г. или, что более вероятно, уничтожались по мере получения из «конспиративных» соображений).

Из других сравнительно полных собраний надеждинских писем, находящихся в Пушкинском Доме, следует назвать письма к С.Т. Аксакову<sup>13</sup>. По нашим данным, это фактически полная совокупность надеждинских писем замечательному русскому писателю.

Остальная часть писем Н.И. Надеждина, хранящихся в ИРЛИ, представляет собой преимущественно очень ценные, но маленькие фрагменты действительной картины эпистолярного творчества Н.И. Надеждина. Эта фрагментарность характерна и для других собраний надеждинских писем. Правда, в ОР ГБЛ хранятся письма Н.И. Надеждина М.П. Погодину и М.П. Погодину и Ф.А. Голубинскому, которые представляют собой, если не полную, то в значительной степени основную часть его писем этим респондентам. В археографическом отношении письма Ф.А. Голубинскому и М.П. Погодину наиболее изучены<sup>14</sup>, хотя в комментариях, сопровождающих публикации писем, содержатся ошибки и неточности, обусловленные, на наш взгляд, некомплексным подходом к изучению писем.

Если письма Н.И. Надеждина в ОР ГБЛ отличаются небольшим количеством адресатов при сравнительном высоком общем числе, то его письма, хранящиеся в ЦГАЛИ СССР и РО ГПБ, при незначительном количестве характеризуются (как видно из табл. 1) адресатной пестротой. Так, из двадцати писем в ЦГАЛИ СССР только письма В.В. Григорьеву могут служить реальным основанием для реконструкции их переписки. По нашим подсчетам, в этом

---

\* Е.В. Сухово-Кобылина в замужестве графиня Салиас-де-Турнемир известна как писательница, обще-ственный и журнальный деятель под псевдонимом Евгения Тур.

архивохранилище в фонде Н.И. Надеждина представлены 6 писем В.В. Григорьеву, а не 7, как в описи фонда<sup>15</sup>. Письмо, датированное 3 февраля 1852 г., написанное Н.И. Надеждина, по содержанию никак не может быть отнесено к письмам В.В. Григорьеву, а вероятней всего его адресат (может быть, оно не было отправлено) – С.Т. Аксаков\*.

Если атрибуция авторства известных нам писем не вызывает затруднений, то при установлении адресатов и датировании исследователь сталкивается с определенными трудностями, так как ряд писем не имеет явных прямых адресатных и хронологических указаний. Однако к настоящему моменту основной круг адресатов известен. Табл. 2 содержит сведения о респондентах Н.И. Надеждина и составлена на основе известных нам опубликованных и неопубликованных его писем.

Таблица 2

Ф. И. О. респондента	Кол-во писем	Место публикации или хранения	Примечания
Аксаков Константин Сергеевич	2	РО ИРЛИ (1) ЦГАЛИ СССР (1)	
Аксаков Сергей Тимофеевич	51 + [1]	РО ИРЛИ (51) ЦГАЛИ СССР [1]	Частично опубликованы в различных изданиях \
Аксакова Вера Сергеевна	1	РО ИРЛИ	
Аксакова Ольга Семеновна	1	РО ИРЛИ	
Бартенев Юрий Иванович	1	Русский архив. –1864. – № 1	Оригинал не обнаружен
Болдырев Алексей Васильевич	1	РО ИРЛИ	
Белинский Виссарион Григорьевич	1	Русская мысль, 1911, КН. 6	

\* Так как анализ содержания писем не входит в задачи данной статьи, то ограничимся только лишь констатацией.

Ф. И. О. респондента	Кол-во писем	Место публикации или хранения	Примечания
Второв Николай Иванович	1	ЦГАЛИ СССР	Письмо адресовано и к Александрову-Дольнику Константантину Осиповичу
Глинка Федор Николаевич	1	ЦГАЛИ СССР	
Григорьев Василий Васильевич	7	ЦГАЛИ СССР(6) РО ГПБ (1)	
Голубинский Федор Александрович	4	ОР ГБЛ	Опубликованы в Записках ОР ГБЛ. – 1973 г.
Даль Владимир Иванович	2	РО ИРЛИ	
Карташевские Надежда Тимофеевна и Мария Григорьевна		РО ИРЛИ	
Загоскин Михаил Николаевич	2	РО ГПБ	Предполагаемый адресат
Краевский Андрей Александрович	3	РО ИРЛИ (1) РО ГПБ (2)	Все письма опубликованы биографом Н.К. Козминым
Лазаревский Василий Михайлович	2	ЦГАЛИ СССР	
Липранди Иван Петрович	3	ОР ГБЛ	
Максимович Михаил Александрович	9	ЦГАЛИ СССР (5) РО ИРЛИ (2) ОР ЦНБ УССР (2)	Опубликованы
[Мартынова] Клавдия Николаевна	1	РО ИРЛИ	Предполагаемый адресат
[Надеждин] Иван Иванович (отец)	1	РО ИРЛИ	Отец и сестра не были Надеждиными

Ф. И. О. респондента	Кол-во писем	Место публикации или хранения	Примечания
[Надеждина] Анастасия Ивановна (сестра)	2	РО ИРЛИ	Фамилия сестры по мужу, вероятно, Любомудрова
Никитенко Александр Васильевич	1	РО ИРЛИ	
Одоевский Владимир Федорович	2	РО ГПБ ОР ГБЛ (1)	
Погодин Михаил Петрович	40+[1]	РО ИРЛИ (1) ЦГАЛИ СССР (1)	В ОР ГБЛ и РО ИРЛИ опубликован в Записках ОР ГБЛ в 1978 г. ЦГАЛИ [адресат установлен мной – Е. Ч.]
Раевский Михаил Федорович	2	Зарубежные славяне и Россия	
Сахаров Иван Петрович	1	РО ИРЛИ	
Скальковский Аполлон Александрович	6	РО ИРЛИ	
Сухово-Кобылина Елизавета Васильевна	[60]	РО ИРЛИ	Частично опубликованы в разное время
Сухово-Кобылина (Шепелева) Мария Ивановна	4+[1]	РО ИРЛИ	Частично опубликованы Н. К. Козминым, [1] письмо [адресат предполагается мной – Е. Ч.]
Уваров Сергей Семенович	1	РО ИРЛИ	Адресат не вызывает сомнений – Е. Ч.

Таким образом, для всех известных нам писем Н.И. Надеждина установлен круг респондентов. Изучение биографии Н.И. Надеждина по различным источникам позволяет сделать вывод, что значительная часть эпистолярного наследия Н.И. Надеждина или еще не обнаружена, или же, что наиболее вероятно, утрачена безвозвратно.

Так, например, Н.И. Надеждин, несомненно, вел интенсивную переписку с братьями Д.М. и В.М. Княжевичами, особенно с Дмитрием Максимовичем, однако ни одного письма к ним обнаружить не удалось. Бессспорно, более оживленной должна была быть переписка Н.И. Надеждина со своими родными. Будучи редактором таких популярных в свое время журналов, как «Телескоп» (1831 – 1836) и «Журнал министерства внутренних дел» (1842 – 1856), Н.И. Надеждин, несомненно, вел частную переписку по издательским и редакторским делам, но до нас дошли только мелкие фрагменты этой переписки. То же самое следует отметить и относительно «остатков» его деятельности в качестве председателя этнографического отделении Императорского Русского географического общества.

При всех значительных пробелах, даже на основе описанного нами массива, можно решать сложные задачи по реконструкции жизни, деятельности, научных воззрений Н.И. Надеждина.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Критский Ю.М. Эпистолярное наследие историков как историографический источник (середина XIX в. – 1917 г.) // История и историки: Историографический ежегодник. 1973. – М., 1975. – С. 85 – 112; Колесник И.И. Принципы классификации и анализа эпистолярных источников (по материалам переписки с С.М. Соловьевым) // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории: Актуальные проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин. – Д., 1985. – С. 79 – 84.

<sup>2</sup> Тодорова А. За типологията на изворите за историографското изследване // Помощни исторически дисциплини. – София, 1979. – С. 94 – 96.

<sup>3</sup> Надеждин Н.И. Письма в Киев (к М.А. М-чу) о русской литературе: Письмо первое. Куда девалась наша поэзия? // Телескоп. – 1835. – Т. 25. – № 1. – С. 149 – 158; Письмо из Вены // Москвитянин. – 1841. – Ч. 3.

<sup>4</sup> Письмо Н.И. Надеждина к Ю.Н. Бартеневу // Русский архив. – 1864. – № 1. – Стб. 41 – 48; Ирсентская Л. А. Письма Н.И. Надеждина к Ф.А. Голубинскому // Записки Отдела рукописей ГБЛ. – М., 1973. – Вып. 34. – С. 178 – 191; Письма Н.И. Надеждина к М.П. Погодину // Там же. – 1978. – Вып. 39. – С. 178 – 224.

<sup>5</sup> Максимович М.А. Воспоминания о Н.И. Надеждине // Москвитянин. – 1856. – Т. 1. – № 3. – С. 225 – 234; Письма о Киеве, воспоминания о Тавриде. – Б. м. – 1871.

<sup>6</sup> К биографии профессора Н.И. Надеждина (по письмам к Е. В. Сухово-Кобылиной) // Русский Архив. – 1885. – № 2. – С. 573 – 583; Надеждин Н.И. Письма его к любимой им Е. В. К. // Труды Рязанской Ученой Архивной Комиссии. – Рязань, 1885. – Т.3. – С. 573 – 583; Козмин Н.К. Из переписки Н.И. Надеждина // Русская старина. – 1904. – Май; Надеждин и его отношение к Белинскому (новые

материалы). – СПб., 1906; Николай Иванович Надеждин: Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804 – 1856. – СПб., 1912 (в биографической книге Н.К. Козмина в отрывках опубликована значительная часть известных нам писем Н.И. Надеждина); *Данилов В.Л.* Н.И. Надеждин в Одессе. 1838 – 1842 гг. // Русский филологический вестник. – Варшава, 1911. – Т. 65. – № 2. – С. 339 – 360 (опубликованы частично письма М.А. Максимовичу).

<sup>7</sup> *Пономарев С.* Из тридцатых и сороковых годов // Полярная звезда. – 1881. – № 4; Зарубежные славяне и Россия: Документы архива М.Ф. Раевского. – М., 1975. – С. 311 – 313.

<sup>8</sup> Типичный пример подобных публикаций: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. – Т. 3 – 9.

<sup>9</sup> *Москвитянин.* – 1856. – Т. 1. – № 3. – С. 233 – 234.

<sup>10</sup> *Прозоров. П.* Белинский и Московский университет в его время // Библиотека для чтения. – 1859. – Т. 157. – Ч. 11 – 12. – С. 11.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Письма (10) Надеждина Н.И. и Сухово-Кобылиной Е.В. 1834 – 1835. Архив Надеждина. 25. 486; Письмо-дневник к Е.В. Сухово-Кобылиной 1834, август 16 – 31. – Ф. 199. – Оп. 2. – Ед. хр. № 46; 1835, марта 18 – 31. – Ед. хр. № 49; Письма (41+7 стр.) Надеждина Н.И. к Сухово-Кобылиной Е.В. 1834 – 1836. – Ед. хр. № 47.

<sup>13</sup> Письма (51) Надеждина Н.И. к Аксакову С.Т. 1835 – 1843. – Архив Аксаковых. – Ф. 3. – Оп. 13. – Ед. хр. № 47.

<sup>14</sup> *Ирсетская Л.А.* Указ. соч.

<sup>15</sup> Письма Надеждина Н.И. к Григорьеву В.В. 1842 – 1852 // ЦГАЛИ СССР. – Ф. 1387 (Надеждин). – Оп. 12. – Ед. хр. № 5.



## РОЗДІЛ 2

# ПРОБЛЕМЫ РЕГІОНАЛЬНОЙ ІСТОРИИ



## НАЧАЛО ВРЕМЕНИ «URBIS» В ИСТОРИИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА\*

Надеюсь, что сверхнапряжение, присущее еще недавним дискуссиям по поводу возможного переименования Днепропетровска, и в связи с этим определения начальной точки летоисчисления его истории, несколько спало. И не потому, что подупал уровень «пассионарности» у его участников, напряжение уменьшилось, так как даже самые пламенные диспутанты, подогревающие себя у политических костров, кажется, начали догадываться, что от решения этих вопросов не так прямо зависит реализация их партийных программ. Но снятие напряжения не означает снятия проблемы, а более того позволяет обратиться к её обсуждению без лишней экзальтации, столь памятной, например, для тех, кому «посчастливились» наблюдать ход так называемой научно-практической конференции «Витоки нашого міста», проходившей в Днепропетровском историческом музее в 1992 г., на которой даже один из габилитированных историков предлагал «показати велику дулю Катерині II», чем вызвал полуистерическую реакцию (не смеха) у сторонников возвращения Днепропетровску имени Екатерины. Враждующие стороны разошлись: благо, современный макрополис позволяет создать культурно-идеологическое «гетто» и для завзятых «екатеринославцев», и для «сичеславцев».

Однако, кроме фарсовой стороны, в дискуссиях на эту тему есть многое, что заслуживает обсуждения с позиций региональной истории. Если прибегнуть к схематизации высказанных точек зрения, то можно выделить четыре основных подхода к летоисчислению истории города. Согласно первому, точкой отсчета следует считать начало заселения его территории. Применительно к Днепропетровску начальная точка отсчета восходит как минимум к эпохе неолита (Игренский полуостров), а при современных археологических методах (дайте только средства и волю) возможны дальнейшие хронологические сдвиги в сторону углубления древности.

---

\* Напечатано: Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. – Д., 1998. – Вип. 1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції. – С. 110 – 114.

Второй подход, более формализованный. Сторонники его признают, что историю города следует начинать с возникновения именно городских признаков. Исходя из этого, разворачивается с большей или меньшей степенью аргументация «кодакской версии» начала истории Днепропетровска. Усилиями такого компетентного историка и плодовитого писателя, как профессор Ю.А. Мыцык эта версия нашла и логическое, и конкретно-историческое, и сравнительно-типологическое, и (как почти всегда у нашего почтенного автора) идейно-политические обоснования. Напомним, что в этой версии речь идет о 1635 г., в котором согласно достоверными источниками данным была построена польская крепость Кодак. «Кодакская версия» служит для проф. Ю.А. Мыцыка и многих других (в частности, Украинского геральдического общества) подспорьем и для решения вопросов в выработке принципов новой символики города. Только в одном наш уважаемый профессор не столь последователен – в определении имени, которого достоин бывший «Кодак», являясь в этом вопросе не экзотическим «кодакцем», а вполне респектабельным (по современным меркам) «сичеславцем». Но и в этом есть своя логика, так как именно в том же 1635 году, правда, не совсем «сичевики», но все же казаки под руководством Ивана Сулимы, взяли еще пахнущую стройкой крепость и сожгли её. Таким образом, точка отсчета истории Сичеслава привязана и к завершению строительства, и к сожжению его результатов.

Третий подход связан с предыдущим стремление вывести истоки города из Запорожской Сечи, определяя его начало с культурно-хозяйственного освоения его территории в виде казацких зимовников, слобод, которые достоверно прослеживаются на данной территории с 40-х годов XVIII ст. по разнообразным историческим источникам. Симптоматичным является тот факт, что и здесь наиболее развернутую аргументацию от «города» привнес Ю.А. Мыцык, тем самым раскрывая главный идейный мотив своих поисков «начал» – уйти от традиционного Екатеринославского подхода.

За этим, четвертым, подходом стоит авторитет традиции, подкрепленный известными указами Екатерины II и множеством других разнообразных свидетельств. Правда, стремление к точной датировке внесло сумятицу в ряды его сторонников, и, что самое «неприятное», в бюрократическое историческое сознание (когда же праздновать

годовщины, юбилеи?...). Еще памятен казус с празднованием 100-летия города в 1887 и 200-летия в 1976 гг. К этим двум датам предлагаются еще 1783, 1784, 1785, 1786. Попутно считаю уместным заметить, что столь резко подвергнутое критике празднование 200-летия города в 1976 г. не совсем справедливо. Это было 200-летие екатеринославских-днепропетровских бюрократических структур. Это празднование равнозначное, например, 60-летию Жовтневого или 25-летию Бабушкинского района города Днепропетровска. Кого волновали или волнуют реальные территории этих искусственных административных образований на протяжении всех лет их существования? Очевидно, речь идет об истории управленческих структур под именем названий этих районов.

Но вернемся к «Екатеринославской версии». Многие её сторонники типологически близки к своим оппонентам, так как подобно им привносят элементы «сакральности» в обсуждение этого вопроса и в демонстрации «глухоты» по отношению к иной аргументации. Попытаюсь, рискуя вторгнуться в сферу «священного», взглянуть на эту проблемы с позиций региональной истории.

Несложный анализ показывает, что, несмотря на многие природно-географические предпосылки, несмотря на очевидное стратегическое значение (надпорожье), территория Днепропетровска (как, впрочем, и соседние территории) длительное время не являлась очагом городской цивилизации (культуры). Констатируя этот факт, я не имею возможности в данном случае останавливаться на анализе причин. Несомненно, в условиях, когда не складываются естественноисторические предпосылки для развития городской жизни, волонтеристские решения являются мощным катализатором исторических процессов. Отсюда логика сторонников «кодакской версии» могла рассматриваться как достаточно основательная. И здесь административно-территориальный педантизм (входит ли Старый Кодак в черту города или нет) представляется мало уместным, так как крепости вплоть до XVIII ст. были одним из явных признаков города и становились искомыми очагами городской жизни. Здесь нет места спорам, и можно было поставить точку, если бы не одно обстоятельство: крепости были очагами, но не всегда в этих очагах разгорался огонь. Так и в данном случае: «огонь не разгорелся». Тот, кто планировал и мог зажечь этот огонь (польская администрация),

стал жертвой другого огня – пожара Освободительной войны. В результате в XVII – XVIII ст. имя Кодаков (Старого и Нового) сохраняется, фиксируется на географических картах, фигурирует как знаковое в военно-административных отношениях, однако городские элементы не складываются. И только лишь, когда с 50-х годов XVIII в. создается Кодакская паланка, административным центром которой является Новый Кодак, формируются новые предпосылки для урбанизации. Однако и этим предпосылкам не суждено было реализоваться. Мощный новый волонтиристский импульс изменил радикальным образом ситуацию в регионе, придав его истории принципиально новый характер. После чего наступает собственно «екатеринославский период», в котором «город» (города) стал устойчивым фактором истории данного региона, а сам Екатеринослав его не только титульным, но и содержательным признаком. Об устойчивости этого фактора говорит многое, но наиболее красноречиво то, что между Екатеринославом и Днепропетровском, несмотря на все перипетии истории XX столетия, сохранилась подлинная историческая преемственность. Преемственность, которой, к сожалению, не имелось между Кодаком и Екатеринославом.

Таким образом, если воспользоваться языком археологии, то в истории нашего региона с точки зрения урбанистической мы можем видеть самостоятельные культурные слои: «кодакский» и «екатеринославско-днепропетровский». В первом: – при более тщательном рассмотрении выделяются субкультурные слои, но их объединяет тот факт, что городские элементы существовали только в виде предпосылок. Во втором: – на основании уже других предпосылок город сформировался и при этом, как его теперь ни называй, какую символику ему не создавай, это будет тот самый город, только переименованный, с недостаточно органичными для его истории (города) символами.

## ЕЩЕ РАЗ О НАЧАЛЕ ВРЕМЕНИ URBIS\*

### (ДАТИРОВКА НАЧАЛА ГОРОДА КАК ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ УРБАНИСТИКИ)

*Материалы микросеминара на кафедре историографии, источниковедения и архивоведения Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара, участниками которого были Журба О.И., Портнова Т.В., Чернов Е.А.*

**Журба О.И.:** Поводом для организации нашего микросеминара послужила известная каждому из вас брошюра, в которой поднимаются вопросы и по конкретной истории нашего города, и в целом по проблемам исторической урбанистики<sup>1</sup>. Как мне кажется, все это заслуживает обсуждения под углом зрения региональной истории. Так как в перспективе мы планируем представить материалы дискуссии для публики, то считаю уместным объяснить, почему мы собрались именно в таком составе. Не случайно рабочее название нашего семинара отталкивается от публикации Е.А. Чернова «Начало времени URBIS в истории Днепропетровска»<sup>2</sup>. Т.В. Портнова – автор монографии, посвященной формированию модерного городского пространства Екатеринослава<sup>3</sup>. В этом треугольнике, пожалуй, наиболее скромным урбанистом является сам организатор семинара, который, мне это доподлинно известно, не имеет специальных работ, посвященных проблемам датировки начала истории нашего города и исторической урбанистики, однако в силу довольно устойчивого интереса к истории формирования в городской среде локальных историографических социумов, сама проблематика, затронутая в упомянутой брошюре, вызывает и определенный интерес, и потребность высказаться в контексте «региональная история – региональная историография».

Как инициатор и организатор обсуждения предлагаю нам всем высказываться в свободной беседе-дискуссии, отталкиваясь от основной проблематики, по широкому кругу вопросов, вызванными

---

\* Напечатано: Регіональна історія України. – К., 2009. – Вип. 3. – С. 249 – 260.

не только проблемами урбанистики, но и региональной истории. Кстати, объективности ради и точности для замечу, что на самом деле, «привокатором» дискуссии являюсь не столько я и даже не участники круглого стола, по материалам которого была опубликована упомянутая брошюра, сколько сборник «Регіональна історія України», а в персонологическом плане – Ярослава Владимировна Верменич, пригласившая нас к сотрудничеству.

Хотел бы заметить, что мы с вами современники особой историографической ситуации, характеризующейся, с моей точки зрения, дисциплинарным пограничным состоянием, в котором история городов, городской жизни становится предметом изучения в двух (как минимум) дисциплинарных дискурсах: историко-краеведческом и регионально-историческом, социальным признаком которого и является организация инициированных Институтом общественных исследований круглых столов осенью 2008 г. в Киеве и Днепропетровске по материалом истории нашего с вами города.

Характерно, что эти собрания привлекли внимание не только и даже не столько местных, естественным образом заангажированных специалистов, но и достаточно широкий круг историков, для которых прошлое Екатеринослава-Днепропетровска (Реплика Е.А.: Звучит концептуально!) стало не просто поводом «потусоваться», но и высказать принципиальные соображения по исторической урбанистике, методологии исторических исследований, в том числе в плане региональной истории. И поэтому этот микросеминар является для нас возможностью продолжить дискуссию, начатую Я. Верменич, В. Маслийчуком, А. Портновым, Н. Яковенко и другими...

**Чернов Е.А.:** Олег Иванович, я только хотел взять слово, как вот это напоминание о том, с кем мы продлеваем дискуссию, вызвало желание отказаться от участия в ней не столько в связи со значимостью авторитета названных имен, сколько с убежденностью, что живое высказанное слово, переданное затем в форме опубликованных текстов, намного богаче. Поэтому невозможность наблюдения за, условно говоря, мимикой, жестом, ситуацией, сложившейся в зале, лишает нас понимания того контекста, который зачастую бывает важнее самого текста. И хотя издатели материалов дискуссии киевского круглого стола стремились, насколько это удается судить, к максимальной точности, все же подозреваю, что если будущу дискутировать, например, с Натальей Николаевной Яковенко, то на

самом деле – с конспектом ее выступлений. Впрочем, высказанное мной имеет отношение не только к тому круглому столу, но и обращено к эвентуальным читателям материалов нашего семинара. Но чувствую по вашим взглядам, что этими оговорками не удастся ограничить своё выступление, поэтому позволю себе высказаться более содержательно.

Здесь уже инициатор, или, как выяснилось, разбуженный инициативой Ярославы Владимировны Верменич О.И. упомянул (обидно, что все) моё имя в связи с публикацией 1998 г., которая была выжимкой из доклада на конференции с очень характерным названием – «Першарегіональна історико-краєзнавча». Говорю «очень характерным» (или, как подсказывает О.И., симптоматическим), потому что в этом названии сознательно или подсознательно, на мой взгляд, и отражались те изменения в историографической ситуации, о которых уже высказался О.И. Симптоматическим признаком этих изменений для нашей научно-гуманитарной среды в последние десятилетия является вхождение в какую-нибудь новую проблематику через терминологическую интервенцию. Пожалуй, и вчера, и еще сегодня региональная история, по крайней мере, на отечественной почве, прививается или же средствами конформизма с историческим краеведением, или же принципиального отталкивания от него, тем самым демонстрируя вольно или невольно свою зависимость. В этом отношении особенно иллюстративным являются публикации наших российских коллег, позиционирующих себя как принципиальных «историков-регионалистов», М.П. Мохначевой, С.И. Маловичко, Т.А. Булыгиной. Из этих публикаций, а также из непосредственного общения на конференциях, с одной стороны, отчетливо проявляется, что они остаются еще историко-краеведчески зависимы, хотя бы в своем стремлении избавиться от этой зависимости, с другой – историко-краеведческий дискурс, а еще более историко-краеведческий социум, выражаясь языком наших студентов, «достал их по полной программе». Наблюдения за украинской историографией могли бы дать подобные результаты с той лишь существенной разницей, что у нас это все проходит в более мягких, я бы сказал, в «малороссийских» формах, и даже принципиальные историки-регионалисты не проявляют в открытом виде стремлений не только интеллектуально, но и социально отмежеваться от исторического краеведения. Не знаю, насколько адекватно я воспринимаю сигналы

от вас, коллеги, но прочитываю в ваших глазах вопрос: в связи с чем и какая необходимость в рамках предложенной проблематики заставляет столь подробно останавливаться на взаимоотношениях реально функционирующего исторического краеведения с еще достаточно эфемерной региональной историей, и уж воистину вы справедливы, коль считаете, что я незаслуженно нападаю на историков-краеведов. Если действительно такой вопрос возникает, а судя по отсутствию реплик, это так, то позволю себе, не дожидаясь озвучивания этих вопросов, попытаться дать на них ответ. На мой взгляд, сказанное мной об историографической ситуации имеет самое непосредственное отношение к обсуждаемой теме и могущих вытекать из нее вопросов; так как, по моему убеждению, все высказавшиеся участники на круглом столе в Киеве (насколько я могу судить это по публикациям) и представляют собой носителей двух выше названных вариантов субисториографического сознания, но, кажется, не демонстрируют готовности выйти на третий вариант, применив по отношению к историографической традиции (с историко-краеведческой доминантой в ней) старый испытанный «метод А.Ф. Македонского». В этой традиции настолько запутаны узлы, что их нужно «не развязывать, а разрубывать». На научном языке это можно было бы обозначить как утверждение новой парадигмы (парадигм)...

**Портнова Т.В.:** Евгений Абрамович, в Ваших высказываниях мне наиболее сомнительным показался тезис об отсутствии между краеведческой и академической традициями конфронтации в украинской историографии. По-моему, совсем наоборот...

**Журба О.И.:** У меня несколько иное представление о позиционировании участников дискуссии. Знаковым вопросом, свидетельствующим о функционировании, и быть может доминировании, еще одной «парадигмы», стал навязчивый вопрос одного из участников дискуссии о точных, неоспоримых критериях определения даты возникновения города для предоставления их местным властям с целью воздействия на общественное сознание. Такая активная общественно-политическая позиция продолжает настойчиво стимулировать обсуждения городской истории, в то же время, являясь фактором давления на академическую позицию.

Е.А. говорил о специфике российской историографии, но в своем желании преодолеть историко-краеведческий подход, украинская историография, как мне представляется, является более органичной и продвинутой. Региональная историография, например Волыни, Галичины, Закарпатья, демонстрирует специфическое видение истории, не искусственно сконструированное, а вызванное почвой. Поэтому мне представляется, что «украинский краевед» более «стихийный регионал», чем российский профессионал, позиционирующий себя как региональный историк. Проекты региональных историков, представленные в российском историографическом пространстве известными работами, например, А. Севастьяновой и В. Бердинских, носят характер осмысления целостного пространства отечественной историографии как механической совокупности фрагментов.

**Чернов Е.А.:** Олег Иванович, вы можете назвать, кроме себя, украинских историков, которые бы работали в ключе изучения целостного историографического пространства под региональным углом зрения?

**Журба О.И.:** Да, но скорее это делается стихийно, нежели методологически осознано.

**Чернов Е.А.:** Тогда скажите, пожалуйста, являются ли правыми Ваши оппоненты, когда упрекают Вас в том, что реализуемый Вами подход способствует консервации элементов разрушенности украинской историографии, дискретности того процесса, который называется «история Украины»? Ведь в отличии от российских историков украинские стоят перед дилеммой – ткут ли они целостное историографическое полотно из отдельных региональных лоскутов либо разрушают его? Этот вопрос стоит в связи с тем, что мы имеем дело с *конструируемой* украинской историографией, в отличие от уже *ставшей* – российской...

**Журба О.И.:** С одной стороны, мы, кажется, рискуем подменить тему обсуждения, с другой, именно в этих вопросах и скрываются методологические ключи к пониманию подходов к началу «времени URBIS». Поэтому попытаюсь дать ответы на поставленные вопросы.

Если иметь в виду наиболее радикальных оппонентов из круга Института археографии, в том числе и наших с вами земляков, то, безусловно, в своих инвективах в мой адрес они правы, точно так

же, как правы они и иже с ними, в не менее острых дискуссиях о начале истории Днепропетровска и других украинских городов с похожей исторической судьбой. Им можно позавидовать, так как в них синкретично функционируют идеологическое и научное мышление, позволяющее им ткать целостное полотно вменяемой ими нам «нашей истории». В то же время, за этим стоит неизбежное упрощение и обеднение многообразия истории вообще, а уж такой как украинская, – особенно.

**Чернов Е.А.:** Уважаемые коллеги, я выслушал высказанные вами соображения, которые позволяют мне продолжить высказываться по существу. Интересно, что вы солидарны в восприятии исторического краеведения как внеакадемического дискурса. И поэтому мое деление диспутантов на две группы вам кажется сомнительным, так как они все, несомненно, принадлежат, если не «душой», то уж «телом» точно, к академическому (читай – научному), но в своих размышлениях я исхожу из принципиально иной дилеммы. Я не случайно говорю об историческом краеведении, а точнее об историко-краеведческом подходе, а не об историках-краеведах. И поэтому полагаю, что мы в настоящее время преимущественно имеем дело с двумя типами носителей субисториографического сознания, оба которые принадлежат к академическому научному дискурсу. Те, кто к нему не принадлежат, может быть, заслуживают особого разговора и особой классификации. Поэтому вернусь к «принадлежащим». Те историки и не только, кстати, историки, а гуманитарии в целом, мыслящие в конкретном или в теоретическом вариантах (вернусь к обсуждаемой тематике) по вопросам исторической урбанистики и в частности урбанистического летоисчисления, мыслят или же историко-территориально, или же квалифицируют такого рода исходную позицию как глубоко ошибочную, и стараются её преодолеть в формах корректной дискуссии (а зачастую – не очень), прибегая к универсальной маркировке своих оппонентов: «ненаучный», «квазинаучный». Сказанное имеет смысл, конечно же и в этическом отношении, однако не об этом в данный момент веду речь. Все дело в том, что над украинской историографией завис своеобразный «дамоклов меч», причем в ролях Прокруста и Дамокла выступают сами украинские историки, которые сформулировали в качестве основной «вади» всей малороссийско-советской историографии истории Украины концепцию истории Украины как истории края.

Соответственно, основная сверхзадача и заключается, в том числе и для противников «державницкого» подхода, преодолеть этот историко-краеведческий угол зрения. Но тогда украинская история или то, что может быть к ней отнесено, и оказывается в прокрустовом ложе, в котором или же не помещается голова – «держава», или нет места рукам, ногам и другим отросткам тулowiща – отдельным конкретно-историческим сюжетам, подходам. Это достаточно ярко проявилось в упомянутой нами дискуссии, связанной с датировкой начала городов. Принципиальный отказ от стремления к континуитету разрушает надежду на создание крепко дидактически сшитой истории Украины и её органических частей – территорий со своей урбанистической традицией. Пикантность историографической ситуации заключается еще и в том, что мы сталкиваемся с конфликтующими образами континуитетов: национально-государственного и локально-территориальных.

Принятие последней позволяет вписываться в современную европейскую историографию, но вредоносно влияет на идеологию целостности, единства, что, во-первых, вступает в противоречие с политико-идеологическим сознанием, наверное, значительной части носителей и выразителей этого подхода (о чем уже было сказано О.И.), а во-вторых, мешает проводить «внутреннюю грантовую политику», а значит, подрывает экономические устои и так не цветущей в этом отношении науки. И поэтому как в России, так и в Украине в терминах региональной истории, О.И., полемика, направленная против исторического краеведения, проводимая под флагом борьбы за научную чистоту, и есть проявление историко-краеведческой зависимости. Если воспользоваться известной формулой: «Мыслители и Казначеи» (Данем), то местные «казначеи» и прошлого, и настоящего готовы развязать муниципальные и спонсорские кошельки как здесь, так и везде под программы с историко-краеведческой идеологией, припорошенные современной научно-историографической пылью. Поэтому не будем лицемерить, упомянутое неоднократно противостояние краеведов-некраеведов имеет свою глубокую экономическую подоплеку и поэтому, Т.В., и получается почти по Довлатову: «Советский? Антисоветский? Какая разница?», и чтобы эта разница была заметна, я и говорил о «методе А.Ф. Македонского», суть которого в данном конкретном варианте в четкой фиксации принципиально иных исходных методологических

позиций, о чём, собственно говоря, в не столь пространном и радикальном виде и высказался в публикации 1998 года, где шла как раз речь о той проблеме, которая стала непосредственным предметом обсуждения киевского круглого стола осенью 2008 г. Во время его проведения, кстати, наш уважаемый коллега О.А. Репан попытался изложить свое видение сути предложенного мной подхода, что избавляет в значительной степени меня от необходимости останавливаться здесь на отдельных деталях, тем более что О.А. был и участником дискуссии, и соавтором сборника, и насколько я знаю, вы ознакомлены с ним (реплика Т.В.: А предполагаемый читатель знаком?). Учитывая, Т.В., интересы этого предполагаемого читателя, для которого сам сборник может быть труднодоступен, замечу, что в основе предложенных тогда соображений о подходах к изучению летоисчисления нашего города были апробированы некоторые идеи регионального исторического анализа, с которыми имели возможность ознакомиться читатели второго выпуска сборника «Регіональна історія України»<sup>4</sup>. А в контексте той публикации речь шла о том, что тогда не была названо, а сейчас считаю уместным назвать – сознательное применение ретроспективного взгляда на изучение этой проблемы. Суть этого взгляда в вопросе: начало истории какого города мы хотим обнаружить? (что, на мой взгляд, не было замечено О.А. Репаном, как кажется, и другими, например, М.Э. Кавуном). Более чем через десятилетие именно это мне представляется основным и значимым, что, выражаясь языком старых диссертационных диспутантов, я мог бы вынести на защиту в качестве основного тезиса, при этом осознавая, что ретроспективный взгляд пользуется самой дурной репутацией в академической науке...

**Журба О.И.:** Ключевым моментом в дискуссии об основании городов является, на мой взгляд, образ территориальной истории в сознании историков, а для украинских историков и отечественной урбанистики вообще – выбор идеального целостного, куда бы вписывались региональные украинские пространства. Можно утверждать, что украинские регионы – это постоянно меняющиеся, «плавающие» регионы, что связано с геополитическими изменениями и следующими за этим налагающимися интеллектуальными пластами, которые, например, в Южной Украине, не успевали устояться, законсервироваться, находились в постоянно меняющемся, динамичном состоянии (Реплика Е.А.: И именно поэтому, возможно и

не регионы). Если иметь в виду Ваше понимание термина, то, вполне возможно.

Но, позволю себе не согласиться с утверждением об отсутствии ретроспективного подхода в изучении украинских городов. У каждого региона, территории, макрорегиона, – свои конкурирующие образы истории, формирующиеся на вполне ретроспективной основе. Поэтому часть диспутантов вписывает историю Екатеринослава в славное казацкое прошлое, другая часть накладывает европейские лекала на измерение датировки. На мой взгляд, самое интересное, не вдаваясь в детали дискуссии, – то, что все эти подходы могут быть в определенных методологических координатах оправданы, за исключением одного – позиции принципиальной историографической глухоты. С другой стороны, механическое соединение этих позиций невозможно (Реплика Е.А.: На практике это возможно на пленарных заседаниях!), поэтому осмысление стратегий изучения «начала времени URBIS» представляется научно актуальным, а значит использование таких терминологических неологизмов, как, например, «предгородская история», «нереализованный урбанистический потенциал» в контексте с Кодаками, Половицей, Старым Самаром и другими поселениями-претендентами на начало нашего города, можно, с моей точки зрения, характеризовать как движение в сторону формирования эффективной научной стратегии...

**Портнова Т.В.:** Мне показалось, что лейтмотивом этого сборника стало утверждение того, что проблема датировки городов всегда является идеологизированной. И ретроспективный подход будет воспринят именно под этим углом зрения. К тому же, представляется, что ретроспективный подход, применяемый по отношению к истории конкретных городов по своей сути – контр-ретроспективный, что и является как раз иллюстрацией слов Е.А. о конфликтующих образах континуитетов. Вместо того, чтобы переносить на прошлое карту современной Украины, сторонник региональной истории обращает внимание на регионы, не всегда с этими границами совпадающие...

**Чернов Е.А.:** Уважаемые коллеги, когда я говорю о ретроспективном методе, то имею в виду, что в нашу эпистемологическую эпоху на метод может претендовать в науке только осознанное, отрефлектированное. Поэтому, если вы приведете хоть один известный вам пример из практики современной историографии (не только отечественной), в которой историк сознательно и открыто определяет свою исходную

позицию как ретроспективную, то меня это только порадует. Попытки же вменить другим использование ретроспективного метода обычно является в историографии только лишь средством разоблачения с отчетливо выраженным привкусом инвективности. Я же в данном случае утверждаю необходимость применения к проблеме датировки начала города именно ретроспективного подхода, исходя из убежденного представления, о котором уже имел возможность высказываться, что в одном и том же хронотопном срезе мы можем иметь дело с несколькими «историями городов». И это зависит не только от хронологических масштабов среза, но и специфики функционирования урбанистических начал на разных этапах истории в рамках изучаемого пространства-территории. Надеюсь, что, по крайней мере, Т.В. помнит рассуждения, предложенные мной о Константинополе-Истамбуле, в которых предпринималась попытка обоснования того, что константинопольский период способствовал созданию исторически устойчивой урбанистической структуры, которая не могла быть стерта даже завоевателями, носителями принципиально иных цивилизационных основ и, поэтому, завоеватель мог переименовать город, снести купола Святой Софии, надстроить над ней минареты, что символизировало, на самом деле начало нового этапа в истории одного и того же города. В то же время, в модерной отечественной истории мы зачастую имеем дело с принципиально иной схемой исторического процесса. Дабы не утомлять вас и читателей аргументацией только от екатеринославско-днепропетровской истории, сошлюсь на прекрасный, на мой взгляд, пример буквально на днях вычитанный мной из публикации мемуаров жандармского полковника Стогова: «— Батюшка, при Вас брали Одесс? Эх, братец, какой Одесс, мы брали Хаджибей. Мы с Дерибасом тихо подошли перед зарей, так тихо, что колесы у пушек были обмотаны паклей. Пришли и стоим, никто и шепотом не говорил. Только встало всходить солнце, смотрим: крепость тихо поднялась на воздух, покачалась, покачалась, да и развалилась надвое. После мы и строили Одесс»<sup>5</sup>. Эти слова и могут служить иллюстрацией на тему о «нескольких историях». Ваши же «оппоненты», О.И., в них в первую очередь обратят внимание на то, что задолго до Одессы, был «наш украинский» (или кажется татарский? Но уж точно, — не русский!) город Хаджибей.

Возвращаясь к началу истории Днепропетровска, считаю необходимым подчеркнуть, что в историко-генетическом отношении мы обязаны понять генетическую структуру какого «живого существа» мы хотим изучить. Близость генома высших приматов и современного человека только с очень большими оговорками позволяет неоеволюционистам говорить о единстве этих видов. По аналогии, конечно же, можно с еще большими основаниями видеть генетическую преемственность между любым поселением на территории современного Днепропетровска, обнаруженным в разных временных отрезках. Но, в эпоху появления на карте Екатеринослава, как, впрочем, и многих других городов, на территории его возникновения происходил очевидный цивилизационный сдвиг, осуществляемый в пространстве, где не сложилась еще до этого устойчивая городская структура, а, следовательно, это позволяло «цивилизаторам» осуществлять стирание тех элементов, которые в форме тенденций здесь уже себя проявляли, и начинать историю города в этой системе координат с «чистого листа». Хаджибей можно было стереть, константинополи и киевы – нельзя! Там где модернизация осуществлялась на почве сложившейся домодерной городской культуры (традиционного общества), там возможна претензия на подлинный континуитет. Где же она не успела сложиться, там эта претензия сомнительна по отношению к истории точно поименованного пространства, но вполне обоснована при изучении истории территории (истории края). Так как региональная история в современном дисциплинарном пространстве исторической науки может иметь свою особую предметную область только в случае отказа от историко-территориального изучения, в котором территория изначально наделяется историком статусом региона, то и предлагаемый мною подход и может отвечать принципам регионально-исторического анализа в определениях начала «времени URBIS». В этих утверждениях безболезненно можно пожертвовать личными местоимениями...

И в заключении своего выступления, считаю необходимым обратить внимание еще на один существенный момент в дискуссии на обсуждаемом нами круглом столе. Уважаемая Наталья Николаевна Яковенко заметила (цитирую по памяти), что невозможно в историю Рима (города) внести представления об историческом небытии Ромула и Рема. Меня особенно позабавило, чья-то безымянная реплика: «Но

их же действительно не было!». Признаюсь, что в момент прочтения мне очень захотелось увидеть автора этого возгласа, для которого, действительно, Ромула и Рема не было. Воистину сцена из «Мастера и Маргариты». Однако, не об этом речь, а о продолжении рассуждения Н.Н., «що людям потрібна забавка» и что не дело историков лишать их её. Это утверждение так же служит своеобразной «забавкой» для меня. Полагаю, что если бы в период формирования исторических мифов античного мира жили и действовали современные историки масштаба Н.Н., то тогда, действительно, можно было бы утверждать, что Ромул и Рем есть выдумка, придуманная волками и волчицами от власти, для забавки своих сограждан-подданных. И поэтому нам, живущим здесь и сейчас и носящим титло историка, действительно, вряд ли уместно бороться на уровне общественного сознания с устойчивыми историко-творящими мифами прошлого, но наш долг и обязанность, насколько это возможно, способствовать если не разрушению или недопущению, то, по крайней мере, коррозии в общественном сознании искусственно создаваемых, а значит и сомнительно продуктивных новых мифологем, призванных способствовать созданию новых идеологических забавок...

**Портнова Т.В.:** С вашего разрешения мне хотелось бы вернуться к тезису Е.А. о краеведческой зависимости, тяготеющей над современными исследователями городов, и о возможных перспективах отечественных урбанистических исследований. Хотя первой реакцией сразу же становится желание возразить, отмежеваться от подобной характеристики, трудно не признать, что локальное видение в исследованиях городов продолжает доминировать. Даже, несмотря на экспансию многочисленной теоретической урбанистической литературы, которую сегодня вроде бы уже невозможно не учитывать, а усвоить и адаптировать тоже не так-то просто. Поэтому среди поднятых в рамках киевского круглого стола, хотя и несколько вскользь, мне представляется значимым вопрос Н.Н. Яковенко о возможностях применения исследовательских подходов, выработанных на материалах западноевропейского города, к городам украинским. Кстати, особый скепсис о правомерности их перенесения нередко высказывают именно относительно городов нашего региона, с их относительно непродолжительной урбанистической традицией и отсутствием на определенных исторических этапах ряда привычных элементов городского. Возможно, большее внимание к особенностям

различных не вполне «классических» городских поселений и является одним из путей избавления от сугубо краеведческого видения?

Мне очень импонирует определение Е.А. «время *urbis*» как процесс формирования собственно городского, складывание гордоформирующих признаков, и представляется, что изучение сущности городского, в его украинском и региональных вариантах может стать важным компонентом современных урбанистических студий. Учитывая накопление значительного объема конкретной информации, следующим шагом, вероятно, станет изучение особенностей возникновения и развития городов определенных типов и регионов. Подобные исследования позволили бы причислить историческую урбанистику к региональной истории в самом академическом ее понимании, как дисциплину, стремящуюся подлинно показать общее через локальное, а не ограничивающуюся традиционной «биографией» города, интересной только его жителям.

**Журба О.И.:** Уважаемые коллеги, как мне представляется, наш разговор, несмотря на то, что вряд ли сможет оправдать ожидания тех, кто требует простых ответов на непростые вопросы, оказался полезным. Выявились и были уточнены важные исходные позиции, позволяющие расширить дискуссионное пространство по обсуждаемым вопросам. Прежде всего, мы оказались солидарны в том, что, не смотря на общественное звучание урбанистической проблематики, её изучение требует максимального дистанцирования исследователя от «актуальных» идеино-политических задач на историческом фронте. Кроме того, в ходе нашего семинара, была предпринята, как мне кажется, плодотворная попытка предложить новые подходы, позволяющие преодолеть «детскую болезнь» состязания фактов, которыми конкурирующие позиции подкрепляют «свои» истории Города, механически заимствуя извне подходящие сюжеты.

Для нас оказалось важным не столько определение даты и поселения, с которых можно было бы вести отсчет истории конкретного города, а обсуждение и выработка подходов к поиску «городского» в специфической, особенной истории конкретного региона.

Считаю, что высказанная Е.А. мысль о «конкурирующих образах континуитетов», где непрерывность истории территории, совсем

не обязывает к непрерывности истории локальной и национально-государственной, заслуживает внимания, особенно в отношении истории регионов с быстременяющимися цивилизационными характеристиками. Нельзя также не согласиться с тем, что предложенный Е.А. ретроспективный метод, хотя и требует, на мой взгляд, дальнейшего обсуждения, теоретической развертки, апробации на конкретном историческом материале, может быть одним из возможных путей преодоления теоретической немощи сегодняшних «городских историй».

Мне также представляется продуктивным призыв Т.В. сосредоточить усилия отечественных урбанистов не столько на «биографизации» городов, сколько на «изучении сущности городского в его украинском и региональном вариантах».

Со своей стороны, хотел бы отметить, что освоение украинскими историками урбанистической проблематики с претензиями на дисциплинарное становление урбанистики требует не только экстенсивных усилий, для которых найдется еще немало точек приложения, но и глубокой теоретической подготовки, а также высокой историографической культуры.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Датування міста як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід: Матеріали круглого столу 24 вересня 2008 р. / За заг. ред. В.Г. Панченка. – Д., 2008. – 88 с.

<sup>2</sup> Чернов Е.А. Начало времени URBIS в истории Днепропетровска // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. – Д., 1998. – Вип.1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції (8–9 жовтня 1998). – С. 110 – 144.

<sup>3</sup> Портнова Т.В. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини XIX – початку ХХ ст. – Д., 2008. – 104 с.

<sup>4</sup> Чернов Е.А. Региональная история и историософия // Региональна історія України. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 59 – 66.

<sup>5</sup> Стогов Э.И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. – М., 2003. – С. 33.

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  
ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК  
ВИКТОРУ БРЕХУНЕНКО\***

Уважаемая редакция!

В «Українському археографічному щорічнику» [Вип.7. – Київ; Нью-Йорк: М.П. Коць, 2002] была опубликована рецензия доктора исторических наук В.А. Брехуненко на книгу «Дніпропетровськ: віхи історії», написанную авторским коллективом днепропетровских историков во главе с д.и.н., профессором А.Г. Болебрухом. О неординарности этой рецензии свидетельствует уже ее название: «Дніпропетровський СНІД (Синдром наукового імунодефіциту)...». Основное ее содержание выдержано в стиле и духе названия. Я счел необходимым отреагировать на этот факт нашей современной историографии в жанре (форме) «Открытого письма доктору исторических наук В.А. Брехуненко». Прошу Вас опубликовать его в Вашем журнале, способствуя тем самым реализации идеи «открытости».

Заранее благодарю.

*Преподаватель кафедры историографии и источниковедения ДНУ  
Е.А. Чернов.*

**Виктор Анатольевич!**

То настроение, с каким я подхожу к написанию письма-ответа на Вашу рецензию, делает неуместными этикетные формулы обращения, а так как я не знаю Вашего научного звания, то, простите, ограничиваюсь только лишь обращением через имя-отчество.

Опубликованная Вами упомянутая рецензия освобождает любого, желающего ответить Вам, от необходимости оставаться в пределах «академического стиля». Сам факт публикации такого рода под

---

\* **Печатается впервые.** Самому письму предшествует обращение автора редактору журнала (сегодня нет потребности уточнять какого именно), который, без объяснения причин отказался печатать нижеследующий текст. Впоследствии, автор посчитал содержание письма утратившим свою актуальность, а потому не прилагал особых усилий для его публикации.

грифом: «Національна Академія наук України», – дает, что называется, «карт-бланш» на любую форму и стиль ответа, в том числе и в пресловuto-распространенных: «Сам дурак!» Поэтому, решив для себя, что не ответить не могу, я, признаюсь, испытываю великий со-блазн в «размашисто-оплеушном» стиле побеседовать с Вами, вос-пользовавшись преимуществами, в этом отношении, русского языка.

Но в отличие от Вас, ёрнически относящегося к «*alma mater*», я никуда не могу деться от чувства своей личной ответственности как университетского преподавателя, входившего в круг тех, кто в пери-од профессионального созревания нынешнего доктора исторических наук В.А. Брехуненко мог оказывать влияние на него.

Именно это чувство – ответственности, с одной стороны, застав-ляет преодолеть привычную для меня «писательско-издательскую» пассивность и попытаться обратиться к Вам «печатным словом»; с другой, – памятую о том, что речь идет о бывшем студенте, выпуск-нике нашей кафедры, ученике Николая Павловича Ковальского (с го-дами все более ценимого мной), попытаться все же повести с Вами «разговор» пусть нелицеприятный по содержанию и возможно рез-кий по форме, но как с историком, который еще в состоянии смотреть на мир исторической проблематики не только через «очки» разделяе-мой им идеологии.

Избираю же публичную, а не приватную форму по той же причи-не – «преподавательской ответственности» (не «достучусь» до док-тора исторических наук), может, буду «услышан» студентом).

Если бы после моего первого ознакомления с книгой «Дніпропетровськ: віхи історії» кто-нибудь сказал, что мне сужде-но будет выступить относительно её в роли «антикритика», то я бы, наверное, «рассмеялся прямо в глаза говорящему». Рассмеялся бы, потому что по многим параметрам она мне представлялась не совсем удовлетворительной, как в научном, так и в популяризаторском отно-шениях. Критические замечания стали даже предметом специального анализа со студентами, изучающими курс «Региональной истории», длительных дискуссий с главой авторского коллектива – профес-сором Анатолием Григорьевичем Болебрухом, другими коллегами. Вместе с тем, я посчитал неуместным «отметиться» в печати по это-му поводу, так как публичный «наезд» на откровенно слабые места этой книги имеет значение только лишь для самого «наездника», а то, что относится к сфере проблемной, может и должно быть, в пер-

вую очередь, темой научного «семинара» заинтересованных лиц, а не «ристалища». Ну, а «розвиться» по поводу искусственности наших «юбилеев» и «юбилейной историографии», признаюсь, подустал, так как «резвость» во мне эта начала проявляться еще во времена празднования 1500-летия Киева (200-летие Днепропетровска воспринял еще иронически, но не гротескно-критически). Лавина же юбилеев за последние 10-12 лет, имевших мощный историографический резонанс при сомнительных конкретно-исторических основаниях, в конечном счете, отбили напрочь желание кому-то что-то доказывать. К тому же для кого-то каждая из «юбилейных» дат имеет особую «сакральность». И надо ли «лезть в душу», например, с напоминанием о том, что в принципе мы же не знаем, когда родился Богдан Хмельницкий, или когда возникло козацтво? Делать так действительно нехорошо... Люди уже статьи написали, тезисы отослали, монографии подготовили, фонды всякие «пораскручивали»; в конце концов, может быть, и горилку по стопкам разлили, а ты будешь лезть «под руку» со своими несвоевременными вопросами.

Но вот 225-летие Днепропетровска у инициаторов множества юбилеев вызвало особую озабоченность и даже коллективное обращение к городским властям, с попыткой их образумить не только аргументами от «исторической истины» (мол, точно известно, что основание современного города нужно вести от 1635 года), но и советом прислушиваться к голосам «патриотических историков» (sic!). Нужно отдать должное бюрократическому мужеству наших днепропетровских «отцов города», выстоявших перед такими мощными «камнями» «исторической истины», пущенных из «пращи» «патриотических историков»! И невдомек Вам, Виктор Анатольевич, что 1776 год – это священная дата рождения Екатеринославско-Днепропетровской бюрократии, и она не менее значима для тех, кто соотносит себя с последней, нежели... Но удержусь от сравнений, дабы не посягать на святые чувства «патриотических историков».

Итак, неожиданно для себя я взялся выполнить функцию критика критики на указанную книгу по истории Днепропетровска. При этом я ни в коей мере не беру на себя функции защиты самой книги и тем более ее авторов, которые уверен при желании в состоянии сами постоять за себя, так как есть основания полагать, что они не менее, чем их строгие критики, имеют вкус к «исторической истине» и развитое

гражданско-патриотическое сознание. Поэтому источником моих размышлений является, главным образом, текст Вашей рецензии.

Еще одна необходимая оговорка: так как «письмо» не является «рецензией» на «рецензию», то всю комплиментарную сторону я оставляю «до лучших времен».

Прежде всего хочу спросить: что для Вас история города? Местности, территории? Локальный вариант национальной истории? Или...? Этот вопрос естественным образом возникает при ознакомлении с основными Вашими теоретическими рассуждениями и конкретными замечаниями. Из них вырисовывается представление, что понятие «история города» находится на глубокой периферии Вашего внимания, что прослеживается во всем: от бдительных наблюдений над иллюстративно-оформительским материалом рецензируемой книги, до попытки анализа содержания всех его разделов и вынесенного в конце рецензии «приговора».

Тот подход, который, по сути, декларируете Вы, является распространенным методом политico-идеологического насилия над прошлым. Суть его проиллюстрирую на примере: все, что происходило на территории современного государства Израиль рассматривать (поглажительное наклонение) как историю Израиля... Таким образом, имя государства лишается конкретного содержания. Из имени подлинного становится условным. Это приводит к тому, что места неизбежных разрывов склеиваются с помощью вербально-идеологического «скотча». Как певал наш земляк Александр Галич: «И этот «марксистский» подход к старине давно применяется в нашей стране... И в вашей стране он сгодится вполне, поскольку вы тоже в таком же...».

И не нужно обладать исключительным «научным иммунитетом», чтобы понимать, что в одном и том же топосе, помещенном на шкалу исторического времени, мы имеем дело с **«п-ым» множеством «историй»**. Поэтому действительно существует проблема, с чего начинается именно эта история. Такая проблема всегда существует. Между тем, одним из самых изначально уязвимых мест рецензированной Вами книги является отсутствие попыток со стороны авторского коллектива, пусть в популярной форме, дать представление читателю о своем видении, что есть «город» и типологии «городского». Это тем более кажется необходимым уместным после вашей рецензии, в которой выясняется, что даже читатели, берущие на себя функции «клинической диагностики» авторов с точки зрения научности, не в со-

стоянии понять, что станция «Метро», вагон метрополитена при всей их незначительности больше имеют отношения к конкретному лицу данного города, нежели «козацький кінь», чи, навіть, «човен» (хотя последний есть несомненно символическим признаком, однако, к сожалению, не имеющий фактографической изобразительной точности применительно к конкретной истории города Днепропетровска). И все же, если авторский коллектив об этом не высказался, то, судя по всему, ориентирован был на попытку сосредоточиться на отборе и демонстрации именно специфически-конкретного материала.

Теоретические проблемы исторической урбанистики запутаны и сложны для восприятия их массовым читателем. Для «мыслящих историков»\* (и в той степени, в какой Вас можно идентифицировать с ними) эти проблемы восходят к философско-историческим воззрениям относительно самого процесса изучения истории. И в этой системе координат «кодацко-козацкая» версия начала времени «urbis» не представляется такой уж безупречной по отношению к «истории Екатеринослава-Днепропетровска».

Но боюсь, что я излишне затягиваю Вас в пространство философско-историческое. Боюсь, так как памятую, как некогда профессор Юрий Андреевич Мыцык (это было еще до посвящения в сан и в «кодакско-сичеславский» период его жизни) в публичной дискуссии со свойственной ему неотразимостью в аргументации «отбрил» меня: ««Философско-исторический» – это на 13 этаже...» (тогда кафедра философии находилась на 13 этаже 1 корпуса ДГУ). Так, вот и опасаюсь я, не посылаю ли Вас излишне высоко? Поэтому спустимся пусть на «грешную», но зато на нашу родимую почву, – факта.

А этим первым «фактом» Вашей попытки апелляции от имени «науки» и «здравого смысла» является очевидная профессионально-этическая гибкость доктора исторических наук В.А. Брехуненко, который, в принципе, не так уж против манипуляций с научными данными, если они осуществляются в рамках монополизированного им и иже с ним понимания сущности украинского патриотизма.

По-видимому, Виктор Анатольевич, налицо влияние «топоса жизни» на личность историка. Близость расположения «Институту

---

\* Не воспринимайте, пожалуйста, словосочетание «мыслящий историк» как часть той классификации, в которой возникает таксон «историк-патриот».

української археографії та джерелознавства» к основным местам политических балаганов, которыми так сейчас полна столица, оказывают на Вас, при общей предрасположенности, «дурманяющее» воздействие. Только этим можно объяснить, например, решение властей города праздновать 225-летие, не стремлением влиться в «традицию» и «подхватить» ближайший год, а ориентацией на дату «благонадійну» з пункту сусідньої держави, до всього – колишньої метрополії» (с. 414).

Вас не упрекнешь ни в желании заинтриговать читателя, ни в непоследовательности в дальнейшем. Вы сразу же обнаружили с какой «точки опоры» будете рецензировать и, признаться, ни разу (на всех 20 страницах) не покинули ее. Вы доверились Архимеду, забыв, что «перевернув мир», мы «переворачиваем и себя».

Насколько далека избранная Вами «точка опоры» от декларируемой научности свидетельствует и лихое описание Ваших предварительных сомнений: удастся ли днепропетровским историкам – авторскому коллективу – «не зрушити з ґрунту науковості», завершающихихся чудесным пассажем о «медведе российском» (с. 414). Тот, кто по наивности мог принять всерьез Ваши слова о «научности», и читавший рецензируемую книгу, вправе был ожидать от рецензента хотя бы краткого анализа предшествующей литературы, ситуации в историографии истории города, состояния источников базы.., однако, «...напрасно ждал Наполеон...».

Даже Д.И. Яворницкий, имя которого Вы потом несколько раз используете как средство для идеологического правежа, не заслужил Вашего внимания в качестве автора «Истории Екатеринослава».

Кстати, почему все убежденные сторонники «1635 года» от аматоров до представителей «провідних наукових українських інституцій історичного профілю» (с. 413) как-то обходят взгляды «козацького батька» по вопросу с чего начинать историю нашего города? Вспоминается, как на одной из конференций в Днепропетровске мне был после выступления задан вопрос: «Чи читав я «Історію Екатеринослава» Дмитра Івановича Яворницького?» Я переадресовываю Вам этот вопрос, хотя не сомневаюсь, что «да». Впрочем, и предшествующий мой вопрос носит с точки зрения вопрошающего риторический характер. Ответ на него известен: неудобен Д.И. Яворницкий в этом отношении. Угораздило его так «проштрафиться» перед «подлинно патриотической историографией»

начать свою книгу со слов: «Город Екатеринослав – всецело творение князя Г.А. Потемкина».

Очевидно, что для любого историка-профессионала, даже «инфицированного» научным иммунодефицитом», взгляды и имена, в т.ч. «авторитетных» историков, – не «апостольские», а труды – не «священное писание». Но вместе с тем, если авторы вызвавшей гнев книги, зажатые в тиски издательского объема и специфики жанра, вынуждены были обойтись без историографических экскурсов, то автор пухлой рецензии (тем более еще и опубликованной в таком узкопрофессиональном издании), извините меня за модальный глагол, *д о л ж е н* был помыслить по поводу историографической традиции и в этом случае невозможно было бы миновать взглядов Д.И. Яворницкого, который очевидно к 150-летию готовил свою историю города, беря за точку отсчета, совсем «ужасающую» дату, – 1787 год (год торжественной закладки Преображенского собора при участии Екатерины II и прочих).

Подчеркиваю еще раз, что то или иное утверждение отдельно взятого историка, конечно, же есть только «информация к размышлению», но которая при ее наличии не может быть обойдена. Или же этот подход Вы тоже считаете действием «злосчастного вируса»? Я всегда полагал, что в этом отношении еще в студенческие годы Виктор Брехуненко получил «достаточную дозу» подобной «инфекции», чтобы пронести ее через всю свою профессиональную жизнь. Однако вынужден признать, что, судя по всему, Вы прошли (или еще проходите) какой-то специфический курс «лечения» и, увы, возникает опасение, что он на Вас действует.

Именно под воздействием этого «курса» Вы и представляете результаты своего «научно»-критического взгляда на «прорецензированную» книгу.

Можно было бы оставить в стороне вашу иронию по поводу «Передмови», если бы не одно обстоятельство. Вы напрасно имитируете солидарность с желанием авторского коллектива «подати надідеологізованій, об'єктивній нарис історії». Если у авторов действительно такое желание присутствует и, в целом, прослеживается через всю книгу, потому что даже некоторая привязка к 225-летию не имеет никаких идеологических оснований, то Вы хотите именно насквозь идеологической истории, о чем свидетельствуют Ваши оценки каждого из 9 очерков (глав) по истории города.

Так как речь идет об авторских очерках, то удивляет Ваш подход к самим авторам. Он мне напоминает, как в бытность еще на кафедре историографии и источниковедения, Николай Павлович Ковальский, когда был «в гуморі», то любил цитировать одну из коллег, говорившую в знак одобрения-неодобрения: «хороший мальчик...», «плохой мальчик...». Ирина Федоровна Ковалева (автор первого очерка: «Наш край з давніх часів до XV ст.») и даже редколлегия, избравшая ее в качестве автора, оказались «хорошими девочками». Надеюсь, что И.Ф. несильно обидится на Вас за уважительно-одобрительный тон, но ей все равно будет нелегко последовать Вашей рекомендации показать «органічний зв’язок між княжим періодом і козацькими часами в історії краю» (с. 416), так как на уровне фактографическом проследить трудно... Не знал этот край «княжого періоду». И поэтому, если бы даже автор этого очерка и упомянула бы о «бронниках», то вряд ли без идеологических натяжек ей удалось бы сделать желанный для Вас «наголос».

Судя по всему, в разряд «хороших мальчиков» попал и автор второго очерка («Степовий кордон України XV – XVII ст.»), Иван Сергеевич Стороженко. Правда, «между нами девочками», Виктор Анатольевич, если бы наука хотя бы мало-мальски Вас волновала в ходе написания рецензии, то кому, как ни Вам, пусть коротко, но все же проанализировать различные стороны этого очерка, так как его автор и в хронологическом, и проблемно-тематическом, и даже концептуальном отношениях трудился на «территории» Ваших непосредственных научных интересов? Но на чем же Вы сосредоточили и «похвалы», и «замечания»!? Опять, увы, только на одном аспекте – роли украинского казачества. Но между тем, если автор этой главы (очерка) был и не совсем свободен, памятуя о необходимости рассчитывать на массового читателя, испытывая влияние «флюидов юбилейности», и «недоформулировал» специфику тех обстоятельств, не давших возможности развиться урбанистическим предпосылкам на территории Надпорожья, то рецензенту, казалось бы, «карты в руки». Но...

Сама история возникновения крепости Кодак интересна не только отблеском казацкой славы, но и типологическими признаками механизмов формирования основ городской жизни, сущности коллизии между «городскими» и «негородскими» тенденциями в истории данного края, в которых проявляется регионально-историческая его специфика. И скорее в упрек всей концепции и автору очерка можно

было бы поставить, что руководствуясь внешне-этическими мотивами, стремясь написать «примирающую» историю города, избегали называть вещи своими именами. А этой «именной вещью» и есть, на мой взгляд, представление о том, что период с XVII по XVIII вв. очаги городской жизни под различными именами зажигались, но вместе с тем по различными причинам (их, не стесняясь, необходимо было перечислить) потухали, так и не сформировав у с т о й ч и в о й урбанистической структуры.

Между тем, этот очередной опыт «примирающей» историографии тоже ценен сам по себе. Он на практике демонстрирует, что есть в этом отношении две категории среди современных читателей: – не нуждающихся, чтобы их историческое сознание искусственно приводили в патриотическое состояние; – те, которых «смирительные рубашки» от историографии все равно не успокаивают..., о чем убедительно свидетельствует Ваше «разоблачение» самого «плохого мальчика» во всем авторском коллективе – **М. Кавуна – автора третьего очерка («Губернське місто 1776 – 1880 рр.»)**. Этот «мальчиш-плохиш» (кстати, по возрасту еще действительно юноша в науке, но вместе с тем один из самых эрудированных и квалифицированных специалистов в истории города конца XVIII – первой половины XIX вв.) по всей видимости и есть олицетворение «научного разложения» в Днепропетровске.

Жанр «письма» позволяет мне, не вдаваясь в детали, обобщить, что почти все, что Вы инкриминировали М. Кавуну и редакционной коллегии есть Ваш «домысел», построенный на «умысле», что не вызывает уже удивлений, но так же и недостаточной компетентности (последнее для меня было неприятной неожиданностью).

При характеристике этой главы (очерка) особенно бросается в глаза Ваш беспроблемный подход к истории (надеюсь, что он распространяется на историю одного города). «Беспроблемный», в том смысле, что внутри себя вы носите только ответы, а не вопросы.

Так, например, действительно авторскому коллективу и редакции, на мой взгляд, не совсем удалось создать целостную, логически непротиворечивую структуру книги, что проявилось и в стилистическом оформлении названий отдельных глав- очерков. Но эта проблема, с которой сталкивается любой историк, выходящий на уровень исторического синтеза. И я не знаю ни одного примера, в котором удалось бы, соединяя единичное и целое, найти абсолютно удовлет-

ворительную форму презентации. И, конечно, название «Губернське місто...» может вызвать массу замечаний, в том числе и те, которые привели Вы. Но при этом не причем тут «звичайнісінський недогляд», который Вы, по доброте душевной готовы были бы простить. И, хотя я обещал не вторгаться от своего имени в пределы авторских замыслов, не могу удержаться от замечания: все же историки, создававшие эту книгу, были ориентированы на представление читателям истории города и стремились найти особое Имя каждому периоду. Поэтому для хронологических рамок, отведенных третьему очерку, одним из главных признаков (по мысли автора и коллектива?) является административный статус Екатеринослава. По этому поводу можно задуматься, можно вести дискуссию, которая может опять затянуть нас на «13 этаж», а лифтовое хозяйство в последнее время забарахлило totally, в том числе и в сфере научного интеллекта.

И, хотя, судя по всему, Вы не числите себя среди историков «з поневоленим розумом» (с. 419), но Ваши «филиппики» на с. 418 – 419 заставляют признать, что вы явно скромничаете. По мере их перечтения у меня все больше крепла мысль-вопрос: «А не является ли это своего рода «шифrogramмой», с помощью которой Вы передаете какую-то важную информацию «своим»?... И все же не могу не заметить, что Вы уже слишком «передергиваете карты». Например, все три ключевых момента «позиції» М. Кавуна полностью от начала до конца сформулированы Вами и впору бы здесь и в дальнейшем автору напоминать Вам: «Заметьте, это не я сказал...».

По моим наблюдениям и редколлегия, и упомянутый автор данного очерка, склонны как раз проявлять осторожность в вынесении оценок по спорным проблемам историографии истории нашего города. И у Вас с ними, в первую очередь, разногласие в уже отмеченном мною пункте: они только изучают историю города, а Вы ее уже «изучили». И поэтому, «сдавая» Вам и другим уже «изучившим» эту историю, они часто неудовлетворительны, так как «сдают» «не по тем конспектам». И такой подход к рецензированию Вам, конечно, не дано квалифицировать как «поява чергового рецедиву відвертого глуму з історичної науки» (с. 418.). Объективности ради отмечу, что Вы все таки употребляете слово «проблема», но тут же «успешно» снимаете проблемность относительно процесса возникновения города.

Взаимосвязь между Екатеринославом-І (на Кильчене) и Екатеринославом-ІІ (на Днепре) – вопрос, представляющий интерес для специалистов, к сожалению, засорен бюрократическими и протестными «шумами». Однако это не позволяет отбрасывать его с помощью «аргументов» от «Рио-де-Жанейро». К тому же замечу Вам, что, если бы, например, Бразилия получила бы название Рио-де-Жанейро, Варшава – Krakow, а Санкт-Петербург – Москва, при перенесении столиц (все примеры Ваши – с. 419–420), то историки этих городов несомненно вынуждены были бы включить и сюжеты, относящиеся к предшествующему этапу бытия имени-города. Тем более, относительно Екатеринослава-І и Екатеринослава-ІІ передергивание настолько очевидно, что даже язык документа «О перенесении Екатеринослава...» выдается Вами как идейная позиция автора. Но, если все же вернуться к проблеме этого истории и заставить себя мыслить с позиций логики «или-или», то, полагаю, что в создании «города Екатеринослава» «Екатеринослав-Кильченский» имел большее непосредственное значение («тогда» и «там»), чем Кодак, Половица и все казацкие хутора и зимовники. Но в том-то и дело, что логика исторического анализа не только не требует, но и не предполагает столь жесткую структуру, а вот логика людей, ведущих борьбу за каждую «пядь земли» с «врагами», – требует. И в борьбе против «врага» любое оружие (аргумент) подойдет... Лишь бы резало, кололо, рубило, стреляло или хотя бы шумело и пыль поднимало, чтобы напугать противника, а главное соратников подбодрить и одновременно продемонстрировать, что я не покинул строя.

И «режется»: «першу церкву приходьки спромоглися завершити лише в 30-ті роки XIX ст.» (Преображенский собор) (с. 420), – при этом не зная, или не желая знать, что речь идет о первом каменном соборе на всем пространстве не только от Старых Кодак до Новых, а, кажется, на всем Надпорожье-Запорожье (что нисколько не может служить апологией и волюнтаризму в принятии решений, и административному произволу, и неразберихе, и казнокрадству, и прочим сопутствующим факторам прошлого и настоящего).

И «колется»: «Вони (козаки) не обживали пагорб, бо на відміну від розвинутіших росіян, дали собі раду в його безводності» (с. 421) – кавков стиль, какая едкая ирония: «розвинутіші росіяни», – запишем ее Вам в «дебет», а в графу «кредит» занесем: «Товарищ не понимает,

или же не хочет понимать, что контрапункт этой истории и заключается в том, что модерная городская цивилизация лезет на безводные холмы строить города и тогда там, пусть и не так скоро как хотелось бы современникам, появляется вода, а люди другого – традиционного общества – **они селятся рядом с водой, терпя при этом от постоянных паводков, но не обживая безводный холм**.

А когда вы «рубите и стреляете» по «малороссийству» и «хуторянству» (с. 421), то это уже квалифицируется как «суицидальные» признаки, которые в научном дискурсе допустимы (с определенными оговорками), а вот в политико-идеологическом как элементы ренегатства, или же, что еще хуже, – дезертирства.

Но Вы еще и продолжаете «шуметь»: «подальший розвиток Катеринослава, Надпоріжжя подається без жодного зв’язку з українською історією...» (с. 422.). «Осторожно, Наташа, ножку наколешь...», – оказывается это все не имеет отношения к истории Украины?.. Кланяются Вам сторонники столь ненавистного российского имперского взгляда на ход истории... А, вот, и рядышком, – «пыль в глаза читателю»: «немає навіть натяку на зв’язки з містом Тараса Шевченка, особливо ж Івана Котляревського, який навчався в Катеринославі» (с. 422). Уверен, мучились же авторы от нехватки яркого материала, который помог бы связать историю города конца XVIII – первой половины XIX века с фактами процесса формирования модерной национальной украинской культуры и литературы, в частности. Уверен, потому что и сами – **ориентированы, и голоса бдительной «общественной цензуры»** еще в период обсуждения и написания «*Слышали*». И несмотря на это прошли мимо... и еще кого? Шевченко и Котляревского... Вот уж действительно: где это видано, чтобы историки города не воспользовались возможностью о классиках литературы упомянуть? Только «украиножерством» заказчиков и исполнителей объяснить можно. Подумать только автор бессмертной «*Енеїди*» в Екатеринославе учился, а тут – молчок.

Но... «пыль» рассеивается и обнаруживается, что, к сожалению, не посещал Тарас Шевченко ни в одной из своих поездок по Украине Екатеринослава и связи с Екатеринославом не прослеживаются. А с Иваном Петровичем совсем уж недоразумение у Виктора Анатольевича: отправил последний первого на учебу в Екатеринослав. Я спокоен за Вас, не обожжетесь Вы и на «горячем молоке», поэтому не буду предварительно «дуть», а прямо: Екатеринослав в биогра-

фии И.П. Котляревского, если вы, конечно, имеете в виду Того Самого, – дезинформация, единственным рациональным объяснением которой может быть только одно, что в 1777 году в Полтаве была открыта Екатеринославская духовная семинария, и переведена в Екатеринослав только в 1803 г. (о чём, Вы, кстати, могли бы прочитать в очерке М. Кавуна, хотя это общеизвестный факт в истории учебных заведений нашего города).

Педантичности ради и историографической точности для замечу, что относительно Т.Г. Шевченко Вы могли быть дезинформированы нашей краеведческой литературой, например, М. Шатровым в «Городе на трех холмах», но не взыщите, – натяжка это у него, о чём он сам впрочем умело намекнул.

Так что «плохой мальчик», все таки оказался не настолько «плох», чтобы «утешить» Вас не существовавшими фактами, хотя, по Вашему признанию, попытался утешить тем, что «усе таки кинув до тексту розділу свідчення нарративів про справжній (жалюгідний) внесок російських чинників у розбудову Катеринослава на зламі XVIII – XIX ст.» (с. 422). Правда, назвали Вы это «слабкою втіхою». Некоторые современные ученые-историки, пережив очередную победу политической идеологии над массовым историческим сознанием со свойственной, особенно нашей корпорации, способностью признавать, что «все действительное – разумно», заговорили о том, что для масс нужно писать утешительную историю, которая бы «делала им красиво». Я от Вашего имени попрошу Максима Кавуна написать эксклюзивно для Вас очерк об этом периоде таким образом, чтобы он Вас утешил. Кстати, может быть даже объявлена на него подписка и Вы из «эксклюзивного читателя» станете «эксклюзивным дистрибутером».

Но, кажется, глава авторского коллектива А.Г. Болебрух при распределении авторов стремился не допустить «безутешности» и вслед за «плохим мальчиком» избрал для написания четвертого очерка – «Столиця Придніпров'я (1881 – 1916 рр.)» совсем «неплохую», на Ваш вкус, «девочку». Относительно последней должен признаться наши оценки совпадают. Правда, мне она известна как В. Лазебник, а не «I» (с. 422). Но и хвалите Вы ее как-то по-своему. Думаю, что она даже не подозревала, характеризуя этнический состав населения Екатеринослава, что касается «дражливого питання» (с. 422). Более того, уверен, что, если бы она догадывалась о «дражливості», то от-

казалась бы от его раскрытия. Она как нормально воспитанный историк, пишущий раздел книги по истории города, стремилась по возможности подать читателю разнообразный конкретный материал.

Как историк-профессионал Вы могли бы отметить и то обстоятельство, что уровень информационной обеспеченности этого периода несравненно выше, чем предшествующих, и что автору было из чего выбирать, и главная ее удача проявилась в умелой селекции и способности поставить единичные факты на «выпуклые» места. Но это авторское право рецензента, на что обращать внимание и Вы им пользуетесь сполна, не покидая и здесь своей главной точки – «цензора от украинского». Именно в этом месте вы вспомнили о Д.И. Яворницком. Не знаю о каком читателе Вы печетесь, но эта книга, еще раз подчеркиваю, посвящена истории города, в которой есть «зачитанные страницы», а есть еще и малоизвестные или совсем неизвестные. И при всей значимости фигуры Д.И. Яворницкого для истории нашего города, он все же всего лишь одна из «страниц» этой истории, причем сравнительно полно присутствующая в историческом сознании интересующихся читателей. И опять Вы здесь ставите сверхзадачу вопреки фактической стороне биографии Д.И. Яворницкого. Вынужден напомнить Вам, что основные научно-исторические труды Яворницкого созданы им в доекатеринославский период его жизни. И поэтому все Ваши сетования по поводу недостаточности присутствия на страницах очерка Д.И. Яворницкого, Антона Синявского, Якова Новицкого (кстати, не жившего фактически в Екатеринославе), Адриана Кащенко, с последующей патетикой, есть только лишь формальное следование «жесткому формуляру», разработанному Вами (надеюсь, только для этой рецензии).

Виктор Анатольевич! Если в результате прочтения раздела, написанного В.И. Лазебник, современный читатель в Днепропетровске сориентируется на «вияв російського політичного патріотизму» (с. 423), то тогда есть действительно единственный выход – запретить писать историю таких городов. В противном случае, если написать ее по рецептам, предлагаемым Вами, то это вызовет еще худшие последствия – идиосинкразию.

Но, кажется, я излишне увлекся, а впереди еще семь страниц Вашей рецензии, посвященных самым тяжелым во всех отношениях периодам истории.

Содержание истории 20-го столетия, в том числе и истории нашего города, принципиально отличается от предшествующих периодов. Перед исследователями стоят во многом иные проблемы и концептуального, и источниковедческого, и методологического, и конкретно-исторического характера. Здесь дистанционная близость, определяющая и этико-психологические особенности научно-исторического творчества. Однако для Вас все едино. Вы одним и тем же грубым мерилом подходите ко всем периодам. Поэтому и получается у Вас, что критериям научности соответствует только то, что сформировалось в дискурсе националистической историографии, все остальное третируется. Причем в первом случае Вас не интересует и не волнует, какими научными средствами пользуются авторы, приводя те или иные суждения, насколько они действительно источниково-фактографически подтверждены на материалах истории города. Вы готовы принять их за правильные, если они вписываются в признаваемую Вами идеологему. Такой подход позволяет Вам, например, из очень скромного материала пятой главы (очерка) понять причины неудач «одних» в регионе и побед «других». Извините меня, но если бы Вы могли увидеть, насколько Вы смешны в этих своих «приговорах», позволяющих Вам видеть другие «инварианты» социально-политической истории города (с. 423), что еще раз подтверждает уровень «научности», с которой Вы подошли к анализу рецензируемой книги. Не знаю, были ли на В.Я. Яценко «більшовицько-російські окуляри», но оптические средства, которыми пользуетесь Вы, неизбежно приводят (если еще не привели) к «циклизации» зрения. И меня, поэтому уже не может удивить, что слабый именно в научном отношении седьмой раздел – «В часи воєнного лихоліття (1941 – 1945)» в целом удовлетворяет Вашему вкусу. Не удивляет, потому что угодить не трудно, – достаточно только лишь включить сюжеты про ОУН и «научная честь» авторов будет спасена в Ваших глазах, несмотря на то, что они «неосторожно» позволяют себе словоупотребление «Отечественная война». В этом месте Вы провели с ними «политучебу», объяснив в каком смысле дозволено может быть в пределах Украины говорить об «Отечественной войне», не преминув подчеркнуть, что 1941 – 1945 – это Отечественная война только для россиян. Вам и здесь все ясно. У Вас и здесь нет проблем ни методологического, ни этического характера...

«Развиться» же по поводу последних двух разделов совсем не- сложно. Но Вы по-прежнему преимущественно отдаете предпочтение идеологическим ориентирам собственно научным. А так как я уже сам утомился от однообразия «диагноза», вынесенного Вам, и, к сожалению, не нахожу никаких дополнительных данных к его уточнению или изменению, то буду подводить некоторые итоги своему не в меру раздувшемуся письму.

Я испытываю сейчас чувство неприязни к самому себе, что вместо одной странички, подобающей письму-реакции, оказался излишне многословен. А на этой страничке я должен был написать, что Вы, Виктор Анатольевич, диагностируя одним «СНІД», демонстрируете не только собственную «инфицированность», но и, что еще хуже, распространяете через одно из самых призванных быть рафинированным, с научной точки зрения, изданием, СПИД (синдром профессионального иммунодефицита). Я вижу его симптомы в том, что Вы не способны дифференцировать идеологические убеждения, легко превращающиеся в предубеждения, и идеалы научности. И это было бы полбеды, если бы «первое» не выдавалось за «второе». Задумываясь над причинами этого синкретизма в Вас, я прихожу к выводу, что здесь перед нами господство «иррационального» над «рациональным». Какое же знаковое имя соответствует этому «черту», возобладавшему над Вами? Не нахожу более подходящего, чем шовинизм.

Современный шовинизм на Украине под флагом «украинского патриотизма» имеет точную конкретную направленность – «Россия», «русское» и т.д. Если ранее у него были этнические модификации в рамках триады: «лях» – «жид» – «москаль», то теперь первые два ее элемента становятся неудобными для «европейски» ориентированного шовиниста, тем более подвзывающегося в науке. Он (шовинист), конечно, не без труда переносит такие ограничения, но все же шовинисты в науке почти все, в той или иной степени, «дети капитана гранта, Джорджа Сороса птенцы», и, хотя бы из этих соображений, должны быть сдержаны. Поэтому в качестве компенсаторном – **полная сосредоточенность на оставшемся элементе.**

Все это меня нисколько не смущает, хотя относительно Вас (по соображениям, высказанным в самом начале) огорчает.

Но на что считаю необходимым обратить Ваше внимание, что Вы не только манипулируете понятием «наука», но зря пытаетесь использовать лексику и патетику модерного украинского

национализма. Вами наглядно продемонстрирована близость к другим идейно-психологическим основаниям – «поселковому шовинизму». И Вам как искреннему украинскому патриоту необходимо осознать, что «малороссийство», «хуторянство» – это химеры прошлого. А главная угроза Украине в том, что в ней господствует не «село» и не «город», а «поселок». Границы этого «поселка» проходят внутри каждого из нас (разница только в том, что у одних они проходят по его «внешнему периметру», у других – создают «внутричересполосицу»). Агрессивная форма его проявления, когда она вступает в сочетание с различными националистическими идеологиями, приводит к шовинизму уже не как чувству, а системе взглядов. Когда же она вступает еще и в сочетание с профессиональными занятиями историей, то наша профессия получает повреждения на иммунном уровне. Поэтому, оставаясь при своем «диагнозе» относительно Вас сегодняшнего, сохраняю надежду, что «синдром профессионального иммунного дефицита» не приобрел еще у Вас характер «постоянного».

*Ваш Е.А. Чернов.  
Февраль 2003 г.*

## РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ\*

Предлагаемые размышления уместнее было бы подвергнуть испытанию публикаций в конце 80 – начале 90-х годов ушедшего (а может быть еще нет) столетия. Во-первых, – потому что именно с этого времени в историографическое советско-постсоветское пространство стали не просто проникать, а экспрессивно вторгаться термины западной исторической науки с дисциплинарным шлейфом, тянувшимся за ними, среди которых «региональная история», особая область со своим дисциплинарным статусом, была сравнительно легко воспринята нами, «аборигенами» названного пространства. Во-вторых, основной круг идей и положений, которые я рисую

---

\* Напечатано: **Харківський історіографічний збірник** / За ред. С.І Постохова. – Х., 2006. – Вип. 8. – С. 38 – 48.

представить на публичное обозрение в данный момент, сложился именно тогда, в конкретике той, уже в значительной степени изменившейся историографической ситуации. Однако если отбросить в качестве причины личностные характеристики (писательская неповоротливость), то с вершины десятилетия основной причиной, тормозившей процесс писания-публикации, представляется сомнения автора в степени новизны, опасения, что недостаточное знакомство с западной историографией мешает обнаружить, что твоя мысль движется по уже хорошо протоптанной колее\*.

Между тем, за прошедшие годы западная научно-историческая мысль раскрылась для нас в еще больших объемах, резко расширился круг историков, специализирующихся на трансляции и адаптации идей мировой гуманитаристики посредством русского и украинского языков в отечественную культуру и науку, что привело к очевидным сдвигам, в том числе и в украинской историографии, проявивших себя главным образом на вербально-терминалогическом уровне. Результатом таких подвижек стало утверждение термина «региональная история» как широкоупотребляемого и дисциплинарно утверждающегося настолько, что сама дисциплина стала предметом специальных теоретических, историографических осмыслений, в том числе и в таких значимых жанрах как диссертации и монографии. Несомненно, особую роль в этом отношении сыграли исследования киевского историка Ярославы Владимировны Верменич<sup>1</sup>.

---

\* Ради фактографической точности считаю уместным отметить, что сказанное не означает отсутствие всяких попыток с моей стороны подвергать публичному суду складывающийся образ региональной истории. Он выдвигался в качестве предмета обсуждения для коллег по историческому факультету Днепропетровского национального университета, а также перед студентами нескольких выпусков в рамках спецкурса региональной истории. Более того, в 1994 году мне удалось убедить организаторов международной конференции, посвященной юбилею академика Д.И. Яворницкого, проведенной в 1995 году, дать ей провокационное название «Регіональне і загальне в історії» с надеждой направить работу ее участников в сторону обсуждение темы, вынесенной в заглавие. Надежды не оправдались, за исключением двух-трех тезисов выступлений, конференция осталась в целом глуха к восприятию темы как поставленной проблемы (см.: Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з'їзду (Листопад 1995 р.). – Д., 1995. – 328 с.).

Не знаю, как уж к этому относиться, радоваться или огорчаться, но, сохранив определенную долю опасения о своей неосведомленности, в настоящий момент все-таки вынужден констатировать, что региональная история как особая историческая дисциплина не нашла, на мой взгляд, достаточного онтологического и эпистемологического раскрытия. Само собой разумеется, что слово «достаточного» требует комментария. Достаточного для того, чтобы название дисциплины выполняло не только «дисциплинирующую» функцию, но и эвристическую в мышлении современного историка, а для этого, недостаточны регистрирующие историографические подходы к самому явлению, а необходима попытка выведения его «алгебраическими» средствами из хода (логики) процесса исторического познания. Для этого необходимо дистанцировать «региональную историю» от «исторической регионалистики» и «исторического краеведения». В противном случае, то, что должно было выполнять функцию «шила» для очерчивания дисциплинарно-предметных границ, приобретает свойства очень важного предмета в обиходе, который связан с «шилом» известным выражением о неудачном обмене, но выполняющим в данном случае неуместную функцию размытия предметных границ.

Но, кажется, наступил момент, когда от вступительного слова с элементами декларации о намерениях необходимо перейти к раскрытию основной темы.

В современной гуманитаристике уже могут восприниматься как трюизм сетования по поводу все увеличивающейся дистанции между теоретическими размышлениями и прикладными исследованиями в определенных дисциплинарных рамках. Но, чем более слышны голоса сетующих, тем более заметными становятся увеличивающиеся разрывы. В принципе, подобный конфликт между «теоретиками» и «практиками» характерен для любой области науки (да и не только)... И в связи с этой повсеместностью можно было бы не обращать внимания на сам конфликт, если бы он имел только лишь личностно-психологические основания\*. Однако, в этом

---

\* Кому из поживших историков не приходилось слышать или употреблять выражения на манер: «не любит работать в архивах, поэтому ударился в теоретизирование», или же пренебрежительное – «эмпиризм», «позитивизм» и т.п.

конфликте раскрывается тот факт, что историк-теоретик так никогда еще и не был конституирован в научно-историческом познании. Парадоксально, что при всем частом употреблении модификаций от слова «теория» в современном языке исторической науки, в том числе и в таких сочетаниях как «теория исторического познания», «теория исторического процесса», «теоретическое источниковедение», «теория историографии» и других, в среде историков не закрепилось мнение о «теоретическом» как самодостаточной области исторического познания. Физик-экспериментатор может скептически относиться к претензиям теоретической физики, однако без эйнштейнов и боров недостаточно были бы звучны имена резерфордов и капиц (пусть простят гении за нарицательное употребление их бессмертных имен). Будучи крайне далеким от идеологии идентичности гуманитарных и естественных наук, я позволил себе обратиться к опыту физики как науки только для того, чтобы подчеркнуть одну, на мой взгляд, достаточно очевидную мысль: специфика природы исторического познания в той степени в какой она обладает потенциалом научности более соответствует теоретическим уровням и формам познания, нежели эмпирическим. Но менее всего я настроен педалировать здесь данный тезис и представляю его только для того, чтобы подчеркнуть возможность-необходимость признания теории как способа познания познаваемых объектов научно-историческими дисциплинами. Может сложиться впечатление, что в очередной раз днепропетровские историки, погрязшие в провинциальном болоте<sup>2</sup>, ломятся в открытые двери со своими доморощенными претензиями на оригинальность. Однако, не оспаривая гидографическую характеристику среды своего обитания (в том числе и по причинам следования рекомендации классика), все же позволю еще раз подчеркнуть, что речь идет не о роли «теоретического компонента» в структуре познавательных актов, а об отдельной сфере (области) исторического познания, тем более в условиях, когда на почве украинской исторической науки сторонники парадигмы конструирования исторического знания произросли таким пышным цветом, что кажется могли бы уже быть зарегистрированы как вполне рейтинговая партия на выборах если не в Верховный, то, по крайней мере, в отдельные местные советы.

Региональная история как особая дисциплина и одновременно подход в системе современного исторического познания, прежде

всего требует историографического обоснования, но не столько фиксацией историографических фактов, сколько выведением её из логики историографического процесса (то есть путем, который мы выше определили как алгебраический). Для этого примем за данность характеристику историографической ситуации конца XIX – начала XX ст., которая определяема всем научным сообществом как кризис научно-исторического познания. Оставляем в стороне оценочные и предикативные определения, которые характерны для дискурсивных практик вокруг изучения проблемы кризиса. На мой взгляд, с точки зрения общеэпистемологической ядром кризисной ситуации явилось выявление конфликта между анализом и синтезом в процессе научно-исторического познания. С этой точки зрения все новации исторической науки XX ст. были во многом детерминированы попытками поиска адекватных путей преодоления этого конфликта. Именно этим и объясняется доминирование макроисторических подходов, преобладающих в исторической науке первой половины XX в., – открытость историков, испытывающих потребность в синтезе, тем философским, социологическим теориям и методологическим концептам, которые, казалось, дают в распоряжение исследователя синтетическое видение и методологический инструментарий, позволяющий разместить и интерпретировать конкретно-исторический материал. Подобные подходы были и остаются в достаточной мере продуктивными до тех пор, пока исследовательская мысль обретается в идеалах логики объяснения единичного через целое. Но **Вредный Историк**, работающий всегда во фрагменте и даже во фрагменте фрагмента, сталкивался и сталкивается постоянно с хорошо известным для любого аналитика феноменом коррозионного, разрушительного воздействия конкретики отдельно взятого по отношению к принятым закономерностям, объяснительным схемам, теориям и т.п. Конечно, всегда можно прибегнуть к спасительным сентенциям типа: «исключение, подтверждающее правило», «погрешность, которой можно пренебречь» и другим. Однако вкус воспитанного историком историка с трудом выдерживает пребывание в подобной ситуации. И не только потому, что не склонен квалифицировать отдельные с трудом добытые им факты как «погрешности», но и в связи с присущим ему устойчивым недоверием к «метафизике». Поэтому идеалы научного

синтеза средствами макроисторического познания оказались недостижимыми и кризис приобрел перманентный характер.

В поисках на путях синтеза в исторической науке формируется новый эпистемологический идеал, истоки которого в самом огрубленном виде могут быть представлены следующим образом: то, чего не удается достигнуть на макроуровнях, – на уровне отношения между собой «веществ истории», – можно попытаться достичь через всеобъемлющее (тотальное) изучение самого «вещества», а изучение «вещества» выводит на уровень «молекулярного» анализа. Отсюда и тот поворот, который запоздало будет зафиксирован как микроистория.

Предшествующие рассуждения, в принципе, можно было бы отбросить, и нужны они были только для того, чтобы показать связь и оправданность региональной истории как вытекающей из самого историографического процесса XX в. И, вместе с тем, позволю себе заметить, что в структурах исторического познания регионально-исторический подход был зачат, вынашиваемому плоду было дано имя, намечена программа его воспитания после рождения, но, кажется, не прибегая к abortивным средствам, все же удалось избежать появления его на свет. Вместо этого, произошла трансплантация имени, в уже сложившиеся и действовавшие ранее научно-исследовательские практики. И отсюда под именем «региональная история» реально функционирует «история регионов» с синонимическим использованием **перестановки** ключевых слов. Как результат – исчезновение вышеупомянутого дисциплинарного «шила».

Острие предлагаемого подхода, на мой взгляд, лучше всего представить в форме утверждаемого через «не» тезиса: «Регион» в региональной истории есть не данность, а искомое. Поэтому, изначально при таком подходе предметно-дисциплинарное поле не может рассматриваться как «история регионов» («история региона»)\*.

---

\* В связи с приведенным утверждением, считаю необходимым отметить как неприемлемое попытки конституировать под именем «региональная история» нечто, что дополняет традиционное историческое краеведение (см.: *Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні...*). Речь идет о разнонаправленных дисциплинарных пространствах. Сглаживание противоречий в данном случае и есть иллюстрация на тему «шила» и «мыла».

Построение теоретического каркаса «региональной истории», одновременно призванного выполнять функцию исследовательской программы, требует общеэпистемологического обоснования. Частично оно уже было дано выше, в связи с рассуждениями о сущности кризиса научно-исторического познания. Однако и без некоторых других теоретических посылок предлагаемый образ «региональной истории» как подхода и дисциплины не мог бы сформироваться. Одной из таких посылок, играющих постулатную роль, является убежденность в том, что «единичное» богаче «целого»\*. И хотя сама мысль кажется в достаточной степени прозрачной и с точки зрения классической логики даже банальной, все же дополню её краткими комментариями. «Единичное» может выполнять понятийные функции, только если речь идет о такой части «целого», которая одновременно выступает носителем признаков двух уровней: фиксируемых в целом и исчезающих в нем. Очевидно, что в диалектике «единичного» и «целого» само «единичное» может быть мыслимо как «целое», а «целое» как «единичное», что на конкретно-исследовательском уровне каждый раз будет требовать подтверждения обозначенных статусов. История как процесс, являясь определяемым объектом научно-исторического познания, может быть мыслима как его идеальное «целое». И сколько бы не велись дискуссии по поводу предмета и содержания этой познавательной области, незыблемыми остаются представления, что «историческое» проявляется себя в пространственно-временной развертке, причем «пространственное» употребляется не в метафорическом, а в геометро-графическом смысле. Следовательно, в пространственном отношении место разворачивания Истории и есть «целое». Но в синтетическом виде средствами исторического познания нельзя преодолеть его («целое») как «вещь в себе».

Продолжение рассуждения на эту тему будет затруднительным без актуализации еще одного эпистемологического постулата. Напомню, что сутью процесса познания есть фактический поиск наиболее адекватного Слова, качественно маркирующего познаваемые

---

\* В принципе, можно было бы закавычить все выражение, так как в такой формулировке оно было высказано покойным профессором Л.Е. Кертманом в дискуссии на всесоюзной историографической конференции, проходившей в Днепропетровске в 1984 году.

объекты, явления, процессы. С этой точки зрения вращения на кругах исторического познания это не столько открытие *terra incognita*, сколько уточнение Имени. Вместе с тем, для того, чтобы «процесс пошел», в ходе познания используются условные поименования, которые могут рассматриваться познающим как «подлинные имена», но даже в этом случае профессиональная этика и научная методология (правила игры) требуют от ученого (даже игрока) подойти к ним не как к знанию, а как к гипотезам. Так, например, такие «имена» как «всемирная история», «история США», «история Монако», «история имперской ментальности», «украинского историографического процесса» и т.д. с научно-исследовательской точки зрения могут рассматриваться только лишь как претенденты на подлинное «слово-имя». Они требуют качественного наполнения, требуют аналитической проверки\*.

Возвращаясь к региональной истории, отмечу, что слово «регион» в рамках представляемых рассуждений уже содержит в себе изначально концептуально-гипотетический смысл. В него закладывается предположение, что в историческом процессе «региональное» возможно (что, кстати, на теоретическом уровне может быть поставлено и под сомнение). «Регион» – это территория, искомое, единичное – носитель признаков «целого» (общего), частью которого он является и, вместе с тем, – признаков особенного. Первоначальное структурирование на «целое» и «единичное» может рассматриваться как исследовательская гипотеза, опирающаяся на представления-образы, сложившиеся в результате восприятия определенной историографической традиции и теоретических

---

\* Признаюсь откровенно, я испытываю смущение от того, что позволил себе впасть в кажущийся излишним дидактизм. Возможно, с этим никто и не спорит и воспринимает как очевидность, однако в реальной историографической практике даже в работах, посвященных теоретико-методологическим аспектам исторического познания, эта очевидность себя не проявляет. Более того, у некоторых даже вызывает очевидное неприятие. Еще памятна для нас, днепропетровцев, полемика вокруг диссертационного исследования О.И. Журбы, пытавшегося подвергнуть проверке возможности презентации того, что называют украинским историографическим процессом и его составляющую украинскую археографию второй половины XVIII – первой половины XIX вв. как процесса становящегося, а не ставшего (см.: Журба О.И. Становлення української археографії: люди, ідеї, інституції. – Д., 2003. – 316 с.).

положений, направляющих и координирующих исследовательскую мысль.

Еще одно «очевидное» связано с утверждением, что на теоретическом уровне к историческому процессу следует подходить не просто как к многофакторному, а равновеснофакторному. При этом его изучение и презентация возможны под углом зрения как идеально-предполагаемой всей совокупности факторов, так и отдельных групп, или одного из них. Применительно к «региональной истории» это означает, что «факторный анализ» может привести как к совпадению результата относительно «региона» в рамках одного и того же пространства-времени, так и к несовпадению. Справедливым, в этих условиях, будет предположение, что, чем больше совокупность факторных признаков региональности, тем большей версией региона обладает изучаемая территория. Вместе с тем, утверждение о равновесности факторов представляется справедливым для исторического времени в целом, без его конкретной локализации. В реальной же практике время, изучаемое историком, как известно, локализовано и для каждого временного фрагмента может быть выстроена, во-первых, теоретическая совокупность факторов, присущих этому времени, во-вторых, сформулирована гипотеза об иерархии факторов. А, следовательно, в искомых «региональных отрезках» иерархия факторов может влиять на регионально-историческую экспертизу.

При всем возможном разнообразии факторов, представление о котором может изменяться в связи с расширением дискурсивных практик в современной исторической науке, думаю, не вызовет возражений, если все они типологически будут представлены в двух основных группах: природно-географические и культурно-антропологические, которые, несомненно, находятся в диалектической взаимосвязи (как внутритиповой так и межтипов). Напоминание о такой типологии кажется уместным, так как позволяет представить возможность первоначальной регионализации исследуемого целого, базирующеся на природно-географическом анализе, результатом которого должно быть выделение региональных признаков еще внеисторической среды\*. Полученные результаты позволяют

---

\* Сознательно употребляю «вне», а не «до», так как это не фиксация «реальности», а методологическая позиция исследователя.

оценить регионально-историческую перспективность территории (территорий), создать гипотетическую модель возможного развития истории в этой среде и пространственного структурирования её в диалектике единичного-целого под уже историческим углом зрения.

Иллюстрацией потенций конкретного применения подобного подхода может служить проведенное осмысление природно-географической среды территории, ставшей ядром процесса урбанизации, развернувшегося на месте современного Днепропетровска. При этом основное внимание уделялось поиску наиболее устойчивых и наиболее весомых региональных признаков. Попутно замечу, что термин «устойчивость» в регионально-историческом анализе (в региональной истории) является одним из существенных, тесно связанных с понятием «длительность», но, вместе с тем, не тождественных ему («длительность» – условие «устойчивости»). По отдельным природно-географическим факторам географическое положение этой территории в днепровской речной системе, бесспорно, является наиболее весомым признаком её региональности, причем, по некоторым параметрам: по отношению к Великим порогам Днепра (Надпорожье-Запорожье\*), по притокам (место впадения Самары в Днепр), по изменению направления течения Днепра (большая излучина – резкий поворот в юго-западном направлении). На всем пространстве великой реки нет ни одного места, имеющего столь ярко выраженную совокупность перечисленных параметров. Какой же региональный признак формирует указанная совокупность? С моей точки зрения, ему соответствует расхожее, для оценки основной базовой территории Украины, имя – «Пограничность». Другие природно-географические факторы являются или же следствием отмеченного, или же не несут ярко выраженных черт региональности, хотя широко используются в символической презентации среды и истории города\*\*. Если эту территорию рассматривать как часть целого (Днепра, Украины, Восточной Европы и т.п.), то, через выделенный признак, мы видим проявление единичного, в котором одна из качественных

---

\* Опять воспользуюсь случаем обратить внимание на существование двух «Запорожий» в истории, определяемых направлением цивилизационных потоков.

\*\* К ним относятся рельефно-ландшафтные природно-зонные характеристики, на манер «город на трех холмах», «столица степного края» и др.

версий целого не ослабляется, а даже усиливается. То есть, версия «пограничности» приобретает в данном пространстве усиливающееся выражение, которое может быть сформулировано как «пограничье в пограничье». Соответственно, в историософских концепциях (да и не только), в которых история Украины детерминируется её географическим положением («пограничьем»), «днепропетровское пространство» представляется одним из наиболее «украинских». Подобного рода теоретические рассуждения, на мой взгляд, содержат в себе труднопереоцененный эвристический потенциал. Так, экстраполяция результатов природно-географического анализа на возможный ход истории в этой среде, приводит к выведению возможности-необходимости урбанизационных процессов именно в этом месте фактически «алгебраическим» путем. Но, сопоставление этого «алгебраического» вывода с известными конкретно-историческими данными (отсутствие на протяжении тысячелетий элементов «городского») приводит к необходимости постановки исследовательского вопроса, формирующегося на стыке разнотиповых данных. Попытка интерпретации конкретно-исторического материала на теоретическом уровне, кажется, приводит к вполне позитивному результату, который не достижим в настоящий момент другими средствами.

Кратко этот результат может быть представлен в следующем виде: несмотря на урбанистический потенциал, раскрываемый через природно-географическое положение данной территории, длительный период истории он не был реализован под влиянием того же признака, по которому его и детерминируем – в связи с усиленной версией пограничности, не дававшей в условиях первоначального взаимодействия природно-географических и культурно-антропологических факторов сформироваться на этом пространстве ничему исторически устойчивому. Именно эта характеристика и может рассматриваться как конкретный регионально-исторический признак этой территории вплоть до начала второй половины второго тысячелетия нашей эры. Но тогда возникает вопрос: является ли территория Надпорожья-Запорожья регионом в этом хронологическом отрезке? И если да, то регионом чего она является? Само собой разумеется, что исследователь локальных временных отрезков древности и средневековья сумеет предложить свои ответы на поставленные вопросы. Но это общее «торжество» географии над

историей в течение столь длительного времени, заслуживает попыток более универсальных объяснений. Если бы шла речь о территории, пространственно удаленной от мощных импульсов цивилизационных процессов древности и средневековья, то тогда не возникал бы и вопрос, а вышеприведенное рассуждение о торжестве «географии» над «историей» не имело бы смысла. Однако, выбранная мною в качестве примера территории, с очевидностью не отвечает пространственным характеристикам цивилизационной отдаленности. Между тем, насколько мне известно, даже при самых дробных периодизациях исторического процесса, эту территорию нельзя обозначить каким-нибудь из принятых культурно-цивилизационных имен. Объяснение этому нужно искать в «целом». А именно, в направлении основных цивилизационных потоков, их экспансионистских мотивациях и возможностях...

Обрыв предшествующего абзаца вызван авторской невозможностью в ларидарных формах продолжить экспансию на читателя-слушателя. А эта «экспансия» требует гораздо более обширного публикационного пространства и иных временных рамок для доклада. Поэтому считаю необходимым ограничиться лишь некоторыми дополнительными рассуждениями околопонятийного характера.

Смысл региональной истории как особого подхода и дисциплины – более глубокое понимание (постижение) целого через его единичные проявления. А, следовательно, еще раз подчеркиваю, это – не история регионов, а выявление их. И на путях поиска и обнаружения «регионального» одним из важнейших методов, позволяющих надеяться на приближение к желанному синтезу, является использование типологизации посредством компаративистских подходов, а результаты могут быть наиболее удобно и продуктивно представлены методом картографической визуализации. И в этой связи есть основание прогнозировать, что «исторический регион», как часть более общего, может не только дифференцировать локальное целостное именное геоисторическое пространство, но и разрушать его, демонстрируя свою типологическую невписываемость\*.

Вместе с тем, выглядящие одиноко-дискретно и теряющие признаки региона территории, могут найти свое место в других

---

\* Это может привести отдельно взятого историка на скамью подсудимых на процессах о сепаратизме.

пространственно-временных срезах. И в этих случаях к ним будет применим термин «блуждающий регион». Когда же в пределах одних и тех же пространственных границ, вертикальном, временном их исследовании, региональные признаки будут то возникать, то исчезать, то снова возникать, здесь уместно употребление термина «мерцающий регион», или «мерцающая региональность». Так как в диалектике единичного и целого, как уже отмечалось выше, неизбежны понятийные мутации, то одним термином «регион» несомненно не удается ограничиться, и, отсюда, его понятийными спутниками могут выступать уже применяемые производные «субрегион», «макрорегион», с тем лишь необходимым условием, что вся идеология региональной истории распространяется и на терминологические спутники.

Очевидно, что естественным для региональной истории и одним из наиболее адекватных способов репрезентации результатов исследования является картографирование. Однако значение картографической визуализации не только в её репрезентативных возможностях, но и как методе самих исследований, особенно при попытках выйти на уровень синтезирующих обобщений.

\*\*\*

Представленные рассуждения и самим автором воспринимаются как хорошо известное (и даже «не хорошо забытое старое» и поэтому могущее претендовать на новое, а в своих отдельных частях могут рассматриваться как вполне актуально проявляемое повседневное настоящее, бытующее с именем «историческая наука»). Однако, все же у меня, даже после прочтения написанного, сохраняется интенция, что эти рассуждения могут быть положены в основу крупной научно-исследовательской программы, или, чтобы уменьшить уровень претенциозности, – крупного научно-исследовательского проекта. Еще более значимой для меня является постановка вопроса, который оказался на смысловой периферии данного текста, – о возможности теоретической истории. Еще раз подчеркиваю, не роли теоретического компонента и теории исторического процесса или исторического познания в ходе исторических исследований, а теоретической истории, как особой области, дисциплины. Брошенное вскользь замечание, что историческому познанию более естественны теоретические формы, нежели эмпирические, во-первых, не ново,

во-вторых, связано с пониманием роли априорного и апостериорного в реальном процессе познания истории...

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми: Автореф. дис. ... докт. іст. наук. – К., 2005. – 21 с.

<sup>2</sup> Гирич І. Лікарю, вилікуйся сам! // Україна модерна. – Л., 2005. – № 9. – С. 284.

## РЕГІОНАЛЬНА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОСОФИЯ\*

Название предлагаемого рассуждения вызывает у автора серьезные сомнения как стилистического, так еще более, смыслового (содержательного) характера. Стилистически оно звучит (выглядит) аморфно. Особенно раздражает союз «и», берущий на себя всю внешнюю ответственность за восприятие возможной смысловой нагрузки. К тому же, этот союз, который в формальном синтаксисе призван выполнять соединительную функцию, в языковой практике, на уровне смысловом, зачастую служит подчеркиванию противопоставления, несоединимости (например, как диаметрально противоположно сработает в сознании это «и» в формулировках: «Украина и Европа»; «Россия и Европа»).

Иначе говоря, когда вся моя страна в очередной раз вошла в беспредельную «прозрачность» («прозорість»), я прибегаю к сомнительным, двусмысленным формулировкам. Конечно, «прозрачней» было бы заменить «и» на «как». Но, во-первых, слишком жестко. Не готов нести ответственность. Во-вторых, для поколения, к которому принадлежу, при таких постановках трудно избежать ощущения запаха «нафталина», который, справедливости ради замечу, иногда уже кажется вполне приемлемым и даже приятным. Но быть его сознательным создателем и распространителем?..

Однако никакие попытки иронизирования не скроют того факта, что это вызывающее сомнение название на самом деле точно

\* Напечатано: Регіональна історія України. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 59 – 66.

передает состояние автора, идущего по «наощупь» найденному пути, не знающего точно, куда ведет эта «дорога» (и «дорога» ли это?), которому все же (простите за каламбур) сама мысль – дорога.

Таким образом, внутрижанровая характеристика данной публикации определяется тем, что она создавалась не как «текстовое» оформление уже проведенного исследования, а как попытка «текстовыми» средствами (посредством «текстового» конструирования) начать его разворачивание\*. При этом считаю необходимым внести некоторые разъясняющие уточнения.

Основная мысль, приведшая и к формулировке названия, и явившаяся импульсом для «попытки разворачивания», в виде «куколки», уже продолжительное время прилипчиво существует в моем сознании. И поэтому стремление превратиться в «бабочку» (хотя бы однодневку) не связано напрямую с приглашением к сотрудничеству в рамках научно-издательского проекта «Регіональна історія України». Но без этого стимулятора «разворачивание» могло бы или не состояться, или приобрести другие формы\*\*.

Образ «куколки» имеет в данном случае относится не к «региональной истории», а к формулировке заглавия во всей ее полноте. Результаты размышлений о региональной истории уже были представлены в опубликованной форме доклада-статьи<sup>1</sup>.

Для читательского социума «Регіональної історії України» считаю необходимым объяснить, что в упомянутой публикации, по сути, предпринята попытка привнесения в «региональную историю» «новых» представлений «парадигмального» характера\*\*\*.

---

\* Возможно в этом и есть неформальная сущность ессеистских форм презентации мысли.

\*\* Это не попытка взвалить ответственность на «плеймейкера» проекта.

\*\*\* Закавычивание «новых», «парадигмальных» связано с убеждением относительности новизны и метафоричности такого употребления термина «парадигма». С тех пор, как гуманитарии взяли в оборот этот куновский термин, он все больше из понятийного инструмента истории, теории и методологии науки стал вербальной конструкцией для манифестов под флагом науки. На первых порах для привыкших к куновской функциональности термина такое его использование выглядело комическим, несколько нелепым и площадным «пиаром»: «дескать, начинаем (объявляем) микро (а то и макро) революцию в науке». Таким образом, только лишь ограниченность терминологического репертуара не позволяет мне избежать этих сомнительных в данном случае словечек.

Публикации первого выпуска «Регіональної історії України» свидетельствуют, что высказанные мною представления не отвечают образам региональной истории его авторов (в том числе и заслуженно авторитетных). А «харьковская» статья оказалась вне пределов их внимания. Подчеркивая последнее, далек от претензий морального характера. С этической точки зрения для меня все выглядит абсолютно корректным, даже со стороны тех, кто, несомненно, или в изустной, или в печатной форме уже имели возможность хотя бы в общих чертах ознакомиться с этими представлениями. Речь идет не о том, что не упоминается имя, или же нет ссылок, а об отсутствии движения мысли собственной, или же фиксации подобного движения в мыслях других в интересующем меня направлении. А, следовательно, или же я нахожусь в абсолютном заблуждении (что пока не приобрело признаков аргументированного самосознания), или же есть какие-то другие причины, имеющие неперсонифицированное объяснение.

Все дело в том, что острое предложенного мною ракурса в понимании сущности региональной истории состоит в раскрытии таких ее эпистемологических основ, которые могут придать ей черты действительно «новой дисциплины», «нового направления», «нового подхода». Признаюсь откровенно, известные мне опыты теоретического осмысления региональной истории, попытки констатирования или моделирование ее дисциплинарных образов воспринимаю как мало удовлетворительные с точки зрения внутренней логики движения научной исторической мысли. Более того, склонен рассматривать их как «косметические процедуры» и эксплицитные упражнения в общей компании «Наш дом – Европа», или же как утилитарно-прагматические устремления подверстаться под «грантово»-перспективную «регионалистику»\*.

Именно это отсутствие сигналов и позволяет говорить об относительной новизне моих представлений о «региональноисторическом». Их парадигмальная претенциозность, прежде всего, содержится в тезисе: «Регион» в региональной истории есть не данность, а искомое. Поэтому изначально при таком подходе

---

\* Инвективно звучащие данные характеристики совсем не означают отрицания плодотворности исследований, выполняемых в рамках исторической регионалистики, а также значимости отдельных историографических и методологических наблюдений.

предметно-дисциплинарное поле не может рассматриваться как «история регионов» («история региона»)<sup>2</sup>. В историографической практике такой подход не применяется и теоретически не предлагается.

Другой «парадигмальный» элемент носит историко-научный характер. Симптоматично, что «региональная история» в современной историографической ситуации наиболее функционирует в формах терминологических экспликаций, выводимых историографическим путем\*. При этом довольно много внимания уделяется интерпретациям межпонятийных отношений региональной истории и «смежников» («тотальная», «локальная» история, «микроистория» «историческая регионалистика», «регионоведение» и т.п.). Дидактическое значение этих рассуждений не вызывает сомнений, однако в них утрачивается, или же оказывается вне фокуса основная эпистемологическая проблема (на самом деле хорошо известная упомянутым авторам, в других контекстах подчеркиваемая ими) – исторического синтеза. Именно в ориентации на поиск путей к синтезу, по моему убеждению, и следует искать эпистемологическую природу основных «нашумевших» дисциплинарно-методологических новаций второй половины XX ст. К сказанному следует добавить и стремление перейти от регистрационно-констатирующего, систематизирующего стиля научного мышления, характерного для историков классического этапа\*\*, к проблемно-аналитическому. Именно в такой эпистемологической ситуации, пройдя через обаяние философско-социологических синтезирующих понятий при воссоздании макроисторических процессов и разочарование в связи с их «грубостью» и «топорностью» при исследовании конкретно-исторических фрагментов (то есть, при движении от отдельно реконструируемых фактов к обобщенным «картинкам», и от «картинок» к исторической «картине»), историческая наука (тоже спорное обобщение) стала разворачиваться в поисках путей к достижению столь «желанной Индии» – исторического

---

\* Смотри, например, статьи Я. Верменич, С. Маловичко и М. Можнечевой, Т. Поповой, И. Колесник, И. Студенникова и других в первом выпуске «Регіональної історії України» (К., 2007).

\*\* Оставим позитивизм «под паром».

синтеза, – стала искать альтернативные пути\*. В итоге мы имеем основание на сегодняшний день констатировать, что, в отличие от мореплавателей-землепроходцев-географов, историки, при всем их неустанном поиске разнообразных путей, при всей значимости открытых или приоткрытых ими (нами?) «новых земель», так, и не достигли той основной цели, к которой изначально были устремлены. Но в ходе этого движения, осуществляемого не в цеховом одиночестве, а в структурах западно-ориентированной цивилизации, историческое познание оказалось в постмодернной системе ценностей, в которой уже не только не ощущается гнев, но и даже может быть не замечена ироническая горечь в словах: «Для починки сапог автоген не нужен. И в настоящее время достаточно большое количество историков не видит смысла превращать свой труд в кирпичик для большой стены, какой-нибудь метаисторической картины человечества, страны, социального прогресса. Господь с ним с прогрессом. Да и с человечеством тоже»<sup>3</sup>.

Безудержная дисциплинарная дифференциация, сопровождающаяся жесткой социализацией, в результате которой любая дискурсивная практика, осуществляемая в структурах науки, в современном цивилизационном режиме, мгновенно обрастает всеми социо-интеллектуальными чертами особой науки, со своими бюрократическими правилами – перегородками и нормативностью. Поэтому без попыток углубленных историографических рефлексий (в свою очередь, плодящих новые дискурсивные практики) происходит затухание сигналов импульса, вызывавших возможность того или иного дисциплинарного роста. Именно поэтому подвизавшийся сегодня историк с идентичностью микроисторика может считать, что смысл исторического познания – в достижениях разнообразных целей – «чинить сапоги». Такие «микроисторики» и такая «микроистория» могут быть уподоблены колонистам и колониям, утрачивающим или утратившим связь с метрополией. Но даже и при такой идентичности никакая микроистория не даст избавления от неизбежных шатаний по философско-методологическим дебрям:

---

\* В конкретике отечественной историографической ситуации эта метафора теряет значительную часть метафоричности, так как в поисках путей в «Индию» и мы отправились на Запад. В результате – груды понятийно-терминологического «благородного металлома».

индукция ↔ дедукция, анализ ↔ синтез, особенное ↔ общее, единичное ↔ целое; и, в конечном счете, микро ↔ макро<sup>\*</sup>... Рассуждения подобного рода и приводят к выведению историографическими средствами сущности региональной истории не как синонимического термина, имеющего отношение к уже сложившимся дисциплинарным практикам, бытующим в другой терминологической упаковке, и даже не в качестве развивающего дополнения к ним. Такой подход предполагает, что региональная история если не стала, то может стать законорожденным направлением в научно-историческом познании<sup>\*\*</sup>.

Но регионально-исторический подход, для которого познание целого есть методологический ориентир, а сам подход – разновидность синтезирующего метода (эффективного или нет?), в не зависимости от его результивности при работе на основных магистралях научно-исторического познания, на мой взгляд, обладает значительным потенциалом историософской герменевтики.

Попытка придать историософии научно-дисциплинарные рамки, на мой взгляд, является глубоко неисториософским делом, и в этом смысле аморальным. Но мысль историка-гуманитария<sup>\*\*\*</sup> по определению чревата «софийностью», а точнее «софийностями». Это и «историческая политософия», и «историческая социософия», и «историческая культурология»... И в этот ряд вполне вписывается, – «историческая региональная софия». Точно так же могут

---

\* Конечно, отдельно взятые особи избежали и могут избежать их (шатаний), но только при условии абсолютной герметичности. Даже те коллеги из цеха, которые искренно считают эти «шатания» грехом интеллекта историка уже тем самым вкусили от «греховного».

\*\* Подробнее об этом см.: Чернов Е.А. Указ. соч., где очерчиваются эпистемологические контуры регионально-исторического. Оставляю возможность для упражнений в терминологико-понятийных экспликациях относительно употребления мною без различий: «региональная история», «регионально-историческое» – дисциплина, подход, направление, метод.

\*\*\* Кажется, настало время вводить такой классификационный ранжир – не по предмету(ам), а по стилю мышления. В среде историков, и вполне высокопрофессиональной, были, есть и, по крайней мере завтра, еще будут негуманитарии.

рассматриваться теоретико-методологические области научно-исторического познания\*.

Сама предложенная идеология региональной истории уже связана изначально с историософско-герменевтическими подходами\*\*. Предлагаемое в рамках этой идеологии видение исторического процесса фактически потребует для тех, кто ее разделяет и попытается на ее основе строить методологическую модель своих конкретных исследований, неизбежно приведет к необходимости в историософии, как на эвристическом этапе (выбора объекта – хронотопа, отбора факторов изучения – настраивания «оптики», моделирования информационно-аналитической базы), так и на этапе интерпретации полученных данных. Это место, с моей точки зрения, заслуживает более подробного освещения.

То, что мы называем «историческим синтезом», как выше уже было отмечено, остается методологическим идеалом (даже, если он утрачивает свой позитивный образ и перестает быть желанным). Само собой разумеется, что предложенная идеология «региональной истории», может быть воспринята и разделяема теми, кто, даже не веря в существование «Индии» (это не аллюзия на И. Валлерстайна), убежден, что за нее/него («Индию»/синтез) стоит «каждый день идти на бой». Но именно они и должны честно признаться, что арсенал собственно научных средств, при всем его внешнем разнообразии, относительноузкий и ненадежный. И, что фактически синтезирующими средствами, находящимися в распоряжении историка, были и остаются политические и социальные идеологемы, религиозные мифологемы, морально-этические установки, интеллектуально-эстетические ценности, которые, взаимно переплетаясь друг с другом, выполняют роль «забора», «колючей проволоки», «межевого

---

\* Здесь точно, по моему мнению, желательно избегать излишнего опредмечивания. Например, широко известный у нас очерк О. Прицака «Историософия Михаила Грушевского», вызвавший множественные волны персонологических историософий, способствовал созданию ситуации «излишнего опредмечивания» (мортизация витального). Чем может быть в гуманитарно-историческом познании историософия? Отдушиной копален-рудников-шахт, плавилен-кузниц-сборочных конвейеров, в которых добывается материал и изготавляются знания. Отдушина, ведущая к потокам свежего воздуха поиска смысла(ов). И поэтому из «экологических» соображений не следует дисциплинировать, опредмечивать историософию.

\*\* Опять же вынужден отослать интересующихся к собственной статье.

столба» и других объединительно-разъединительных образований. И поэтому не следует бояться историософского как ненаучного. Когда мы с вами «историософствуем» по поводу «украинской», например, пространства современного города Днепропетровска в его общих природно-географических характеристиках как среди истории, приходим к выводу, что это очень украинское место, или, наоборот, полагаем, что Екатеринослав, возникший на этом месте в конце XVIII века, становился, не имеющим аналогов на территории современной Украины, наиболее российским (нерусским) городом, то предлагаемая аргументация в этих случаях может вызвать в чем то и справедливую критику в сомнительности ее научности, однако, – несомненно, более плодотворна в системе научных ценностей, нежели представления об Украине (с заменой на любое другое название исторического пространства) как целостной именной структуре, данной историку в готовом виде как объект изучения.

Принятие такого понимания «региональной истории» в ее многофакторном или же мультифакторном измерениях может позволить рассчитывать на возможности более адекватной регионализации макроисторических пространств, выявление в терминах «региональной истории» иерархических связей между ними (в их множественности региональных ипостасей). А также и более фокусировано задумываться над смыслом (смыслополаганием) «отснятого» в региональных съемках материала, над сущностью и смыслом некоторых понятий (например, «пограничье»), над «связками» и «разрывами» в истории, избегая при этом столь удручающего историков философствования вокруг внеисторического материала, или же произвольно иллюстративно выбранного.

Немаловажным моментом проявления историософского компонента в регионально-историческом дискурсе может быть (является) обретение, а, точнее, возвращение к истокам (а значит к смыслу) таких научно-дисциплинарных феноменов модерного времени как «История» и «География». Справедливости ради замечу, что «региональная история» в предложенной развертке идейно близка «новой географии». В то же время последняя оформилась и наиболее громко заявила о себе во французской научно-педагогической традиции, в которой долгое время специализация в области географии была «дочерней» от истории<sup>4</sup>. Но, если при этом всмотреться с позиций историко-методологических в процесс

филиации истории как модерной науки, то наряду с филологическим идейно-интеллектуальным геномом с очевидностью проявляется и географический\*.

Так вот, историософствуя по поводу среды обитания, и каждый раз возвращаясь к осмыслению влияния природно-географических фактора(ов) не вообще, а в их хронотопической конкретности, нам приоткрывается возможность возвращения «*ad fontes*» нашей науки. И в мыслительном акте уже кажется создается прецедент не «бюрократических» междисциплинарных связей, а желанного преодоления дисциплинарной «файловой»... А на поверхности интеллектуальной почвы появляются «капельки росы», напоминающие нам о том, что животворящая влага синтеза, хоть и по капелькам и только в определенное время суток, может подпитывать иссыхающую под узкой самодостаточной дисциплинарностью (к тому же и густо заселенную на всех участках одновременно и «распаханную», и «перевыпасную») территорию науки.

Пожалуй, только историософскими средствами нам удастся выйти и на понимание связей между нереализованными в ходе истории проектами и судьбами тех пространств, в которые эти проекты закладывались. Выйти на понимание связи между «формой» и «содержанием» в историческом процессе, или, иначе говоря, расширить и вместе с тем фундаментализировать представления о «региональном» в истории.

## ЛІТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Чернов Е.А. Региональная история: опыт теоретической интерпретации // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2006. – Вип. 8 – С. 38 – 48. По всей видимости, в дальнейшем не удастся ограничиться только лишь библиографическими ремарками и, следовательно, к сожалению, не избежать элементов самоэпигонства и даже самоплагиата.

---

\* Интересно было бы проследить в деталях, где и когда из системы профессионально-исторического образования в нашей отечественной традиции была фактически вымыта его географическая составляющая, никаким образом не компенсируемая нам, современным Митрофанушкам, исторической географией. Мистика! Написал эти строки, взглянул на настенный календарь и на его странице увидел фотопортрет Степана Львовича Рудницкого с заголовком: «Фундатор української наукової географії та картографії».

<sup>2</sup> Чернов Е.А. Указ. соч. – С. 42.

<sup>3</sup> Володихин Д.М. Две ветви микроисторической платформы // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – М., 2002. – Вып 8. – С. 447. Не могу не заметить, что из авторской триады пропал один член – «страна». Или автор не хочет, чтобы Господь взял ее под свою опеку, или считает, что историки, даже «микро», еще сами не готовы оставить ее целиком и полностью на Господне попечение, сняв с себя всякую ответственность.

<sup>4</sup> Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. – М., 1988; Баттимер А. Путь в географию. – М., 1990.



## РОЗДІЛ 3

# ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ



# ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АВТОРСЬКИХ СТИЛЕЙ В НARRАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

(К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ)\*

В данной статье предпринимается попытка осмыслить возможность количественных методов (КМ) при атрибуции русскоязычных текстов нарративного характера.

Авторский интерес к подобной теме обусловлен изучением процесса развития русской общественной мысли и исторической науки в первой половине XIX в. Известно, что этот период насыщен огромным количеством работ разного жанра (как опубликованных, так и неопубликованных), авторы которых предпочли сокрыться под различными псевдонимами, криптонимами, астронимами, а зачастую и без всяких сопроводительных знаков. Кроме того, цензорская и редакторская практика того времени заставляет учитывать возможность навязанного «соавторства», наличия в текстах «неавторских слоев». Так, для редакторских манер О.И. Сенковского и Н.И. Надеждина характерно было активное участие в написании «авторских» статей, оказывающее влияние не только на их стиль, но и на содержание.

Эти обстоятельства неизбежно приводят к тому, что исследователи сталкиваются со сложными проблемами атрибуции, являющимися порой предметом длительных дискуссий.

Справедливости ради необходимо отметить, что специалистами-гуманитариями различного профиля накоплен большой опыт атрибуции многих важных работ\*\*. Но подавляющее большинство исследователей использовали в основном методы качественного

---

\* Напечатано: **Проблемы применения количественных методов анализа и классификация источников по отечественной истории: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.П. Ковальского. – Д., 1988. – С. 36 – 48.**

\*\* Достаточно вспомнить титаническую деятельность отечественных текстологов, работающих по установлению авторства А.С. Пушкина, В.Г. Белинского, М.Ю. Лермонтова, П.Я. Чаадаева и других.

анализа, прибегая к количественным характеристикам спорадически, без соблюдения законов математической статистики. Причем характерно, что наибольших успехов в атрибуции удавалось достичнуть при решении задач альтернативного характера типа: Надеждин или Белинский?, Надеждин или Аксаков?, Надеждин или Н. Селивановский? и т.д. А так как обычно речь шла о людях, в достаточной степени известных, то здесь совокупность качественных характеристик, «удобренная» некоторыми неупорядоченными наблюдениями над стилем двух предполагаемых авторов, позволяла с большей или меньшей точностью установить авторство. Ответ в общем виде представлен зачастую так: это – не «х», а значит – «у», с определенной дополнительной аргументацией в пользу «у».

С точки зрения строгой науки даже в указанном варианте, как бы ни был, в конечном счете, прав исследователь, проложенные им «коммуникации» могут не «дойти» до читателя, а значит, оставить вопрос открытым.

Но далеко не всегда история представляет возможность формулировать задачи хотя бы с альтернативной точностью.

И в этом случае в плане атрибуции возникает необходимость поиска более надежных, более тонких, и в тоже время более универсальных инструментов, позволяющих безошибочно установить авторство. Несомненно, что каждый исследователь, сталкивающийся с проблемой подобного рода, видит идеал в наличии своего рода шаблона – алгоритма стиля интересующего его автора. Отсюда и возникает потребность у гуманитариев различных специальностей обратиться к методам количественного анализа, «проверить алгеброю гармонию»<sup>1</sup>.

В то же время и математики проявляют интерес к проблемам, связанным с изучением количественных характеристик языка и стиля, в том числе и к задачам по построению атрибутивных схем\*. Все эти факторы способствовали тому, что к настоящему времени накопился уже значительный опыт в применении методов количественного анализа (в том числе и с использованием ЭВМ) в исследовании авторских стилей.

---

\* У истоков этого устойчивого интереса стоит такой корифей математической науки, как А.А. Марков (См.: Марков А.А. Об одном применении статистического метода // Известия императорской Академии Наук. – 1916. – Сеп. 6. – Т. 10).

Очевидно, что в значительном объеме научной литературы по данной проблеме наиболее весомое место занимают труды специалистов в области лингвистики, в рамках которой развивается целая научная дисциплина – структурная или математическая лингвистика, разрабатываемая совместными усилиями собственно лингвистов и математиков. Но свой определенный вклад внесли и историки, хотя опыт применения ими количественных методов анализа с целью атрибуции текстов сравнительно невелик\*.

По вполне понятным соображениям, нарушая хронологическую последовательность, рассмотрим вначале некоторые работы историков в области применения КМ к проблемам атрибуции.

Прежде всего отметим, что для историков, в отличие от филологов-лингвистов, проблемы изучения лексики и стиля никогда не бывают самоцельными. Более того, прибегая к решению подобных проблем, они вторгаются на «чужую территорию», и их цель – как можно более рациональным путем с нее выбраться. Даже в том случае, когда историк-источниковед сознательно ограничивает свое исследование одной сюжетной линией, – установление авторства или стиля какого-нибудь текста нарративного характера, – он всегда имеет в виду какую-нибудь более масштабную научную задачу и фактически никогда не может полностью абстрагироваться от качественного анализа, от традиционных методов анализа источника. Отсюда, для всех известных нам научно-исследовательских работ характерно пока что строго утилитарное обращение к КМ.

Пожалуй, наибольшую известность, как по количеству работ, так и по полученным результатам в советской историографии в области атрибуции анонимных текстов получили работы группы московских источниковедов, возглавляемой профессором Л.В. Миловым. Разработанная ими методика нашла свое приложение в анализе корпуса анонимных древнерусских текстов. Задачи подобного анализа, его возможности, пределы были достаточно четко сформулированы еще в коллективной статье 1977 г.<sup>2</sup> и с тех пор нашли свое воплощение

---

\* Речь идет о сознательном применении КМ с соблюдением законов математики. Здесь уместно заметить, что роль математики сознавалась историками гораздо раньше, чем это зачастую считают в современной научной литературе. Интересно, что даже такой «априорист», как Ю. Венелин (Ю. Гуца) в одном из писем С.Т. Аксакову писал, что «математика учит нас правдивости (честности?)».

в ряде конкретных работ<sup>3</sup>, определенным итогом которых является раздел в первом советском учебнике по количественным методам в исторических исследованиях<sup>4</sup>.

Несмотря на то, что разработанная и применяемая ими методика вряд ли, по мнению профессора Л.В. Милова, может быть применена к такой развитой синтаксической языковой системе, как русский язык XIX в., многие исходные положения, а также путь исследования представляют общеметодологический интерес.

Опираясь на опыт отечественной школы текстологии в изучении древнерусских текстов и на положения, сформулированные в области структурной лингвистики, исследователи отказались от традиционного пути изучения особенностей лексики древнерусских текстов с целью установления их авторства и обратились к выявлению «подсознательных элементов» в их стиле и языке. Это обращение к поиску «подсознательных элементов» имеет общеметодологическую значимость и соответствует основным направлениям научных изысканий по данной проблематике.

Согласно утверждениям одного из авторов, экспериментальным путем удалось установить, что таким «подсознательным элементом», обладающим индикаторными свойствами, оказались для изучаемого корпуса текстов особенности использования тем или иным автором грамматических (морфологических) форм в рамках простого предложения. В пользу обнаруженного индикатора говорит и то, что он проявляет свои способности при сравнительно небольшой выборке из текстов (1000 значимых слов). К сожалению, сама экспериментальная часть, предшествовавшая выявлению указанного индикатора, остается несколько в тени для читателей, хотя представляет несомненный интерес, может быть, не меньший, чем сам результат. Вполне возможно, что выявленный индикатор не будет таковым для русского языка более позднего времени (например, XIX в.), но важным является вывод авторов о том, что грамматические формы «есть лишь способ обобщения и упорядочения бесчисленного разнообразия лексики автора, есть способ формализации конкретного языкового материала»<sup>5</sup>. То есть вместо конкретно-лексической формы исследователями фиксировалось её морфологическое выражение (согласно принятой классификации частей речи) или же, в случае создания программы ЭВМ, присваивалось определенное число. Объектом дальнейшего исследования являлась уже частота парных

встречаемостей формализованных грамматических классов. Надо отметить, что все исследования в рамках применяемой методики основываются на законах математической статистики и теории графов. Исследователи установили довольно высокий «порог» для отбора парных встречаемостей, который позволяет им выявлять действительно «сильные связи», лежащие в основе построения графа (графов) сильных связей. Независимо от конкретного приложения сама идея применения графологических методов может быть использована и при характеристике авторских стилей более позднего времени, а сформулированные условия реализации методики для изучения авторского стиля текстов с целью нахождения атрибутивных параметров носят общетеоретический характер. Применительно к данной методике, может быть, имеет смысл предположение, что она наиболее плодотворно будет работать там и тогда, где и когда ощущается явная узость «информации к размышлению». В тех случаях, когда это «поле» достаточно широко и требуется уже исключительная точность, вполне возможно, что рассмотренная методика окажется недостаточно «чуткой».

Если к русским средневековым источникам нарративного характера применение КМ стало уже нормой в исторической науке, то памятники XVIII – XIX вв. исследуются историками в атрибутивных целях с использованием КМ очень редко. Наиболее известна в этом отношении попытка Б.М. Клосса в его совместной с И.Н. Новиковой<sup>6</sup> монографии установить авторство прокламации «Великорусс». Сама по себе задача не новая, с устойчивыми традициями её решения. Однако ранее никто не пытался решить её комплексно, с точным учетом многообразия всех форм. Метод, который был применен Б.М. Клоссовым, можно условно назвать методом концентрических окружностей. Собственно говоря, метод не нов, суть его в общем виде сводится к определению предполагаемого круга авторов по мотивам историческим (первый концентр). Затем постепенно с помощью различных методов анализа добиваются к сужению кругов, стремясь к точечному результату. С большой вероятностью можно утверждать, что авторами в качестве такой «точки» в плане рабочей гипотезы был выдвинут Н.Г. Чернышевский. Поэтому главная задача, которая решалась ими, заключалась все-таки не в определении кто был автором «Великорусса», а в доказательстве типа Н.Г. Чернышевский – автор «Великорусса». Более того, Б.М. Клосс

и И.Н. Новикова дедуктивным путем пришли, по-видимому, к выводу, что именно Н.Г. Чернышевский и никто иной был автором важнейшего памятника эпохи русского революционного движения начала 60-х гг. XIX в. Но подобные предположения таким же путем с некоторой дозой аргументации высказывались и ранее. Поэтому перед исследователями вновь встала уже упоминаемая проблема – сделать истину общедоступной, общевоспринимаемой как истину, то есть сделать её достоянием науки.

Для темы статьи интерес представляет та часть исследования по атрибуции «Великорусса», которая касалась изучения стиля прокламации в сопоставлении стилей возможных авторов. С этой точки зрения установление авторства «Великорусса» представляло серьезную трудность, вполне сознаваемую исследователями, в связи с сравнительно незначительным объемом самого текста прокламации и широким кругом предполагаемых авторов, известное, точно атрибутируемое наследие которых не равнозначно по объему, по степени изученности.

Отметим некоторые общеметодологические установки исследователей. Первое – понимание стиля как статистической устойчивости характерных для писателя особенностей и индивидуального, присущего только ему; второе – проведение атрибуции путем выявления специфических признаков стиля всех предполагаемых авторов; третье – определение специфичности по признакам путем анализа «статистической распределенности в круге рассматриваемых произведений»<sup>7</sup>; четвертое – наличие большого ряда признаков в атрибутируемом произведении, совпадающих по своим статистическим характеристикам с особенностями произведений определенного писателя, позволяет с вероятностью утверждать авторство этого писателя в отношении к интересующему произведению. Там же было высказано предположение, «что отдельные параметры стиля, которые могут быть использованы для определения авторства анонимного произведения, недоступны стандартизации и должны каждый раз выделяться под углом зрения их специфичности... Заранее нельзя предсказать, какие признаки окажутся специфическими для творчества каждого писателя»<sup>8</sup>. Далее автор высказывает сомнение по поводу создания универсального алгоритма анализа стиля.

Если в рассматриваемой выше методике по атрибуции древнерусских текстов исследователи стремились обратиться к анализу «подсознательных элементов» языка и стиля, то в данной работе проводился тщательный анализ лексического материала. В целом обращение к лексике как объекту исследования является естественным для историка, так как таким путем он одновременно решает задачи и содержательного анализа. Не останавливаясь подробно на методике определения авторства «Великорусса», хотелось бы отметить, что с чисто атрибутивными целями авторы прибегают к элементам контент-анализа, пытаясь разобраться, что вкладывалось разными авторами и автором «Великорусса» в понятие «необразованные классы».

Важным представляется и то, что в связи с ограниченным объемом основного текста становится невозможным широкое статистическое обследование языковых элементов текста, вычисление длин предложений, составление частного словаря, изучение синтаксических особенностей. С методической точки зрения несколько настораживают как нежелательные следующие моменты: 1 – разное количество объема негативных текстов различных авторов, из которых производилась выборка (колебания от 800 с. у Чернышевского, до 74 с. у Пыпина); 2 – учитывая, что лексика все-таки является основным элементом языка и что «прокламация» является специфическим жанром, не имеющим аналогов в сопоставительном корпусе, сама методика в целом носит характер исключительности.

На рассматриваемых примерах решений атрибутивных задач представителями современной советской исторической науки четко прослеживается, несмотря на методические различия, общая тенденция найти некую стилистическую особенность, обладающую статистической устойчивостью в качестве «клакмусовой бумажки» для определения авторского стиля и обнаружения подлинного автора.

Эта проблема особенно подробно анализируется в ряде работ по структурной, математической лингвистике. Причем, в отличие от выше рассмотренных работ историков, для лингвистов характерно стремление создать универсальные атрибутивные модели. В поисках таких моделей исследователи обращаются не только к лексическому материалу и даже не к морфологическому, а к синтаксическому (на этом сходятся большинство известных нам ученых), так как именно синтаксический строй предложения менее всего подвержен

осознанному влиянию, обладает большой степенью устойчивости как в жанровом, так и в хронологическом отношениях. Само собой разумеется, что синтаксис более свободен от мировоззренческих, конъюнктурных изменений. В случаях мистификации, апокрифов синтаксические особенности стиля относятся к сравнительно трудно фальсифицируемым. И хотя в статистическом описании лексического материала накоплен большой опыт, фундаментальным исследованиям посвящена, в первую очередь, работа Р.М. Фрумкиной<sup>9</sup>. Поиски последних двух десятилетий универсальных описаний стилей связаны с разработкой методов синтаксиса и нахождения тех синтаксических структур, которые могли бы служить наиболее «чутким» индикатором выявления особенностей стиля<sup>10</sup>. Исследования проводятся на значительных по объему текстах с большим в хронологическом отношении диапазоном – от XVIII в. до современности, с привлечением широкого круга авторов. Характерно, что этот процесс сопровождается постоянным поиском более совершенного математического аппарата. Описание синтаксиса на языке математики ведется, в основном, в понятиях математической статистики и в терминах теории графов, что приводит не только к повышению точности, но и рационализации процесса исследования посредством обработки формализованных данных на ЭВМ.

В настоящее время любой исследователь, решающий проблемы атрибуции или выяснения особенностей стиля (стилей) путем поиска устойчивых синтаксических структур, не может обойтись без аппарата изображения «деревьев» зависимостей, разработанного И.П. Севбо. Но как бы ни было велико значение адекватного математического аппарата, главная проблема – выявление наиболее существенных параметров, могущих служить ориентиром, точнее говоря, указателем при решении задач по установлению авторства.

В этой связи уместно заметить, что высказанное Б.М. Клоссом убеждение о невозможности создания универсальной модели находится в противоречии с основными направлениями исследований в области описания стиля. Не говоря уже о «хрестоматийных» примерах (гипотеза Н. Морозова<sup>11</sup>), отметим некоторые работы советских ученых 70 – 80-х гг.

В специальной научной литературе привлекали внимание исследования днепропетровского филолога И.И. Меньшикова в плане поиска модели контаминированных образов в синтаксисе,

которые, как показано самим ученым, могут найти свое применение в создании атрибутивных конструкций у различных писателей. Выводы, сделанные Меньшиковым, весьма привлекательны и подтверждены, в определенной степени, экспериментально. Согласно результатам проведенных им исследований, «основные синтаксические модели у того или иного писателя, раз сформировавшись, не носят уже локального характера, как скажем, лексический материал, а проходят через все его произведения с незначительными вариациями, которые стираются в общем языковом материале»<sup>12</sup>. Степень возможности получения в модели контаминированных образов стабильных структур зависит, по мнению автора, «от статистических параметров модели, то есть, от объема выборки и от выбранного статистического порога»<sup>13</sup>. В цитируемой работе Меньшиков довольно подробно раскрывает и методику создания модели контаминированных образов. Насколько можно судить, методика, применяемая исследователем, прочно базируется на законах математической статистики. Сам автор не претендовал на окончательность своих результатов, хотя, учитывая, что обработка данных велась без помощи ЭВМ, им были проведены масштабные эксперименты. Вместе с тем представляется сомнительной возможность использования идей И.И. Меньшикова в реальной практике историка, так как создание моделей контаминированных образов в синтаксисе требует глубокого профессионального понимания сущности языка.

С методической точки зрения может принести пользу работа Б.В. Сухотина «Оптимизационные методы исследования языка»<sup>14</sup>. Однако, как подчеркивал Л.И. Бородкин, «исследуя язык, Б.В. Сухотин не ставил перед собой задачу атрибуции текстов»<sup>15</sup>.

В плане развития идей И.П. Севбо заслуживает внимания кандидатская диссертация Е.Д. Надточий<sup>16</sup>. Исходя из того, что «в области статистического описания стилей оценки синтаксического уровня оказываются более адекватными, чем оценки лексического и морфологического уровня»<sup>17</sup>, исследовательница задалась целью экспериментальным путем проверить «работу» известных алгоритмов обработки выборочных наблюдений для распределений, отличных от нормального; провести сопоставительный анализ результатов, полученных при разных типах выборочных наблюдений; описать стилистико-синтаксические особенности авторских стилей, основываясь на содержательно-формальном анализе статистических

показаний; разработать методику проведения эксперимента по установлению авторства и др. В качестве экспериментального материала были избраны тексты А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького, В. Катаева и М. Шолохова (в общем объеме 6000 предложений). Поставленные задачи решались с применением графотеоретических методов, аппарата изображения деревьев зависимостей и широкого использования законов математической статистики при построении доверительных интервалов. Для анализа полученного изображения деревьев зависимостей исследовательница воспользовалась рекомендациями И.П. Севбо. Ею выбраны семь показателей: 1) длина фразы; 2) количество простых предложений в составе сложного; 3) количество уровней в дереве зависимостей; 4) средняя ширина ветвления у вершины; 5) максимальное количество перемен направления пути в дереве зависимостей; 6) максимальная протяженность дуги; 7) количество однородных сименных групп в фразе<sup>18</sup>. Выдвинув гипотезу, что установление авторства возможно по среднестатистическим характеристикам дерева зависимости, автор экспериментально проверила их и пришла к выводу о высокой степени надежности статистических исследований синтаксиса с применением ЭВМ. Согласно данным экспериментов, предложенная ею методика «по установлению авторства обладает значительной диагностической силой»<sup>19</sup>.

Среди изученных нами работ особое место занимает статья математика А.П. Фоменко<sup>20</sup>, в которой автор попытался найти экспериментальным путем инвариант русских литературных текстов, т. е. найти тот универсальный трафарет, который мог бы играть роль готового индикатора для распознавания авторов. Значение положительного решения этой задачи трудно переоценить. Нет необходимости описывать методику, предложенную А.П. Фоменко, – она в достаточной степени проста. Параметры поиска инварианта могут быть дополнены. Впечатляет объем проделанной «вручную» работы. Выводы, сделанные ученым, подтверждают уже упоминаемую гипотезу Н. Морозова: наиболее стабильным и в то же время достаточно (статистически) показательным является частота употребления служебных слов в предложении, которые и могут являться авторским инвариантом русских литературных текстов. Не вдаваясь в детали числовых выражений по выбранным параметрам, полученных А.П. Фоменко, отметив два, на наш взгляд, интересных момента, не

упомянутых автором: 1) исследование лишний раз подтверждает, что поиск универсальных атрибутивных конструкций лежит в области описания синтаксиса, так как служебные слова есть только лишь аудио-визуальный способ выражения синтаксической ограниченности строя речи; 2) к сожалению, автор, проделав огромную и полезную работу, не провел еще одну операцию – не вычислил «вес» частицы «не» и предлога «в» во всей сумме служебных слов, хотя их частоты подсчитывались как самостоятельные предполагаемые инварианты, правда, в процентах.

В заключение позволим себе сделать некоторые выводы общего характера.

1. Закономерное стремление историков к достижению максимальной точности (истинности) получаемых результатов приводит ко все большей интеграции в рамках исторической науки широкого спектра математических методов.

2. Однако, учитывая реальные условия работы современных историков (разобщенность, материальная база, уровень информационной системы, характер базового образования, стиль мышления и др.), необходимо задуматься над серьезной и трудно разрешимой проблемой соответствия затраченных усилий при использовании КМ полученным результатам.

В контексте данной статьи это означает, что применение количественных методов с целью атрибуции тех или иных текстов, скажем XIX в., несомненно перспективно и обещает исследователю значительную степень точности, а самое главное – доказательности, но возможные «энергозатраты» могут привести к самоцельным исследованиям, что, с нашей точки зрения, является нежелательным распылением сил историков.

3. Тот факт, что исследования в области точной атрибуции приводят к необходимости описания не лексики, а синтаксиса, вызывает сомнения: **дело ли это историков?**, а еще больше опасение: **дело ли это историков?**

4. Между тем сознательный отказ от возможно большей точности принципиально неприемлем. Отсюда выход может быть только один: интеграция всех возможных смежников в рамках комплексных лабораторий, в которых историк выступает поставщиком задач и главным интерпретатором получаемых результатов.

5. Очевидно, что развитие электронно-вычислительной техники (особенно в случае успешной реализации проекта ЭВМ пятого поколения и широкого их внедрения) может серьезно изменить характер исследований по определению авторства текстов.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Клосс Б.М. Предисловие // Математика в изучении средневековых повествовательных источников: Сб. ст. – М., 1986. – С. 3 – 7.

<sup>2</sup> Бородкин Л.И., Милов Л.В., Морозова Л.Е. К вопросу о формальном анализе особенностей стиля в произведениях Древней Руси // Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. – М., 1977; См. также: Бородкин Л.И., Милов Л.В. Некоторые аспекты применения количественных методов ЭВМ в изучении нарративных источников // Количественные методы в советской и американской историографии. – М., 1983.

<sup>3</sup> Морозова Л.Е. Графотеоретический подход к изучению авторских текстов // Методы количественного анализа текстов нарративных источников. – М., 1983. – С. 31 – 56; Морозова Л.Е., Промахина Н.М. Изучение авторского стиля «Сказания» Авраама Палицына с помощью количественных методов // Там же. – С. 57 – 85; Саркисова Г.И. Количественный анализ стиля политических сочинений русского государства XVI в.: Автoref. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1986; Бородкин Л.И. ЭВМ ищет авторов средневековых текстов // Число и мысль. – М., 1986. – Вып. 9. – С. 113 – 114.

<sup>4</sup> Количественные методы в исторических исследованиях / Под ред. чл.-кор. АН СССР И.Д. Ковальченко. – М., 1984. – С. 345 – 359.

<sup>5</sup> Там же. – С. 354.

<sup>6</sup> Клосс Б.М., Новикова И.Н. Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года. Некоторые итоги и перспективы исследования. – М., 1981.

<sup>7</sup> Там же. – С. 91.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Многие положения о применении законов математической статистики, высказанные Фрумкиной относительно лексики, остаются справедливыми и для исследований синтаксиса. См.: Фрумкина Р.М. Статистические методы исследования лексики. – М., 1964.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Морозов Н.А. Лингвистические спектры // Известия императорской Академии Наук. – Спб., 1915. – Т. 20. – Кн. 4.

<sup>12</sup> Меньшиков И.И. Модель контаминированных образов в синтаксисе. – Д., 1972. – С. 87.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Сухотин Б.В. Оптимизационные методы исследования языка. – М., 1986.

<sup>15</sup> Бородкин Л.И. ЭВМ ищет авторов. – С. 117.

<sup>16</sup> Надточий Е.Д. Статистическая диагностика авторских различий в синтаксисе: Автoref. дис... канд филол. наук. – Л., 1986.

<sup>17</sup> Там же. – С. 1.

<sup>18</sup> Там же. – С. 8 – 9.

<sup>19</sup> Там же. – С. 20.

<sup>20</sup> Фоменко А.П. Авторский инвариант русских литературных текстов // Методика количественного анализа текстов нарративных источников. – М., 1983. – С. 86 – 109.

## СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ИСТОРИКА\*

Методологизм, являясь атрибутом собственно научного мышления, присущ все типам и уровням научной деятельности. Применительно к профессиональной подготовке будущего специалиста методологизм есть одновременно и свойство его мышления, и показатель общего уровня его подготовки.

Что же мы подразумеваем под методологизмом, каков вообще категориальный аппарат этой сферы интеллектуальной деятельности? Предметное поле этой деятельности составляют такие категории, как «методологическая культура», «методологическая деятельность», «методологическая практика», «методологический поиск», «методологическая подготовка». В чем смысл этих понятий, каков характер их взаимоотношений и дисциплинарный статус методологии – вот круг вопросов, нуждающихся в рассмотрении.

Дело в том, что среди философов и методологов науки нет единого мнения относительно предметного статуса методологии. Одни исследователи рассматривают методологию как сформировавшуюся науку со своим предметом, отличающим ее от других наук о процессе познания: логики, науковедения, истории науки и т.д. Другие видят в методологии своего рода «специализированный слой методологических исследований, направленных на изучение закономерностей порождения нового знания с учетом исторического развития науки как феномена культуры». Третий определяют методологию как «прикладную дисциплину инженерного типа, а ее предмет как задаваемый в первую очередь не спецификой изучаемой

---

\* Напечатано: Методологическая подготовка студента-историка. Сб. науч. тр. – Тверь, 1991. – С. 5 – 13 (соавтор И.И. Колесник).

действительности, а совокупностью задач, решение которых надо обеспечить необходимыми средствами и опыт решения которых надо сохранить и распространить»<sup>1</sup>.

Очевидно, что названные точки зрения отражают какие-то существенные характеристики методологии как особой формы познавательной деятельности и споры о предмете и статусе методологии науки будут продолжаться. Однако в конкретном процессе познания вполне уместным представляется использование таких аналогов и производных от этой категории, как «методологическая культура», «методологическая деятельность», «методологическая подготовка» и т.д.

Размышляя о методологической подготовке студентов-историков, ее структуре, средствах и значении, не лишним будет показать, какой смысл мы вкладываем в это понятие. С нашей точки зрения, понятие «методологическая подготовка» близко по своему значению понятию «методологическая культура». Многоуровневость, неоднозначность содержания последнего дает достаточно широкий простор для его смысловой интерпретации. Уже при первом, беглом взгляде можно различить два уровня, два элемента этого понятия: методологическая теория и методологическая практика. Методологическая теория представляет собой обобщение и осмысление результатов методологической практики. Целью методологической теории является фиксация, сохранение и трансляция методологического опыта, т.е. нормативов методологической деятельности. Одной из центральных проблем методологической теории принято считать изучение механизмов формирования нового знания, его движения, закономерностей развития, трансляции и интерпретации.

В области исторического познания методологическая теория призвана дать ответ на вопрос о природе и происхождении самого исторического знания, науки истории, о путях, задачах и средствах исторического познания, о месте и роли исторической науки в культурном процессе, частью которого она является. Методология исторического познания включает и проблему ментальности исторического знания, соотношения его с историческим сознанием и научным мировоззрением определенной эпохи. Кстати, некоторый нигилизм специалистов-историков в отношении мировоззренческих и естественнонаучных проблем заметил еще В.О. Ключевский, который писал, что «историки обыкновенно получают литературно-

философское образование и поэтому мало знакомы с математикой и с естествознанием; уделяя в своем изложении какое-нибудь место успехам знания, они обыкновенно опускают развитие знаний математических и физических»<sup>2</sup>.

Средством разработки методологических проблем исторической науки является методологическая деятельность как практика выработки новых приемов, нормативов, образцов исследования. Сам термин «методологическая деятельность» введен в оборот М.А. Розовым и С.С. Розовой в 1974 г. как своего рода противоположность и одновременно дополнение собственно внутрипредметной, специально-научной деятельности<sup>3</sup>. В целом они широко трактуют методологическую деятельность как «поиск, изобретательство, эвристика, искусство, опирающиеся на выдумку, интуицию и прозрение»<sup>4</sup>.

Если исходить из понимания методологической деятельности как деятельности, направленной на поиск новых приемов, образцов и методов исследовательской работы в конкретно взятой предметной области, то можно выделить и средства этой деятельности. Речь идет, прежде всего, о нормативах, образцах исследовательской деятельности в данной предметной области, а также о средствах этой деятельности, заимствованных из общеметодологического арсенала. Последний включает в себя то, что в специальной литературе принято называть «межпредметным пространством» или «нормативным космосом», благодаря которому исследователь-практик обладает определенной независимостью от средств и методов, т.е. нормативной сферы своей предметной области изучения<sup>5</sup>. Иными словами, в области исторического изучения наряду с собственно историческими методами и приемами исследования используются подходы, принципы, категории, заимствованные из таких смежных дисциплин, как история науки, философия науки, логика, литературоведение и т.п. На современном этапе развития исторической науки стержнем методологической деятельности является разработка так называемой межпредметной методологии, которая представляет собой осмысление и интерпретацию на конкретно взятом историческом материале принципов и методов исследования, средств и подходов из таких смежных областей знания, как историческая демография, социология, антропология, историческая психология, культурология, лингвистика.

Словом, методологическая подготовка служит основой исторического образования студента, специалиста-исследователя. Сама система исторического образования формируется под воздействием двух основных факторов: внутренней логики процесса исторического познания и совокупного социокультурного влияния. Следовательно, структура методологической подготовки студентов в самом общем виде может быть представлена как «система» координат, где «абсцисса» – логика исторического познания, а точки над ней – суть методологические «образы» – представления; «ордината» – социокультурные факторы.

Наличие так называемых «минусовых» плоскостей вполне уместно, так как отражает возможную полярную противоречивость между двумя указанными факторами. Необходимо учитывать, что это только фрагменты сложнейших координатных связей, а также и то, что мы в своем опыте методологической «живописи» пренебрегаем такой величиной, как «сила» воздействия факторов, которая в данном случае их статистической разнородности фактически приводит к распаду системы. Но именно это позволяет нам выдвинуть такое предположение, что чем больше сила влияния имманентных факторов познания на историческое образование, тем ближе модель к идеалу. Под этим углом зрения уместно посмотреть на сложившуюся практику методологической подготовки историка.

В 1970 – 1980 гг. методологические аспекты находились в центре внимания и науки, и образования. Так называемые методологические части учебных курсов и студенческих работ стали нормативной «фигурой», элементом «обязательной программы». И преподаватели, и студенты-историки с большей или меньшей тщательностью исполняли эти фигуры, выговаривая сакрментальные слова: «теоретико-методологическая база», «методологический уровень», «с теоретико-методологической точки зрения» и т.д. Каково же было содержание понятия «методология исторической науки», культивируемое советскими историками? Показателем здесь становятся не отдельные «пробы пера» со множеством оговорок, но массовидные явления в научно-педагогической и соответственно студенческой среде.

Студентам усиленно внушалось, что занятие историей – это занятие наукой, что марксизм – мета наука, вооружающая историков истинным методом познания. Но чем более научным становилось с помощью

преподавателей мышление студентов, тем труднее было для них принять обязательную истинность марксизма, так как общественная практика под «флагом марксизма», догматическое восприятие его теории не могли не привести к появлению «методологического нигилизма», об опасности которого сейчас принято говорить в академических кругах. Однако питательная почва «методологического нигилизма» – это сам метод привития методологической культуры, заключающийся в узости и неадекватности культивируемого содержания методологии. Вместе с тем степень угрозы преувеличена, это угроза не методологии вообще, а определенному пониманию методологии, что может быть даже полезно для «здравья» науки и образования вообще. С середины 1960-х, в 1970 и 1980-е гг. в области методологии шли интенсивные процессы поиска новых подходов и ракурсов, рост самосознания методологии исторического познания, чему в немалой степени способствовала деятельность сектора методологии Института истории<sup>6</sup>. Причем процессы самоидентификации методологии исторической науки шли в противовес стремлению сохранить и упрочить тенденцию возвести в ранг методологии решения и материалы съездов и пленумов ЦК КПСС. Налицо, как видим, влияние двух вышеуказанных факторов. Примечательно, что оба этих фактора действовали синхронно в одном направлении, дополняя друг друга, в подчеркивании роли методологии. И хотя, само собой разумеется, и причины, и понимание, и цели были различными, но результат был, с нашей точки зрения, положительным: понятия «методология», «методологическое» вошли прочно в структуры научного сознания. Иными словами, не «методологический нигилизм» стучится в наши двери, а «методологический голод». В вузах работает генерация ученых, исследователей нескольких поколений, для которых проблемы методологии (что бы они не вкладывали в это понятие) являются узловыми. Для них слово «методология» стало знаком-символом культуры исторического познания, требующего очищения и нового наполнения, источниками которого должны стать родники самой мировой исторической мысли, а не концепция «нового мышления».

Что же включает в себя методологическая подготовка студента-историка? Стержнем формирования методологической культуры специалиста-исследователя является закрепление в его сознании рефлексивных начал, постоянное культивирование действия мысли,

направленной на поиски ответа на исконные вопросы научного познания: как и почему. Историческое образование лишь тогда может достигнуть желаемого идеала, когда уже первокурсник будет задумываться над вопросами типа: «Что есть история (процесс и наука)?», тогда, когда подобного рода вопросы станут для него постоянными. Для этого необходимо любой читаемый курс начинать с развернутой рефлексии по поводу самого предмета и курса, а также осмыслиения места его в структуре исторического познания, обращая внимание при этом на смысл самой этой рефлексии. Такой подход к целям и задачам исторического образования, преподаванию различных исторических предметов и дисциплин должен способствовать формированию определенного стиля мышления. Таким образом, первый камень в фундаменте методологической подготовки студентов закладывается не столько специальными (методологическими) «штудиями», сколько фактическим раскрытием особенностей научного стиля мышления.

Другой компонент методологической подготовки определяется из самой направленности исторического образования, призванного готовить специалистов двух типов: «трансляторов» исторического знания и «производителей» его. Отсюда фактически вся подготовка студента-историка может быть представлена в виде приобретения навыков герменевтики двух типов текстов: «истории» и «историков». Иными словами, при работе в области добывания исторического знания наиболее существенным представляется овладение методами герменевтики «текста» истории, при работе же в области передачи, трансляции исторического знания – методами овладения герменевтики текстов историков. Если экстраполировать подобную типологию исследований на предметно-дисциплинарном уровне, то можно говорить о дисциплинах источниковедческого и историографического циклов. Это значит, что чем более насыщены в источниковедческом и историографическом отношении изучаемые курсы, тем благоприятнее условия для формирования методологической культуры студентов. Непосредственный конкретно-методологический багаж историка пополняется за счет изучения специальных исторических дисциплин. Проиллюстрируем это на примере взаимодействия таких двух областей знания, как методология и историография.

Оба этих понятия взаимно дополняют и обогащают друг друга. С помощью историографии можно проследить истоки и ход формирования методологии как особой научной области знания и практики в структуре исторического познания. Элементы методологической теории в области истории находим в трудах историков XVIII в., а также более ранних времен. В «Предъизвесчении к Российской истории» Татищев уже пытался сформулировать предмет и задачи исторического изучения, показать отличие предмета гражданской истории от истории церковной, естественной и научной. Он же предпринял попытку сформулировать и присущие его времени с их идеалом научности образцы научно-исторической деятельности, методы и приемы исторического исследования. Элементы методологической теории и результатов методологической практики встречались в обобщенном виде почти во всех систематических трудах по русской истории от Татищева до Карамзина.

В первой половине XIX в., в связи со сменой стилей исторического мышления, арсенал методологических приемов и средств исторического изучения значительно обогатился вследствие преодоления узких рамок механистического рационализма. Разнообразие средств и приемов в области методологических исканий, совершенствование методологической практики в формах научной эвристики, интуиции, прогноза – все это вело к тому, что методологическая теория и практика обособляются во второй половине XIX в. в самостоятельную область деятельности. Об этом свидетельствует появление специальных методологических работ, чтение специальных университетских курсов по методологии, появление специалистов в этой области – Н.И. Кареев, В.О. Ключевский, А.С. Лаппо-Данилевский. Разумеется, обособление методологии в особую область исследования способствовали и социокультурные факторы: социализация исторической науки, формирование кадров историков-профессионалов, задачи исторического образования, сам факт динамизации социальных процессов во второй половине XIX в., успехи естествознания, которые требовали от гуманитарных наук, в том числе и истории, более четкого определения их специфики, места и методов в научном познании вообще, природы исторического знания в частности<sup>7</sup>.

Как видим, историография служит не только средством реконструкции былого и настоящего методологических

исследований, но и является своего рода источником методологических идей, инструментом передачи прежних и приращения новых методологических идей и теорий.

Разработка теоретических и конкретно-научных проблем историографии невозможна без опоры на методологию. Лишь с помощью методологического аппарата историографии получаем ответ на основной вопрос научного познания: какова же природа историографического и методологического знания, характер их взаимоотношений и место в структуре исторического познания в целом. Причем методологический поиск может быть успешным при условии выхода в межпредметное пространство, использование средств общеметодологического арсенала, так как лишь обращение к нормативам данной предметной области – методологии и истории исторического познания – будет недостаточно.

Всякое научное познание и историческое в том числе имеют два уровня или компонента: предметный и критический, или рефлексивный. Предметный уровень исторического познания составляет знание о прошлом, т.е. это собственно историческая наука; критический уровень есть ни что иное, как самосознание науки, взгляд науки на себя (предмет, задачи, цели, методы исследования) как бы «с стороны». В свою очередь, самосознание науки имеет тоже две стороны – это методология и история науки. Таким образом, самосознание науки включает и методологическую теорию и практику, и историю науки в ее теоретическом и конкретно-историческом проявлении. Как и история науки, методология имеет рефлексивную природу и является структурным элементом самосознания науки. Методология и историография представляют собой два взаимосвязанных элемента рефлексивных структур исторического познания, они дополняют друг друга и создают предпосылки для успешного развития каждого. Достижения в области методологии едва ли были бы возможны на каком-либо определенном этапе развития исторической науки без учета, сохранения и трансляции предшествующего методологического опыта. Вместе с тем историография без методологического оснащения за счет использования специально-исторических и межпредметных нормативов исследовательской деятельности до сих пор оставалась бы перечнем работ и указателем имен историописателей, выполняя вспомогательные описательные функции, подобно исторической библиографии. То, что историография является средством регуляции,

планирования, своего рода управления исследовательскими работами в конкретной предметной области, стало возможным благодаря тому, что вследствие усложнения своего собственного методологического аппарата она начала выполнять часть методологических функций в организации познавательного процесса. Совершенствование и взаимодействие двух ключевых сфер исторического познания – методологии и историографии – отражает основную тенденцию развития процесса познания на современном этапе, связанную с возрастанием роли самосознания науки как необходимого условия и инструмента ее роста.

Таким образом, исходя из природы методологического знания, понимания его места и роли в процессе научного познания, и прежде всего исторического, мы имеем все основания заключить, что решающая роль в методологической подготовке студента-историка принадлежит дисциплинам историографического характера. Имеются в виду дисциплины, непосредственно связанные с историей познания, его структурой: это логика, история философии, история литературы, история исторической науки и т.д.

Вместе с тем эти дисциплины, а также дисциплины источниковедческого цикла (археография, палеография, источникование, археология, дипломатика и др.) только вооружают студента, знакомят его с основами «технологии» исторического познания. Магистральный же путь формирования методологической культуры, привития навыков методологического мышления проходит через демонстрацию возможностей технологии исторического исследования на обширном фактическом материале. Иначе говоря, каждая конкретно-историческая тема при условии подачи ее в историографическо-методологическом разрезе работает как на усвоение ее содержательной стороны, так и в направлении «методологизации» мышления, активации его в плане поиска способов решения проблем исторического познания самых разных уровней.

В этой связи проявляется еще один структурный уровень методологической подготовки студента-историка: взаимодействие знаний о месте методологического в познании с собственно методологическими знаниями. Первый компонент, на наш взгляд, и есть стержень методологической культуры, основательность и прочность которого, несомненно, находятся в прямо

пропорциональной зависимости от второго компонента (содержания методологических знаний). Однако было бы проявлением диалектического вульгаризма считать эти оба компонента методологического мышления равнозначными в формировании методологической культуры студентов.

## ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> Розова С.С. Проблема предмета методологии науки // Проблемы методологии науки. – Новосибирск, 1985. – С. 8 – 9, 13.
- <sup>2</sup> Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. – М., 1989. – Т.6. – С. 72.
- <sup>3</sup> Розов М.А., Розова С.С. К вопросу о природе методологической деятельности // Методологические проблемы науки. – Новосибирск, 1974. – С. 25 – 35.
- <sup>4</sup> Розова С.С. Указ. соч. – С. 19.
- <sup>5</sup> Митрофанов Б.С. Методология науки и научная рефлексия // Проблемы методологии науки. – С. 30.
- <sup>6</sup> Неретина С.С. История с методологией науки // Вопросы философии. – 1990. № 9. – С. 149 – 163.
- <sup>7</sup> См.: Антипов Г.А. Понимание в структуре гуманитарного исследования // Проблемы методологии науки. – С. 156 – 158.

## ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ: ОПЫТ РАСШИРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА НАУКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ\*

Период «бури и натиска» историографии как особой отрасли исторического познания, который проявился в советской исторической науке 1960-х – начала 1980-х гг., завершился без последнего аккорда. И хотя, как нам представляется, «историографический бум» был вестником глубокого кризиса, его непосредственный результат – формирование нового, если не стиля, то, по крайней мере, «этикета» мышления историков в тогдашнем советском и постсоветском научно-историческом пространстве. Историки, даже не обладающие вкусом к историографическим студиям, далекие от историографического стиля мышления, считали и считают

\* Напечатано: Харківський історіографічний збірник / За ред. В.К. Міхеєва. – Х., 1997. – Вип.2: Українська історична наука на порозі ХХІ століття. – С. 91 – 102 (соавтор С.П. Болдирь).

необходимым обращаться к историографическим сюжетам. Каждый диссертант в качестве «обязательной программы» с большей или меньшей тщательностью исполняет ритуальный «историографический танец». Между тем сложилась несколько парадоксальная ситуация: историография утвердилась как одна из методологических дисциплин и в качестве таковой стремится выполнять экспертно-регулятивную функцию, но сами историографические опыты зачастую не отличаются методологической глубиной\*.

Еще большее удивление вызывает тот факт, что именно историки и методологи науки второй половины XX столетия осуществили своего рода «восстание» против кумулятивистского взгляда на ход научного познания, а историографические экскурсы, введения, специальные статьи, очерки, монографии являются собой (за редким исключением) образцы воспроизведения кумулятивистских подходов к истории исторической науки. И все же главный порок подобных подходов состоит не столько в несоответствии современным теоретическим воззрениям на историю науки, сколько в омертвлении исторического знания.

Наблюдения над историографическим процессом уходящего столетия показывают, что методологическая роль слов-понятий значительно возросла\*\*. Поэтому мы полагаем, что теоретическое обогащение исследований историографического характера связано с введением в оборот новых понятий, могущих стать методологически несущими конструкциями. Так, еще сравнительно недавно в наш лексикон вошли словосочетания «историографический процесс», «историографическая ситуация»<sup>1</sup>, и это привело не просто к расширению словарного поля историков исторической мысли и познания, но и к расширению эпистемологико-коммуникативных возможностей в изучении и описании историографических сюжетов. Слово «образ», как и некоторые другие существительные, не имеющие отношения к «вещам», оказывается как нельзя лучше приспособленным к различным смысловым, понятийным образованиям и самое главное, – выдерживающим испытание временем. При этом важно подчеркнуть, что

---

\* Эта ограниченность рефлексивного сознания, несомненно, имеющая и эпистемологические, и психологические, и социальные причины, заслуживает особого обсуждения.

\*\* Вспомним хотя бы «триумфальные шествия» таких понятий: «формация», «цивилизация», «культура», «ментальность», «идентичность», «маргинальность» и т.д.; или в историографии науки: «парадигма», «образ науки», «стиль мышления».

именно «образ» является главным в семантической структуре понятий, в которых это слово употребляется.

Образ как философская категория разрабатывается впервые в платонизме. Именно как «образ» переводятся платоновские понятия είδος и ειχόν. Эйдос – умозрительная идея вещи, вообще всего того, что чувственно воспринимаемо; причина, образец и цель существования вещи. Однако образ и в смысле «образца» (Платон. Георгий, 503 е; Кратил, 369 в.), и в значении причины (Тиней, 52 а-с) является объектом знания, а не мнения. Кроме того, среди всех многообразных употреблений вышеназванных терминов следует вспомнить об ошибочных образах (в противовес правильным) – так называемых образах мнимого (Филеб, 39 вс). То и другое содержится в человеческой душе (здесь употребляется ειχόν, как и тогда, когда речь идет об образах как чувственно-материальных отражениях бессмертных идей (Государство, IV, 509 е-510 в). Во всяком случае, образ есть сущность, то есть онтологическая категория, а не форма познания. Можно говорить лишь о «познавательном (гносеологическом) значении» образа у Платона, а именно в творчески-преобразующей предметной деятельности. Гносеологическое значение заключается как раз в том, что познание вещи осуществляется путем ее соотнесения с архетипом; иначе – путем соотнесения ее конкретного облика (существенно важного для данной вещи) с мыслимой идеальной ее структурой. При этом для истинного познания бесполезны как «призраки» – продукты неправильного подражания, которое характерно, в частности, для софистов (Софист, 235 а-236 в), так и конструкты, тождественные образам\* (Кратил, 432 в, 433 а).

Иной полюс словоупотребления (употребление слова-понятия) образа – образ как гносеологическую категорию – имела в виду романтическая интерпретация, сослужившая службу эпистемологии исторических наук и основывавшаяся на теологическом, а то и мистическом понимании. В этой системе образ – это прежде всего «образ Божий», выражение не

---

\* Интересно понятие образа (*imago*) у Бозия, пытавшегося синтезировать платонизм и аристотелизм. Воображение (*imagination*) как способность к продуцированию образов, несводимое к чувственному восприятию, является условием понятийного рассуждения (Бозий А.М.Т.С. Комментарий к Порфирию, I). С другой стороны, образом у Бозия является чувственно-материальное воплощение нематериальной формы, по отношению к этой последней ущербное (менее совершенное онтологически и гносеологически более бесполезное) (Его же. *De Trinitate*, 2).

только интеллектуального, но и вещественного ощущения божественного присутствия, вообще ощущения сверхъестественного.

Образ у романтиков является знаком реального. Реальность, в свою очередь, – это категория того же ряда, что и мифология. Образ, по Ф. Шлегелю, есть единство идеи и вещи в мифологическом мышлении; в его пределах идейная образность соединяется с вещами в действительности субстанциально<sup>2</sup>. Соответственно и реалистическое познание противостоит идеалистико-спекулятивному. Торжество реализма связывается с эстетической революцией, созданием «новой мифологии»<sup>3</sup>. Образ, форма восприятия реальности во всей ее полноте, должен был явиться одной из основных категорий этого движения. Рационально-понятийное мышление абстрагирует, иначе говоря, обделяет, а образ – форма синтетического познания, поднимающаяся над гносеологической ограниченностью разума. Впрочем, «иенцами» была лишь востребована та возможность противопоставления, которая содержалась уже в «Критике чистого разума». Но Кант различал понятия чистое и эмпирическое. Первое из них, руководствуясь собственной схемой, несводимой к образности, условием, чистым и формальным, чувственного восприятия, ограничивает свое применение. Схема чувственного понятия выступает как представление о способе связывания образа и понятия<sup>4</sup>. То есть, следуя Кантовской логике, чувственный образ имеет гносеологически лишь субъективное значение и служит подлинному познанию, лишь будучи подведен под понятие. С другой стороны, чистое понятие не несет никакой чувственной нагрузки и уже потому составляет противоположность образу с его эмпирическим происхождением. Такой вывод невозможен в системе «Трансцендентальной логики» Канта, где ощущение как таковое не относится к познанию, а чувственное содержание сознания подчиняется деятельности рассудка. Вне кантовской логики образ и понятие становятся альтернативными формами познания, но из-за тяготения к «реализму» – в противовес «идеализму» кантовских понятий – образ вообще получает статус более значительный. В этом качестве образ романтиков и бытует в духовно-художественной сфере.

Общим итогом развития понятия «образ» на этом этапе было утверждение его как равноправной формы познания, относительно которой может быть поставлен вопрос о мере адекватности объекту. Другой вопрос – как следует понимать такую адекватность?

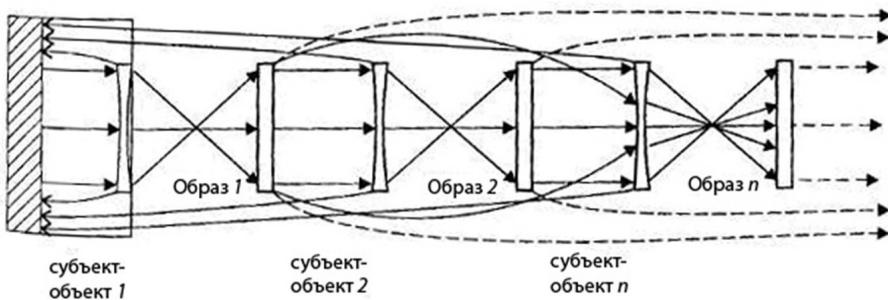
Свой ответ на этот вопрос дает так называемая «теория отражения»: познавательный образ означает «адекватное отражение человеком

внешнего мира в его сознании<sup>5</sup>. Для описания ситуации отражения используется понятие изоморфизма, или соответствия «структуры образа структуре объекта, когда абстрагируются от конкретной природы элементов, соответствующих структур»<sup>6</sup>. Иначе говоря, образ является односторонней абстракцией объекта. Как результат отражения, образ, во-первых, не исключает сотворения различных структур объекта; во-вторых, является именно идеальным отражением; в-третьих, проверка адекватности отражения может быть осуществлена с помощью других идеальных образов, а этих последних – с помощью «образов третьего порядка» и т.д. То есть, перед «теорией отражения», которая в значительной мере приходит к субстанциализации идеального, предстают почти те же трудности, что и перед платоновской эйдологией; возникает ситуация, которую обычно называют «третий человек». Введение же понятия интериоризации<sup>7</sup> объясняет не способ отражения интериального объекта в идеальности, а именно превращение внешней предметной данности в факт сознания. К тому же «отражение», даже если принимать его в качестве метафоры, несет в себе привкус редукционизма.

Для историка<sup>8</sup> корректность использования этого слова в качестве понятия методологического характера определяется исходными взглядами на сущность исторического познания. Те историки, которые убеждены, что источники донесли до нас фрагменты подлинного исторического процесса, что возможно максимально аутентичное его восприятие и передача воспринятого другим и что в этом есть сокровенный смысл исторического познания, могут не только обойтись без понятийных конструкций, образованных с помощью слова «образ», но, более того, обязаны его отвергнуть. Само собой разумеется, что те историки историографического процесса, которые стоят на таких же позициях, конечно, должны быть не менее последовательны.

Наши представления о процессе исторического познания схематично раскрываются на нижеследующем рисунке.

Главное идейное содержание этой схемы: результатом субъект-объектных связей всегда является не отражение объекта, а «образ», который в продолжающемся познавательном процессе сам уже становится частью субъект-объектных связей, выполняя функцию объекта, и как результат этой связи – новый образ... Все изменяющиеся «образы» являются составляющими потенциального «Образа», реконструкция которого становится сверхзадачей историографического исследования.



Тот, кто ставит перед собой такую задачу, – стремится к синтезу историографического образа (явления, личности, периода и т.д.). Так как в этом случае мы имеем дело с феноменами истории, то синтез как таковой может быть и недостижим, и вместо Образа исследователь зафиксирует отдельные черты, или же «образы». Очевидно, что искомый «Образ» есть тоже образ образа. Вместе с тем, зафиксированный на определенном отрезке познавательного процесса, он способствует большой степени диалогизации, а точнее – полилогизации процесса познания.

Подход к историографическому образу как к методологическому понятию заставляет задуматься над его внутренней структурой. На теоретическом уровне такая структура в конце 80-х – начале 90-х гг. была осмыслена и апробирована в нескольких дипломных и диссертационных исследованиях<sup>9</sup>, выполненных в Днепропетровском госуниверситете. В их основу было положено представление о том, что истоки историографического образа восходят к «прижизненному образу», черты которого зафиксированы в источниках\*. Сам «прототип» может выступать активным, сознательным творцом своего образа, живя в образе (образах), реагируя на импульсы извне, стремясь к соответствию или же преодолению сложившегося образа (образов).

Второй этап (элемент структуры) назван нами «некрологическим», который не всегда может быть комплиментарным, и носить вполне «некрофильский» характер, но в любом случае в нем есть черты еще живого непосредственного восприятия, при котором образотворчество

\* Однако информация источников не тождественна информации о «прижизненном образе».

в независимости от собственных устремлений творцов выполняет непосредственную социальную функцию. И одновременно здесь, на этом этапе, закладываются основы дальнейшей историографической судьбы (сохранение возможных источников, мемуаризация, публичное распространение оценок, характеристик, стереотипизация и т.д.).

Третий – научно-критический – предмет научного изучения. Четвертый – редукционный.

Конечно, далеко не все элементы могут быть представлены в структуре конкретно-историографического образа. Сама эта структура выполняет эвристическую и системоорганизационную функции. Одно из очевидных преимуществ утилитарно-прагматического характера предлагаемого методологического подхода – это его «материалоемкость». Каждый, кто сталкивался с необходимостью реконструкции и описания фактографически насыщенной историографической традиции, усложненной еще и многообразием форм и уровней исторической мысли, знает, насколько трудно она «упаковывается» в ограниченные рамки исследований любых жанров. «Историографический образ» как способ преподнесения изученного материала отличается значительно большей степенью компактности и идейной целостности.

Между тем, далеко не для всех типов историографических исследований целесообразно использовать подобный подход. Исследования, направленные на всестороннее изучение историографического процесса, не дают возможности для продуктивного использования этой методологической идеи. Напротив, в работах историко-историографических, а также в различного рода проблемных историографических экскурсах, обзорах, введениях, статьях и проч., имеющих целью изучение самого явления, личности, темы, проблемы и т.д., и т.п., «историографический образ» есть наиболее адекватный путь как изучения, так и преподнесения его результатов.

И еще на одну особенность считаем необходимым обратить внимание. В современных условиях, когда идеи и методы клиометрии находят довольно широкое распространение в сфере гуманитариев, когда идеология моделирования иногда претендует на тотальную роль в историческом познании<sup>10</sup>, может возникнуть соблазн подмены «образа» «моделью», что представляется абсолютно неадекватным по некоторым причинам. Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов

эстетические критерии, соответствующие определенной субкультуре. Так, например, если словосочетание «историографический образ Р.У. Фогеля»\* не может вызвать особенного вербально-эстетического неприятия, то «историографическая модель Р.У. Фогеля» или заставляет усомниться в здравости автора, или же придает совершенно иной смысл. Но эта поверхностно-эстетическая оценка имеет сущностно-содержательную подоплеку. «Модель» и «образ» – разнонаправленные понятия. Первое направлено на воспроизведение с максимальной точностью изучаемого объекта со стремлением полного отстранения субъекта. При этом сама возможность эффективного моделирования предполагает: а) недоступность или труднодоступность самого объекта; б) убежденность в возможности его моделизации. К тому же построение модели есть путь изучения, а не результат. Второе же (образ) – не только не стремится исключить субъект, но и исходит из их принципиальной нерасторжимости, из идеи сотворения объекта как единичного и не тождественного ничему. «Образ» начинает свою работу там, где еще нет места или же не может быть места моделированию. И, наконец, «образ» есть путь-результат, который вполне самодостаточен.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Попова Т.Н. О понятии «историографический процесс» // Харківський історіографічний збірник. –Х., 1995. – Вип. 1: Історія і теорія історичної науки та освіти. – С. 45 – 60.

<sup>2</sup> Шлегель Ф. Речь о мифологии //Литературные манифесты западно-европейских романтиков. – М., 1960. – С. 63.

<sup>3</sup> О революционно- и реформаторско-эстетических и мировоззренческих чаяниях ранних немецких романтиков см.: Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма (Фр. Шлегель, Новалие). – М., 1978; Её же. – Философия немецкого романтизма (Гельдерлин, Шлейермахер). – М., 1989.

<sup>4</sup> Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994. – С. 124.

<sup>5</sup> Коршунов А.М., Мантатов В.В. Теория отражения и эвристическая роль знаков. – М., 1974. – С. 18.

<sup>6</sup> Там же. – С. 18 – 19; См. также: Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни. – М., 1991. – С. 37.

---

\* Современный американский историк-экономист, один из пионеров «клиометрики», лауреат Нобелевской премии за 1993 год.

<sup>7</sup> Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977. – С. 95 – 98; Сагатовский В.Н. Категориальный контекст деятельного подхода // Деятельность: теория, методология, проблемы. – М., 1990. – С. 75 – 76; о рефлексии как имманентном свойстве отражения см.: Шрейдер Ю.А. Человеческая рефлексия и две темы этического сознания // Вопросы философии. – 1990. – № 7. – С. 32.

<sup>8</sup> Понятие образа в советской культурологии см.: Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. – С. 361; Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М., 1987. – С. 8, 71 – 72; Фрейденберг О.М. Введение в теорию античного фольклора: (Лекции) // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978. – С. 21; Её же. – Образ и понятие // Там же. – С. 185, 200, 202, 267; Гоготишвили Л.А. Варианты и инварианты М.М. Бахтина // Вопросы философии. – 1992. – №1. – С. 115 – 133.

<sup>9</sup> Литвинова Т.Ф. Суспільна думка України другої половини XVIII – першої половини XIX ст.: Григорій та Василь Полетики: Автoref. дис... канд. іст. наук. – Д., 1993.

<sup>10</sup> Подгаецкий В.В. Эффект Журдена, или История как метафора прошедшего времени // Методологические проблемы исторической науки. – Минск, 1993. – С. 92 – 95; Его же. Города Украины в годы НЭПа (вариант клиометрического подхода к анализу социальных структур). – Д., 1994. – С. 3 – 7; в качестве последовательного развития идеологии моделирования укажем на по-своему замечательную попытку: Тарнопольская И.О. О магической природе методологии моделирования (дидактический аспект) // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 1995. – № 15. – С. 69 – 73.

## ФУНКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ В СУЧАСНОМУ ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ\*

Ті, хто вивчає сучасну історіографічну ситуацію останніх двох десятиліть, без сумніву повинні будуть відзначити той, дещо парадоксальний факт, що, не зважаючи на очевидні матеріальні проблеми, з якими стикаються історики пострадянського простору, кількість конференцій різко збільшилась. Здається, що при наявності бажань і можливостей сучасний український історик може ледве не цілорічно курсувати між різними науковими заходами. Сам цей феномен заслуговує на окреме спеціальне осмислення і розмову. Для нас, акцентуалізація на цьому парадоксі стає приводом для того, щоб підкреслити якісну відмінність останніх астаховських читань від загальної маси конференційних «подій». Ідеологія, що закладається організаторами, виконує для запрошених значну евристичну

\* Напечатано: Харківський історіографічний збірник / За ред. С.І. Пісохова. – Х., 2008 – Вип.9. – С. 15 – 22 (соавтор О.И. Журба).

функцію, на відміну від конференцій конгресового, виставкового характеру. Останні переважно розраховані не стільки на внутрішній вжиток, скільки на зовнішнє звучання та сприйняття. З інтелектуальної точки зору, вони проводяться за участю фахівців не для фахівців. Можливо, ми помиляємося у такій радикальній оцінці і значна частина колег може не поділяти цих думок, але, підкresлюємо, що конференція-семінар – це саме та форма наукового спілкування, яка і може сприяти формуванню певних дослідницьких програм. А якщо це так, то соціально-організаційний елемент у такому випадку спрацьовує на інтелектуальну складову системи наукового пізнання. Безумовно, висловлюючи в даному випадку подяку організаторам конференції, ми, разом з тим, вимушенні визнати, що достатньо жорстка ідеологія, що була запропонована в інформаційному повідомленні, з одного боку, змусила нас шукати таку проблематику, що б відповідала стратегії загального задуму ідеологів, – осмислити дисциплінарну долю історіографії у системі наукового пізнання; з іншого, – виявилося, що ми ризикуємо опинитися у стані тієї самої мавпи з анекdotу, що, як відомо, «боялася розірватися». І справа не в тому, що ми серйозно вважаємо себе «і розумними, і красивими», а в тому, що запропоновані напрямки обговорення викликали потребу зануритися в кожний з них. Саме це, можливо, й стало психологічною підставою для виходу на запропоновану для обговорення тему, виходу на проблематику, дещо несподівану навіть для нас самих: синкрезу наукового пізнання та місця історіографії у цьому процесі.

\*\*\*

Прийнято вважати, що синкретичне бачення світу є саме те, що долається в ході наукового пізнання. І справді, аналітичним скальпелем, як би він не був налаштований (чи «по-беконівські», чи «по-картезіанські»), у процесі пізнання великий Логос був підданий розтину на безліч «логосів», що існують в уявленнях як окремі цілісні науки. Але процес розтину продовжувався, і, наприклад, «логос історії», навіть в Геродотові часи, репрезентував вже себе через множину – «логоси».

Впевнені, що натяк зрозумілий. У такому дещо міфо-метафоричному вигляді представляємо процес внутрішньої диференціації науково-історичного пізнання, в ході якого йде формування і еволюція його дисциплінарної структури.

Окремим дисциплінам, що входили чи входять в цю структуру поталанило з назвами, які не потрапляли в полісемантичні кола і не потребували вчитування в контексти при використанні термінів. Та ж дисципліна, яка у вітчизняному науковому просторі традиційно функціонує з ім'ям «історіографія», навпаки опинилася в складній термінологічній ситуації, що змушує кожен раз при використанні цього поняття давати пояснення, або створювати певний контекст. Правда, ми не бачимо в цьому приводів для сумування, бо таке «живе» використання слова, мобілізує дослідника, примушує кожного разу більш осмислено вживати цей термінологічний інструмент.

Більш принциповим для даних розміркувань виглядає повернення до розмислів з приводу «природи історіографії» як наукової дисципліни. Здається, що саме у вітчизняній науковій традиції це питання вже розглядалося достатньо глибоко як на теоретичному, так і емпіріко-аналітичному рівнях. Достатньо згадати грунтовні праці М.В. Нечкіної<sup>1</sup>, А.М. Сахарова<sup>2</sup>, Р.О. Кірєєвої<sup>3</sup>, І.І. Колесник<sup>4</sup>, Т.М. Попової<sup>5</sup>, С.І. Порохова<sup>6</sup>, Л.П. Репіної, В.В. Зверевої, М.Ю. Парамонової<sup>7</sup>, Н.М. Яковенко<sup>8</sup>, не кажучи вже про широкомасштабну і для тих часів плідну дискусію 60-х – 70-х рр. минулого століття про предмет та задачі історіографії. Крім того, у наукознавчих та історико-наукових дослідженнях останніх десятиліть ХХ ст. образ «історіографії науки» в цілому був розгорнутий у всьому різноманітті, в тому числі і стосовно природи «історіографічного».

В межах нашої обізнаності, на матеріалах науково-історичного пізнання були розгорнуті два основні образи «природи історіографії». Перший, – вузькодисциплінанарний, в якому історіографія як наукова дисципліна пов’язується і виводиться з дидактичних потреб історичної освіти (Р.О. Кірєєва), другий, – «епістемологічний», що розкриває рефлексійну природу «історіографічного», пов’язаного з рефлексійною природою самого історичного пізнання-знання (І.І. Колесник).

Зізнаймося, що в наших уявленнях такі розмисли над природою історіографії продовжують актуально діяти. Але, приділяючи велику увагу в тому числі й експлікації функцій історіографії, і, навіть, фактично розкриваючи її психологічну функцію у науково-пізнавальному просторі, дослідники, на наш погляд, ще не ставили питання про **Смисл, Призначення**, – інакше кажучи, **Апологію** історіографії.

Зрозуміло, що науковий стиль мислення, примушує дистанціюватися від подібних визначень у зв'язку з їх «телеологічністю». Разом з тим, це не заважає нам, що позиціонують себе як представники саме цього способу мислення, використовувати як глибоко науково-раціональні такі поняття як «національне відродження» («ренесанс»), «національна ідея» тощо, і, навіть, створювати, спираючись на них, моделі раціонального пізнання різноманітних явищ історичного процесу.

Здається, історикам настав час відверто зізнатися перед собою та іншими, що без елементів «телеологічного» повне мислення не можливе, так само, як раніше вдалося визнати неможливість несуб'єктивного у пізнанні навіть під дахом і гаслами науки. Тим більше, в умовах, коли таке «дзвінке слово» – «історіософія», у вітчизняному науковому просторі навіть стало номенклатурним поняттям.

Крім того, ніякі дисциплінарні пута не в змозі настільки дисциплінувати думку сучасного історика, який хоча б «щось чув» про Бердяєва та Ясперса, Шпенглера і Тойнбі..., щоб обмежити його рефлексії стосовно «смислів» та «призначень».

Разом з тим, якщо всі ці визначення, за якими тягнеться шлейф «метаісторичного» з присмаком ірраціонального, спробувати замінити не настільки дратівним, – «функція історіографії», то останнє може викликати подив, бо вище нами вже зазначалося, що функції історіографії достатньо широко розглядаються у науковому дискурсі і, таким чином, автори, як кажуть, «ломяться в открытые двери»...

Специфіка нашого підходу до «функції історіографії», у зовнішньому вигляді, – саме у використанні однини, а у внутрішньо змістовному, – у спробі вивести цю функцію не в контексті «логосу історії» етапу його розпаду (дисциплінарної диференціації) та не через реєстрації того, що відбулося і відбувається, не через психологію науково-історичного пізнання, а з позицій осмислення долі пізнання в цілому.

Відверто кажучи, про це не важко замислитися, але дуже непросто публічно висловитися. «Внутрішні голоси», з інтонаціями шановної Т.М. Попової, тут же іронічно нагадують: «Целиком охватить ни у кого взгляда не достанет...»<sup>9</sup>. Але, з тими же інтонаціями лунає інше: «Возможно, что реальное движение научного знания и

научной деятельности приведет к новому пониманию «единства» («универсума») в епистемологической сфере самой исторической науки. В этом поиске, на наш взгляд, методологически перспективными представляются идеи, фокусирующие внимание на собственные закономерности развития историко-научных исследований, т.е. «их инкорпорированность в общей системе науки», которая позволяет им «играть по отношению к этой системе интегрирующую роль»<sup>10</sup>.

\*\*\*

На наш погляд, у тому факті, що початок дисциплінарного оформлення історіографії припадає на час, коли «Зевс» (історична наука) вступає у «репродуктивний період», тоді, коли зароджується, починає формуватися мультидисциплінарний образ модерного науково-історичного пізнання, вже проглядається її смислове призначення, – її закодована функція.

Тим, хто став на шлях пошуку смислів, ризикнув вийти на «історіографософську» дорогу, тому вже доводиться замислюватися над безліччю різноманітних питань, серед яких тут, в контексті статті, актуально звучить потреба міркувань над удаваним протиріччям між сталістю «історіографічного компоненту» (І.І. Колесник) у раціональній структурі історичного знання і порівняно пізнім його дисциплінарним оформленням.

Для попередніх генерацій істориків історичної науки, яка ще неглибоко замислювалася над феноменом самого «історіографічного», часове оформлення історіографії як особливої дисципліни (чи то зі статусом допоміжної, чи спеціальної наукової галузі і, навіть, метадисципліни в системі історичної науки) було зрозумілим, бо вони мислили, що історія наукового знання виникає як результат накопичення (розвитку самого знання). Інакше кажучи, історіографічне знання – після історичного. І, якщо мислити в категоріях суворої наукової раціональності, то, щодо нас, – це, можливо і є найбільш раціональна схема генези і розвитку наукових дисциплін. Саме у таких схемах важко побачити ірраціональність, надлишкову метафізичність, телеологічність, ретроспективність та інші «вади» недостатньо наукового стилю мислення. Але, коли ми визнали «справедливість» і питань щодо природи різноманітних науково-дисциплінарних дискурсів, і, більш того, розпочали сприймати, використовувати відповіді на ці «сумнівні» питання, то

ми не можемо ігнорувати вищезгадане як протиріччя, разом з тим, не роблячи спроб його подолання, чи тлумачення.

Таким чином, в наших уявленнях, історіографія, яка за своїми первісними настановами була покликана «збирати каміння», виявилася дисципліною зі своєю інтелектуальною структурою і сама стала одним з цих «каменів» у мультидисциплінарній структурі історичної науки. Причому камінь цей виявився настільки громіздким, об'ємним, що по суті, навіть в нашій науковій традиції, вона (історіографія) фактично втрачає реальні дисциплінарні контури, перетворюючись у галузь науково-історичного пізнання і, разом з тим, метанауково-історичний метод.

На наших очах руйнуються останні дисциплінарні бастіони історіографії у галузі освіти. Бо, навіть якщо читати загальний курс історіографії, то така дисципліна передбачає включення до неї множинності історіографічних дисциплін. Якщо ми викладаємо національну історіографію, то по суті невідворотно ризикуємо або не розкрити дійсний процес історичного пізнання, або «фоновий матеріал» буде повністю подавляти основний зміст курсу. Якщо ж намагатися змоделювати ідеальну програму підготовки професійного історика під кутом зору дисциплінарних образів історіографії, то є підстави думати, що вони були б у змозі витиснути всі інші курси в підготовці історика і стати змістом його підготовки.

Якщо ми хочемо зберегти дисциплінарний статус «історіографії», то остання повинна взяти на себе функцію представляти історичне пізнання в максимальному наближенні до цілісності синкретичного характеру. На певному емпіричному рівні це знаходить вже своє вираження, але досі не знаходить свого означення та усвідомлення. Це підтверджують хоча б останні більш-менш значимі історіографічні досвіди і досліди, представлені у вигляді дидактичний посібників. Про це свідчать, наприклад, роботи Л. Зашкільняка<sup>11</sup>, які багато в чому базуються на теоретичних ідеях, представлених у текстах Б. Кроче, Р. Колінгвуда, П. Рікера, М. Барга та інших, які огорнуті в упаковку методології історії (від давнини до сучасності), чи достатньо симпатична праця Репіної і К<sup>12</sup>, або навіть зовсім свіжеспечена публікація історіографічної частини «Вступу до історії» Н. Яковенко, численні публікації, в тому числі у формі підручника з української історіографії, І. Колесник<sup>13</sup>, які ніяким чином не лише не відбивають,

а навіть не претендують на роль дійсної історії історичної науки в усьому її соціоінтелектуальному різноманітті.

В пізній радянський час на кафедрі історіографії та джерелознавства ДДУ здавалося, що ми знайшли адекватну модель побудови програми фахової підготовки істориків, в якій проблемно-історіографічний компонент мав бути відображенний через систему конкретноісторичних курсів, які були б представлені в історіографічній та джерелознавчій розгортаці<sup>14</sup>, водночас, власне історіографічні курси в цьому випадку повинні були виконувати функції методології історії та історії історико-наукового пізнання. Говоримо «нам здавалося», тому що, як розуміємо зараз, – це соціальна утопія. Соціальна сторона науки в той час нами явно недооцінювалася. По-друге, це трохи нагадувало ситуацію на кшталт, – «а буде одно сплошное телевидение», – як розмірковував один герой відомого кіно періоду побутування його «Рудольфом».

Тенденції розвитку масової історичної свідомості, які особливо чітко виявилися в останні роки, а також особливості постмодерного стилю мислення людини, наочно і переконливо демонструють, що конкретноісторичні уявлення без спеціальної їх репрезентації у фаховому викладі, що, здавалося б, можливо набувати через загальну освіту, стають ще більшим завданням вузів, ніж у попередній освітній епохи. Бо такий стиль мислення стає все більш і більш аісторичним. Він (стиль мислення) принципово не сприймає без спеціального тренінгу примітивну конкретноісторичну інформацію, хоча б у найпростішому «хронологічно-систематизованому» вигляді. І тому всім нам відомі хвилювання, протести, незадоволеність фактом все більшого знищення дисциплінарного історіографічного компоненту у системі навчального плану вузів, з одного боку, це може розглядатися як результат неефективної малопродуманої стратегії освітянської бюрократії, заляканої фіскальними органами, а з іншого, як це не прикро усвідомлювати, є відображенням об'єктивних тенденцій іманентно-наукового і дидактичного характеру.

Чи значить вищепередне, що вичерпаний ресурс розвитку науково-історичного пізнання в формообразах того, що ми традиційно звемо «історіографічним»? Ми не можемо дати позитивну відповідь на ці запитання, не тільки у зв'язку з нашою соціально-психологічною заангажованістю, а і через інтелектуальні переконання в тому, що ми знаходимося на етапі змін парадигмального характеру в системі

історичного пізнання, у якій історіографічному має належати достатнє поважна (хоч і не самодостатня) роль (функція), – синкрези історичної науки (історичного пізнання-знання).

Дуже важливо підкреслити, що «синтез науки» набув цілесмислове полагання лише тому, що це стало методологічною проблемою. Але таким чином метод ставав сенсом і метою. Безумовно, коли йдеться про суто методологічний дискурс, то в ньому методологічна проблематика є метою і сенсом, але у виходах на загальнонауковий вимір методологічна проблематика все ж таки знаходиться в ієрархічній системі підлегlostі головним меті, функціям, завданням. А усі вони: і предмет, і метод, і мета, і завдання знаходяться у фактично небаченому (хоча і втраченому) тяжінні магнітного поля смыслу (смыслів) пізнання.

Як відомо, з психологічної точки зору, смысл та мета не повинні ототожнюватися. Смысл науки, – «пошук» його, розмірковування щодо цього, це (якщо завгодно) – ідеал. А ідеал не та річ, яка може бути досяжною. Це не те, чого ми маємо досягати, але, й не те, що, не дай Боже, втратити. У такому аксіологічному вимірі, нам здається, що саме синкетичне сприйняття світу у науковому світобаченні є тим самим, можливо, втраченим (в том числі через науку у її модерному образі) ідеалом (смыслом).

Власно кажучи, теоретики, методологи та історики науки вже давно намагалися вийти на рівень теоретичного обґрунтування і методологічного моделювання можливостей подолання диференціації наукового пізнання-знання. Але ці намагання реалізувалися в термінах, до яких звикла наука. В її термінологічному арсеналі «синкрез-синкетичне» не розглядається як один з ідеалів науковості, більш того, суперечить саме ідеалам модерної науки. Тим більше, в постмодерній ситуації, здається, «синкрез» взагалі може вживатися лише в суто іронічному контексті. Дійсно, розвиток науки виводить, що «логика многомерности детерминирует многомерность объекта изучения... множественность ипостасей»<sup>15</sup>. Відносно науково-історичного пізнання доводити зараз можливість «множин історій» має лише просвітянське значення (не тільки для студентів, але й для частини габілітованих науковців). Безумовно, множина «наукових історій», а також їхніх дисциплінарних образів передбачає і відповідну множину історико-наукових дискурсів («історіографій»), кожен з яких, створюючи свої дисциплінарні поля, разом з тим, все ж

таки, функціонально, поки повністю «не розірве пуповину» з самою історією, історію, якої він відтворює, орієнтований на відтворення її цілісності дисциплінарно-історіографічними засобами\*. І саме тому, в умовах цієї плодючої множинності, як це не може здаватися парадоксальним, саме в умовах постмодерної ситуації виникає нагальна потреба не «збирати каміння» (що «фізично» вже не можливо, – «сізіфова праця»\*\*, – а нагадати/пригадати «сакральний Сенс їх виникнення. В такому розумінні для нас розкривається апологія «деконструкції» і відповідність їй функції «історіографічного». Парадокс і полягає саме в тому, що епоха, образ якої у свідомості розглядається як час нової епістеми, в якої, здається, немає місця аксіології «цілісного», і є епоховою «нового синкrezу».

Але, у зв'язку з тим, що немає багать інквізиції, не діють революційні трибунали та їм подібні інститути, то все ще зберігається стара наука, породжена іншою епістемою, через трансляцію і її інститутів, і дисциплінарних образів, і, головне, представників традицій. І через те, що останні вже нездатні до реальних інквізиційних акцій, а їхні антагоністи теж неспроможні виносити і виконувати вироки революційних трибуналів, відбувається нормальний конвергенційний процес адоптації «старого» та «нового», нам як сучасникам залишається лише знайти своє історичне місце у ньому, яке і полягає, з нашої точки зору, у наступному.

В періоди збагачення смислів відбулася втрата **Смислу**. І роль «історіографічного» полягає в нагадуваннях про можливе його існування і в рамках ще не втраченої дисциплінарної структури науки надавати їй «медичну» допомогу – повернення (відтворення)

---

\* Так, з власного досвіду одного з нас, у центрі уваги початкової моделі дисертаційного дослідження центральними були завдання емпірико-аналітичного характеру на рівні досить вузького, навіть герметичного дисциплінарного простору археографії як спеціальної історичної дисципліни в її обмеженому національному варіанті, в рамках певного хронологічного відрізу. Але, спроба поставити вузькодисциплінарні проблеми в контексті історіографічної ситуації, історії історичного пізнання, привели до того, що через цілісне віконце «археографічного» побачилися проблеми історичного та історіографічного пізнання в цілому. Таким чином, засобами «історії» відбулося подолання конкретно-дисциплінарних меж з виходом у загальний простір історії історичної науки.

\*\* Останнє не означає «нелегітимність» «сізіфів» сучасності.

**Смислу, Призначення, інакше кажучи, сприяти виходу на шлях наукового синкретичного світобачення.**

## ЛІТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> Нечкина М.В. История истории (некоторые методологические вопросы истории «исторической науки») // История и историки. – М., 1965. – С. 6 – 26.
- <sup>2</sup> Сахаров А.М. Методология истории и историография: Статьи и воспоминания. – М., 1981.
- <sup>3</sup> Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. – М., 1983.
- <sup>4</sup> Колесник И.И. Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. – Д., 1993; Колесник І. Методологія історії, чи історія методології: метафора історіографічного дискурсу: Зашкільняк Л. Вступ до методології історії. – Л., 1996; Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Л., 1999 // Український гуманітарний огляд. – 2001. – Вип. 5. – С. 55 – 85.
- <sup>5</sup> Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. – О., 2007; Попова Т.Н. Проблема формирования историографии как научной дисциплины: традиционные подходы и новые модели // Записки исторического факультета. Одесский государственный университет. – О., 1995. – Вып.1. – С. 3 – 45.
- <sup>6</sup> Порохов С.І. Образи університетів Російської імперії другої половини XIX – початку ХХ століття в публіцистиці та історіографії. – Х., 2006.
- <sup>7</sup> Репіна Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2006.
- <sup>8</sup> Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2007.
- <sup>9</sup> Попова Т.Н. Проблема формирования историографии как научной дисциплины. – С. 3 .
- <sup>10</sup> Там само. – С. 40.
- <sup>11</sup> Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Л., 1999; Колесник І. Методологія історії, чи історія методології...
- <sup>12</sup> Репіна Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2004. – 288 с.
- <sup>13</sup> Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). – К., 2001.
- <sup>14</sup> Болебрух А.Г., Ковальский Н.П., Колесник И.И., Чернов Е.А. О перестройке преподавания историографии в вузах // Историографическая культура студента-историка: этапы формирования, содержание, значение. – Калинин, 1989. – С. 28 – 35.
- <sup>15</sup> Попова Т.Н. Проблема формирования историографии как научной дисциплины. – С. 6.

## КУНОВСКАЯ ИСТОРИЯ НАУКИ: «МИР ПРИРОДЫ», ИЛИ «МИР ИСТОРИИ»\*

Предлагаемые размышления затрагивают, как нам представляется, некоторые «болевые точки» такой актуальной темы как «науковедение и история исторической науки». Однако, не рассчитывая на возможность в рамках данной статьи достичнуть цельности изложения, мы сочли уместным прибегнуть к столь популярной в современной научно-статьейной литературе микроочерковой жанрово-композиционной структуре.

### О возвращении долгов, или долг платежом даже историков красит

Слова, вынесенные в заголовок, могут навести на мысль, что авторы, как и другие, оказавшиеся в ситуации современного мирового кризиса (надеемся, только финансового), находятся под таким его сильным влиянием, что оно затронуло в них и сферу научного интеллекта\*\*. Однако, памятуя и признавая поэтическую формулировку: «но говорим словами теми, что нам продиктовало время» [И. Эренбург], – считаем необходимым здесь отмежеваться от «современности» с финансовым кризисом и вместе с тем заявить об ощущении-осознании своей современности с более длительным кризисом, проявляющимся в дисгармонии отношений между историей исторического познания и общим науковедением, с такой его значимой составляющей частью как историография(история) науки.

\*\*\*

До определенного момента (70-х – начала 80-х годов XX ст.) в историографических исследованиях как в особой отрасли познания в сфере истории (по крайней мере, в формате советской исторической науки) проявлялась нечувствительность по отношению к методологическим идеям, разрабатываемым в науковедческих дисциплинарных структурах, в частности, историографии науки. Тому есть множество

\* Напечатано: Харківський історіографічний збірник / За ред. С.І. Порохова. – Х., 2010. – Вип. 10. – С. 172 – 185 (соавтор Т.В. Портнова).

\*\* Представителям цеха днепропетровских историков несложно себе представить, как при определенных исследовательских подходах использование выражения «возвращение долгов» может быть с легкостью интерпретировано как проявление подсознания, в данном случае имеющего признаки не только личного, но и коллективного.

объяснений, лежащих на поверхности, хотя само состояние истории исторического познания указанного времени требует специального глубокого изучения. Из предполагаемого «множества» отметим влияние идеологических факторов, выполняющих в стиле мышления (не только того времени) методологическую функцию. Науковедческие интерпретации истории науки (даже выстраиваемые под флагом официозного марксизма), уже включали в себя осмысление концепций А. Койре, Р. Мертона, К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, С. Тулмина, П. Фейерабенда и др., которые на тот момент не могли быть актуально востребованы профессиональными историками и по неидеологическим соображениям. Такая «нечувствительность» может быть объяснена как неспособностью, или же неготовностью принимать и осваивать эти идеи, так и наличием значительного потенциала разноуровневых проблем, порожденных самим ходом изучения «истории истории», решение которых представлялось возможным еще на путях кумулятивистского видения логики научного познания с экстенсивным наращиванием конкретного историографического материала. И до тех пор, пока эти кумулятивистские подходы в истории исторического познания не вызывали сомнений и отвечали поставленным целям и задачам, авангардная для того времени методология, обсуждаемая в научоведческих кругах, не обладала достаточной степенью актуальности для находящихся «при деле» историографов от истории\*.

Граница этого «до тех пор» на теоретическом уровне начинает преодолеваться уже с 70-х годов. И конкретно-историографическим подтверждением этого преодоления является цикл теоретических статей А.М. Сахарова, в которых один из ведущих специалистов того времени в истории исторического познания уже демонстрирует го-

---

\* Считаем уместным отметить, что ситуация, в которой в советской истории исторической науки с конца 70-х годов начинают на теоретико-методологическом уровне ставиться под сомнение концептуальные основы представлений о логике развития исторического познания как неуклонного (пусть и диалектического) процесса накопления и роста знаний, сама по себе представляется весьма показательной, и впору ее (ситуацию) описывать как конгениальную логику развития научоведческой историографической мысли. В этой же связи напомним, что вышеуказанное сомнение способствовало и коррозии представлений о главной смысловой направленности историко-научных исследований, в частности представления о том, что они призваны отражать процесс развития науки.

твность к восприятию современных научоведческих концепций<sup>1</sup>, тем самым (в том числе и через авторитет своего имени) способствуя повороту советской историографии в сторону их освоения.

Таким образом, в 80-е годы, по крайней мере в советском интеллектуальном пространстве, относительно теории и методологии истории науки сложились как минимум два дисциплинарно-отраслевых дискурса<sup>\*</sup>, между которыми возникла односторонняя связь, продолжающаяся, с нашей точки зрения, по настоящее время. Подобного рода отношения на номенклатурно-бюрократическом языке ВАКовского научного социума принято определять эвфемизмом «междисциплинарные связи», за которым в данном случае демонстрируется способность и готовность историков наполнять свой теоретический багаж терминами, понятийно-категориальным аппаратом, заимствованным из разнообразных областей знания. Справедливости ради, подчеркнем, что «заимствования» историками из научоведческого арсенала теории и истории науки преимущественно не носит искусственно-наносной характер, а обусловлено уже упомянутой «конгениальностью», иначе говоря, совпадением имманентных логик развития истории естественных наук с историей исторического познания (sic!). Именно поэтому, те, кто подвизался на изучении историографии<sup>\*\*</sup>, с 80-х годов испытывают потребность полными пригоршнями черпать из научоведческой литературы идеи, концепции, термины etc. (как из «первоисточников», так и из «водопроводных сетей»), не отказывая себе в её удовлетворении. Но, несмотря на «совпадение логик», во «вненисторической» истории науки не прослеживается выход в пределы информационного пространства истории исторического познания (хотя бы на уровне библиографических ссылок)<sup>\*\*\*</sup>. Отсюда и звучащее инвективно определение: «односторонние связи». Однако, если даже в нем и есть доля ин-

---

\* Первый – история науки в концептах естественных и точных наук, второй – справедливо было бы определить как социогуманитарных, но в рамках нашего видения – исторических.

\*\* В дисциплинарных образах, сложившихся в отечественной традиции.

\*\*\* По всей видимости, такого уровня междисциплинарные связи не входят в систему ценностей в этой области знания. Исключение составляют «ренегаты», переквалифицировавшиеся в профессиональные историки или же нашедшие постоянную публикационную жилу для себя в научно-исторических изданиях.

вективности, то у неё – два адреса: один – внутренний, к нам в узком и широком смыслах – цеху историков; второй – внешний, к ним.

Правда, «они», как уже было отмечено, «нас» не читают. Поэтому второй вектор не заслуживает внимания (тем более в контексте постановки «возвращения долгов»), а более уместно сосредоточиться на первом.

В этой односторонности, с нашей точки зрения, есть еще и глубокая внутренняя подоплётка. Мы односторонни не только потому, что не наблюдается обратной связи извне, но и возможно потому, что, за редким исключением, эксплуатируем эти интеллектуальные источники хищническим способом. По отношению к ним (источникам) мы, даже если и научились культурно брать, не ориентированы на рекультивацию. Когда речь идет о культуре «брать», то имеется в виду погружение в интеллектуальные смыслы и контексты «взято-го», что для микроцеха историков исторического познания в целом представляется характерным. В то же время, относительно «рекультивации», этот же социум не формирует интеллектуальное поле, в которое могла быть втянута общая научноведческая проблематика, то есть не способствует осознанному пополнению научноведения из опыта истории исторического познания. Именно в этой связи и был поставлен вопрос о «возвращении долгов»\*. Долги человечеству переносятся гораздо легче и соответственно менее ощутимы, нежели долги человеку с конкретным именем и фамилией, даже при отсутствии у него самосознания о наличии этого долга и юридических документов, его подтверждающих. Поэтому «возвращение долгов» приобретает особенную остроту при указании личных имен кредиторов, а не обезличенного «научноведения». Применительно к тематике, рассматриваемой нами, во всем немалом списке кредиторов на

---

\* Сама по себе эта ситуация заслуживает особого анализа. Здесь же ограничимся только лишь намёками. Склонные к психоаналитической метафорике имели бы основание считать, что здесь проявляется врожденный «комплекс неполноценности» истории как науки и историков как учёных. Те же, кто сознательно не признают дискурс истории как научный, вполне последовательно не испытывают потребности вписываться в научноведение, тем более своей «art-когнитивностью» его пополнять. Акты же потребления рассматриваются как форма тропики. И все же, главным представляется вполне комфортное пребывание в ситуации вторичности по отношению к естественным и точным наукам, что совершенно необязательно рассматривать как проявление комплексов.

наш взгляд особенно выделяется Томас Кун, с «банковского счета» которого, функционирующего под кодом «Структура научных революций», были сняты ипущены в многократный оборот ряд ключевых категорий. Среди них, например, термин «парадигма» по частоте использования и, что особенно симптоматично, по множественности смыслов, может наверно конкурировать со словом «снег» у некоторых коренных народов Севера\*.

Долги такого масштаба в принципе в некотором смысле освобождают от возвращения, и должникам остается только лишь в лучшем случае каяться перед кредиторами.

Однако, в сценарий «возвращения» нами закладывается не реституционный смысл, а убеждение, что прошлое время, когда «они», сами того возможно не ведая, работали на «нас», и есть основание полагать, что «мы» осознанно имеем возможность-обязанность работать на «нас-их». Под этой местоименной формулой скрывается обновленное обще-интеллектуальное поле науковедения.

«Возвращение», применительно к Куну, это попытка найти для его методологии истории науки подлинную, если можно так выразиться, эпистемолого-онтологическую почву.

### О разбегании галактик во вселенной познания

Признаемся откровенно, что с трудом удержались от соблазна назвать предлагаемую часть размышлений «Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин» (А. Дольский). И хотя в этой краткой бардовской формуле содержится значительный эпиграфический смысл, вынуждены были отказаться от неё, так как осознали, что безнадежно завязнем в трясине дискуссий по поводу распределения гендерных ролей между эпистемологическими «мирами» природы и истории\*\*.

---

\* Здесь уместно привести казусный пример: один из авторов этой публикации в начале 90-х годов умудрился в тезисах к докладу объемом менее одной страницы 8 (!) раз употребить слово «парадигма», при этом проявив редкую «авторскую глухоту», не заметив столь высоких достижений в стилистике научных текстов. Излишним педантизмом считаем здесь библиографическую ссылку, а вот необходимым – указание на то, что это «достижение» было зафиксировано и вербально «поощрено» доцентом Н.Д. Мартыновым.

\*\* Дарим эту проблему коллегам, интеллектуально чутким к сквозной проблематике «инь-янь» в версии «кто кого»...

«Разбегание галактик...» (если продолжать оставаться в пределах предложенных метафор) есть исходная точка для последующих рассуждений, так как размежевание между областями познавательной деятельности, направленными на «мир природы» и «мир истории», есть факт, который не без удовольствия многократно обоюдно констатировался. И если еще в позитивистско-ориентированных идеологии науки такого рода размежевание не получает полной легитимации, то иные или же разделяют их на типологических уровнях, или же на универсально-методологических, оставляя при этом под общим именем науки. Правда, в течении XX столетия неоднократно звучали призывы, суть которых кратко можно было бы свести: «К ойкуменической науке».

Антрапологический поворот, охвативший в той или иной степени все основные области жизнедеятельности в системе западного ценностного мира, мог/может рассматриваться как движение в этом направлении. Но даже если бы в настоящий момент сложилась, с когнитивной точки зрения, абсолютно благоприятная возможность взаимных «межгалактических контактов», то на их пути оставались бы непреодолимые социальные (институциональные)\* заторы.

Не вдаваясь в дискуссии по поводу «научности/ненаучности» исторических наук, зададимся только двумя довольно старыми вопросами: является ли история наук(и) наукой? и, в свою очередь, – история наук(и) – историей? Несложные упражнения в силлогистике дают при попытках системно отвечать на эти вопросы достаточно забавные картинки для погружающихся в указанную дискуссию\*\*. Но эвристическая ценность этих картинок для нас заключается в репре-

---

\* Говоря о «социальном/институциональном», следует учитывать, что в них латентно (а может быть и не очень) заложены (присутствуют) в качестве структурно-влияющих факторы когнитивного, по своему происхождению, характера. В терминах М. Фуко, это можно описывать как «власть знания», в более же актуальных для данного контекста терминах Т. Куна – парадигма, особенно в интерпретациях его «Дополнения 1969 года» (Кун Т. Структура научных революций. – М., 2002. – С. 224 – 268).

\*\* И все же профессиональная этика историка с ее представлениями о такте историка заставляет нас вспомнить, что приговор/поощрение (?) истории как «ненауке» связан в нашем сознании с именами таких корифеев мысли и не последними именами в истории логики как Аристотель и Декарт.

зентации через них имени «особой галактики» во «вселенной познания» – история науки/познания.

Очевидно, что с таким «астрофизическим открытием» вряд ли будет перспективным обращение в Комитет Нобелевской премии по науке, а в Комитет Нобелевской премии мира (то есть не в Стокгольм, а в Осло), кажется, есть определенные основания для претензий. И в разъяснительной записке<sup>\*</sup> было бы необходимым отметить, что речь идет не об открытии самой «галактики» под таким именем, а – ее миротворческих функций в системе «межгалактических отношений...».

И уже без иронии, и даже не без пафоса подчеркнем, что действительно история науки – та область, через которую создаются условия для равновесного научоведческого диалога между «физиками» и «лириками».

Маловероятно, что историки науки «с той галактики» с готовностью примут «ненаучный» статус. Но уже Т. Кун в саморефлексиях по поводу движения собственных интеллектуальных интересов от pragматическо-интерпретируемой истории физики к пониманию сущности логики научного познания средствами истории дает основание полагать, что подвергался в этом движении профессионально-му дрейфу к философии/истории<sup>2</sup>. И хотя нам, к сожалению, неизвестен весь корпус его историко- и теоретико-научных текстов, а также эго-материалов, связанных с его именем, но и в доступном для нас информационном поле через Томаса Куна наглядно демонстрируется сложность (межумочность?) историко-научного дисциплинарного пространства. А сам Т. Кун как теоретик-историк науки и методолог историко-научного познания собственным опытом наметил пути сближения «разбегающихся галактик».

Так как отмеченная информационная ограниченность не позволяет нам с претензиями на обоснование раскрывать последний тезис психобиографическими средствами, то попытаемся аргументировать его через осмысление куновских конструкций исторической логики развития науки. Понятийно-категориальный аппарат (не только предложенный, но и примененный Т. Куном в историко-научной практике) и сконструированная им модель общего хода развития науки, с одной

---

<sup>\*</sup> Пусть простят нас за возможные документоведческие неточности. Пока не имеем опыта.

стороны, обладают привлекательными чертами для исследователей (в том числе, возможно, и по причинам их «высокоэкономичности»); с другой, вызывали и продолжают вызывать методологические, психологические сомнения в их адекватности объекту, смыслу и цели познания. Относительно последнего, небезинтересным представляется зависимость его определения от дисциплинарной оптики: для неисторика, изучающего историю науки, объектом является наука, а для историка – история науки. Т. Кун же, избрав для себя «историческое» как главный метод в познании логики науки, попадает в дисциплинарные сети истории. В результате, он обнаружил, по собственному признанию, все большее дистанцирование между бытующими в самой социальной среде науки и разделяемыми им до этого представлениями о сущности и логики процесса научного познания, и той картиной-образом, формирующими как результат системно-организованных историко-научных штудий<sup>3\*</sup>. Подобное различие не вызвало бы особого удивления у исследователя с профессиональной подготовкой и опытом историка, так как историк постигает множественность логик не по У. Куайну и другим. Особая логика истории раскрывается для него, как «диалектика» для В. Маяковского и его лирических героев.

В своих историко-научных построениях Т. Кун возможно как никто из негуманитариев-историков (в рамках нашей эрудиции) переоткрывает для себя сущность исторического не в утилитарно-прагматическом его толковании. Но, как нам кажется, Т. Кун «Структуры научных революций» – конструктивист в методологическом отношении, претендующий (осознанно или нет (?)) на историческую реконструкцию.

Это противоречие между методологическими парадигмами и идеалами научности, особенно характерно для сциентистски-ориентированного исторического познания в его осознанных непо-

---

\* Характерно, что когда Т. Кун и другие неисторики, занимающиеся историей науки, вышли на построение мета-исторических моделей её изучения, на генерализирующую историю науки, в этот же период в сфере собственно исторического познания будет наблюдаться поворот в совершенно противоположном направлении, за исключением истории исторического познания, что служит иллюстрацией на тему вышеотмеченной нами «конгениальности логик».

зитивистских ответвлениях, хотя, по всей видимости, не имеет такой остроты в естественно-научных областях знания.

Приведенные наблюдения осуществлены не с методологических позиций «куноцентризма». Их исходная методологическая позиция – вышеупомянутая «особая галактика во вселенной познания», «открытие» которой связано с поиском центростремительной силы, уравновешивающей действие сил, приводящих к «разбеганию галактик». И в качестве тезисного результирующего итога этих наблюдений предлагается утверждение, что история науки *a la Кун и «на входе»*, и *«на выходе»* в профессионально-дисциплинарном отношении есть не больше и не меньше, чем **история**.

### **История науки как «трамвай желания» «будущей весны эпистемологии»!?**

Последовательные адепты известного постмодерного извещения о «смерти Автора» могут не без удовлетворения рассматривать формулировку этого заголовка как свидетельство, что смерть Его имеет не только внешние (Читательские), причины, но и внутренние – суицидные («авторское» в данном случае демонстрирует очевидные «суицидальные» признаки – при мало-мальском сохранении «воли к жизни» после «галактической темы», не мог бы появиться «трамвай»). Но при всей случайности и кажущейся стилистической неуместности, его вторжение в текст обусловлено не действием стихии письма, вышедшей из-под Авторской власти, а в некотором смысле властью над нами метафоры, примененной в одной из публикаций Н.С. Розова<sup>4\*</sup>, властвование которой обусловлено не её яркостью, а близостью замысла (читай, «желания»), после чего «трамвай» уже был неизбежен\*\*.

\*\*\*

Таким образом, подходя к завершающей части размышлений (в терминах «замысел/желание») мы подходим к основной идее, кото-

---

\* Пользуемся случаем поблагодарить профессора Анатолия Григорьевича Болебруха за информационную поддержку нашей работы.

\*\* Но если на Н.С. Розова читатель имеет определенные основания возложить определенную долю вины, то Теннеси Уильямс только лишь жертва. И все же, «трамвай» вполне представляется уместным, как межгалактическое транспортное средство во «вселенной познания».

рая служит для нас главным оправданием предложенной темы. При этом, вербальная формула «желание» представляется более отвечающей нашим идейным посылам, нежели – «замысел». Суть этого желания – способствовать **преодолению** разрывов между отдельными областями/отраслями познания/знания. Выделение слова «преодоление» служит подчеркиванию его концептуальности. Именно через преодоление, опираясь на существующие сложные и разветвленные познавательные системы, видится путь к ликвидации или же хотя бы минимизации разрывов. Но тогда с очевидностью, мыслящие в подобных категориях переоткрывают для себя универсальную роль исторического компонента в познании.

### **История как религия, как связующее вещество...**

О. Шпенглер в свойственном для него профетическом тоне, на наш взгляд, высказался, почти век тому назад, на эту тему наиболее ярко и ёмко: «Мир-как-история, понятый, увиденный, оформленный из своей противоположности, мира-как-природы, – вот новый аспект человеческого бытия на этой планете, выяснение которого во всем его огромном практическом и теоретическом значении осталось до сегодняшнего дня неосознанной, возможно, смутно ощущаемой, часто лишь угадываемой и никогда еще не осуществленной задачей со всеми вытекающими из нее последствиями<sup>5</sup>. Одним из неуказанных О. Шпенглером последствий есть то, что «мир-как-природа» может быть понят через «мир-как-история». Не претендуя на профетизм, тем более шпенглеровского масштаба, не беремся утверждать, что это «новый аспект человеческого бытия...», но рискуем развить собственное предположение, что наука, сущность которой пытались и пытаются постигнуть историческими средствами через историю науки, требует постижения самой истории науки как истории.

Может сложится впечатление, что в этом предположении авторы «ломятся в открытую дверь» и впору указать им, что с этим никто и не спорит ввиду отсутствия предмета спора...

И все же, если более внимательно начать вчитываться в историко-научный дискурс, то обнаруживается по этому вопросу, даже без сверх-поисковых усилий, проблемное предметное поле, проявляющееся еще с середины прошлого столетия, например, в теоретических обоснованиях и историко-научной практике Дж. Сартона с его ориентацией на историзацию (в дисциплинарном смысле) истории

науки и дискуссиями с такого рода подходами. Характерно, что один из таких строгих аналитиков сартоновских подходов к истории науки как Т. Кун, критика которого носила по отношению к ним антикумулятивистскую, антиописательную направленность, не отвергал саму идею историзации (гуманизации), а только лишь – адекватность для истории науки определенного типа мышления<sup>6</sup>. Сам же Т. Кун в своих историко-научных построениях вышел на уровень социологического, проблемного научно-исторического стиля мышления. По крайней мере, свидетельством проблемности для Т. Куна соотношения истории науки и истории является его статья «*The Relations between History and History of Science*», опубликованная в 1971 г.\* В такой проблемной постановке Т. Кун интересен нам демонстрацией, что мир истории науки для него только лишь пунктирно связан с миром истории. Объективности ради, отметим, что тем самым он вписывается в субдискурсивное поле, общее для историков науки – неисториков. Очевидно, что в этом «поле» доминирует представление о «ненаучности» истории как особой области знания. Как уже было отмечено, мы не склонны здесь вести прямую дискуссию по этому вопросу (в том числе и по причинам профессиональной скромности, не позволяющей льстить собственной профессии, что она «ненаука»), заметим только, что история науки в предметно-методологической плоскости тождественна по степени научности/ненаучности истории исторического познания. И в том, и в другом случае рассматриваются процессы, связанные с генезисом, становлением, развитием познающей мысли, направленной на различные объекты познания, с идентичными целями. Особенно эта тождественность проявляется в тех моделях историко-научного познания, которые исходят из представлений о взаимосвязанности собственно когнитивного с социокультурным в феномене науки, научной деятельности. А именно такое понимание и выводил Т. Кун в своих историко-научных изысканиях, позволивших ему претендовать на раскрытие общей логики развития науки.

Для историка исторического познания стремление оставаться в пределах «филиации чистых идей», во-первых, является с очевидностью методологической утопией, во-вторых, не воспроизводит

---

\* К сожалению, оригинальный текст статьи для нас остался недоступным и представление о ней черпаем из «вторых рук» (Маркова Л.А. Наука: история и историография XIX – XX вв. – М., 1987.).

интеллектуальную ситуацию дисциплинарно-«неисторического», что, кстати, вполне может распространяться и на имманентно-интерналистские подходы к истории науки вообще.

В завершении, считаем необходимым подчеркнуть, что, на наш взгляд, «абберация зрения» тех историков науки, которые рассматривают эту сферу познавательной деятельности как «мир природы», связана с особенностями понимания сущности исторического как прошедшего, как ставшего, а не ставшего-становящегося. На философском уровне те историки науки, которые не стоят на принципиально попперианских позициях (например, Т. Кун), конечно, признают эту специфику исторического времени. Однако, сформировавшиеся в естественно-научном стиле мышления, они находятся в плену (не скажем «стереотипа») парадигмы, в которой история (признаваемая и историками как метафора прошлого), воспринимается ими по преимуществу как ушедшее. Выражаясь дидактическим языком, перед историками исторического познания и стоит задача проложить интеллектуальные коммуникации к нашим контрагентам по изучению истории познания через дисциплинарное поле науковедения, с помощью которых позволим им приобрести совместную с нами профессиональную идентичность.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Сахаров А.М. Методология истории и историографии. Статьи и выступления. – М., 1981.

<sup>2</sup> Кун Т. Структура научных революций. – М., 2002. – С. 13 – 20.

<sup>3</sup> Там же. – С. 13

<sup>4</sup> Розов Н.С. «Осень» и будущая «весна» эпистемологии: перспективы номологического синтеза в социальных науках // <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001100/index.shtml>

<sup>5</sup> Шпенглер О. Закат Европы. – Т. 1. Очерки морфологии мировой истории. – М., 1993. – С. 131.

<sup>6</sup> Маркова Л.А. Наука: история и историография XIX – XX вв. – М., 1987. – С. 141 – 142.



## РОЗДІЛ 4

# ІСТОРИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭССЕ



## НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЛИ? (ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

[Январь 1989 г.]<sup>\*</sup>

Социальные психологи, экономисты, занятые изучением проблем свободного времени в Советском Союзе, несомненно, отметят или уже отметили, что в конце 80-х годов львиную долю «свободного времени» занимало у значительной части населения чтение газет и журналов. Нет, я нисколько не пытаюсь отнять «заслуженную пальму первенства» у нашей родной и до боли близкой нам «очереди» – лидерство ее несомненно (чуть не написал, что обеспечено на многие годы). Но, во-первых, «очередь» – величина стабильная, а читательский интерес к периодике, – скачущий, во-вторых, «очередь» всегда была не только переругивающейся, но и читающей. С той лишь разницей, что, если в недавние годы «королями» читающей части очереди были Юлиан Семенов, Валентин Пикуль и зарубежный детектив, то в настоящее время безраздельно господствует ее величество Периодическая Печать. Однако это торжество прессы приводит к тому, что даже стоящие в самых длинных очередях не в состоянии охватить все важное и интересное, широко предлагаемое газетами и журналами всех уровней. Боюсь, что в этом потоке могла затеряться газета «Зоря» от 30 декабря прошедшего года. Если это так, то не поленитесь отыскать ее в кипе газет, предназначенных для получения заветного талона, не постесняйтесь потревожить знакомых, не сочтите за труд, и несмотря на занятость, урвите каких-нибудь полчаса и загляните в ближайшую библиотеку. Кстати, можно, заняв очередь в ЦУМе за дефицитом (порошки, мыло...), часть неизбежного простоя провести, сидя в читальном зале напротив<sup>1</sup>. В любом случае, так или иначе, прочтите очерк «Несправедливість» известных днепропетровских историков Ю.А. Мыцыка и А.М. Черненко.

Изгнание в 1933 г. Дмитрия Ивановича Яворницкого из исторического музея, фактически созданного им, – главная сюжетная линия очерка. Хочется поблагодарить уважаемых авторов за то, что они,

---

<sup>\*</sup> Напечатано: Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д., 2001. – Вип. 2. – С. 717 – 726.

проделав большую изыскательную работу, приоткрыли завесу еще над одной «черно-белой» страницей нашей истории.

Конечно, искушенному читателю судьба ученого, снятого с поста директора музея, не покажется такой уж страшной:

«Ведь не в тюрьму и не в Сучан,

Не к высшей мере...

И не к терновому венцу колесованьем...»<sup>2</sup>

«Подумаешь, – скажет такой искушенный читатель, – отстранили старика» от **должности**, «спустили» на него газеты, приклеили несколько ярлыков, оболгали в доносах, некоторое время (4 месяца) продержали без академической стипендии, однако, дожил свой век в благоустроенном собственном доме в очень престижном районе нашего города...»

Однако цель авторов очерков была не поразить читателя, а, поведав ему (нам) о судьбе одного из крупнейших деятелей науки и культуры, продолжить (как это не покажется странным) борьбу за утверждение в сознании людей уважения к имени и памяти Дмитрия Ивановича Яворницкого, борьбу за реанимацию нашей памяти.

Но автор этих строк имеет возможность выразить свою благодарность и не столь громоздким способом. Взяться же за перо меня заставили некоторые соображения полемического характера, возникшие в процессе чтения рекомендованного очерка. Своего рода – заметки на полях.

Не берусь последовать призыву А.М. Черненко и Ю.А. Мыцыка «поставить все точки над «и», однако, рискну очертить некоторые «и», которые видятся мне несколько по иному, чем они могут показаться после прочтения очерка.

При всем искреннем сочувствии к судьбе Дмитрия Ивановича Яворницкого, при всем понимании каким ударом для него было «отлучение» от собственного «детища», я не вижу «несправедливости» в самом акте «изгнания». Если даже не учитывать царившую атмосферу клеветы и доносов, если даже забыть, что значительная часть партийного и советского руководства на всех уровнях, а также рядовые члены партии и комсомола напряженно относились к «бывшим», к проявлениям всего, что им казалось национальной ограниченностью, если даже допустить маловероятное, что у человека типа Д.И. Яворницкого не было *своего* отношения ко всему, что принес-

ла революция, и что оно (отношение) может уместиться в короткую апологетическую цитату<sup>3</sup>, приводимую в очерке, – то все равно конфликт был неизбежен.

Для Яворницкого музей – это собрание духовных и материальных ценностей, научное и культурно-просветительское учреждение, и несомненно личное, если хотите, глубоко интимное дело. У него были свои излюбленные темы, свои подходы, своя концепция истории и музея. И эти подходы, эта концепция находилась в глубочайшем противоречии с утверждавшимся взглядом на историческую науку, тем более на музей как на одно из действенных идеологических орудий, призванных стрелять в одном направлении: как было плохо «до» и соответственно прекрасно «сейчас». Рядовой посетитель музея должен был выйти не столько просвещенным и обогащенным, не столько поднятым на новый эстетический уровень и уже совсем ни в коем случае не мучаемый вопросами, а сколько убежденным, что классовая борьба угнетенных против угнетателей была чуть ли не единственным содержанием истории, в т.ч. и нашего края. Музей должен был превратиться в собрание вещественных иллюстраций, лозунгов, отдельных высказываний, плоско понимаемой, а зачастую извращенной философской доктрины. Соответственно требовалась новая генерация музейных работников – солдаты идеологического фронта.

В связи с этим уместно задуматься: далеко ли мы ушли от этих требований к музеям? Сколько бы дней продержался музейщик типа Д.И. Яворницкого, если бы даже он попал в номенклатуру, в качестве руководителя музея? Сколько бы крови попортили ему, дергая с разных сторон, указывая, что недостаточно освещены достижения, руководящая роль как «организации» в целом, так и ее отдельных лидеров, не отражено тяжелое положение... и т.д. Вы можете себе представить Д.И. Яворницкого в качестве руководителя «солдат» одного из подразделений на «фронте идеологической борьбы», солдат, с десятилетиями все чаще походивших на «оловянных солдатиков»? Список вопросов, к сожалению, может быть продолжен, но не вижу необходимости в его перечислении, так как они по сути риторические.

Так, что в случае с Д.И. Яворницким и в 1924, когда его сняли с заведывания губархивом, и в 1933 тем более – «справедливость» восторжествовала. И с связях с Шумским его обвиняли вполне справед-

ливо. Сторонник подъема украинской национальной культуры, нарком просвещения УССР в 20-е годы (до 1928 г.), Шумский, конечно, ориентировался на тех, с кем можно было поднимать уровень науки, образования и культуры на Украине<sup>4</sup>.

Теперь остановимся на вопросе об «украинском буржуазном национализме». Авторы очерка обрушаются на «обывателей», для которых Яворницкий украинский буржуазный националист. Мне кажется, не заслуживают праведного гнева и иронии по этому поводу наши обыватели. Они скорее грешат незнанием, кто такой Яворницкий и нежеланием знать. Во всяком случае, не рядовой обыватель отдавал распоряжение разбрасывать типографский набор собрания сочинений, далеко не рядовой обыватель создавал такую обстановку, при которой даже историки, давно разобравшиеся «пахнет» или «не пахнет» национализмом от трудов Д.И. Яворницкого, не находили возможным, хотя бы в стиле Джанни Радари, поговорить с «обывателем» о «запахах»<sup>5</sup>. Ну и уж, конечно, далеко не рядовые обыватели давали заключения от весьма представительных органов о Д.И. Яворницком уже в 80-е годы, почерпнутые из газетных, а может быть и архивных источников 30-х годов<sup>6</sup>. Так, что простим обывателя. Прочтет он вашу статью, а там смотри, уже и не будет так говорить. Главное, по-видимому, чтобы она была – **написана, отослана в редакцию и опубликована**.

Вступив в диалог с обывателем, с моей точки зрения, авторы несколько увлеклись, решив поговорить с ним на языке близком ему и понятном. Только этим можно объяснить вполне серьезно приведенное утверждение о том, что И.Е. Репин, В.А. Гиляровский, В.О. Ключевский не считали Д.И. Яворницкого украинским буржуазным националистом. Вообще признаться вызывает удивление, как в связи с темой очерка, удалось авторам «проехаться» по С.М. Соловьеву и В.О. Ключевскому. Мысль их ясна: Д.И. Яворницкому неоднократно инкриминировали национализм, апологетизм Запорожской Сечи и т.д., поэтому замалчивали и не печатали, но у С.М. Соловьева и В.О. Ключевского можно найти и «не такое», однако, продолжают печатать. При этом трафаретный ярлык буржуазного национализма однозначно снимается с Д.И. Яворницкого, а уж совсем спорный аналогичный ярлык в отношении С.М. Соловьева приводится без комментариев<sup>7</sup>. Непонятно также, почему издателей трудов С.М. Соловьева в совет-

ское время должен был пугать отказ историка казакам (запорожским и дунайским) в прогрессивности. Как человек, не сумевший податься на собрание сочинений С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, я тайно надеюсь, что кто-нибудь из читателей «Зори», убежденный в несомненной прогрессивности казачества, дабы не осквернять себя, откажется от подписки на С.М. Соловьева<sup>8</sup>.

Роль Д.И. Яворницкого в создании коллекции нашего исторического музея невозможно переоценить, но подчеркиваем мы ее иногда несколько комическим образом. Действительно ученому удалось сбрать уникальную коллекцию по истории запорожского казачества и раннего Поднепровья, но гордиться тем, что она была самой большой в мире вряд ли целесообразно. Спрашивается, а где в мире вероятней всего, особенно в начале XX века, могла быть собрана такая коллекция? Я бы никогда не остановился на этом, если бы не одно немаловажное обстоятельство. В те годы, когда отстраняли Д.И. Яворницкого, только набиравшей по настоящему силы украинской культуре был нанесен такой сокрушительный удар, что она оказалась тяжело больной на многие годы. Одним из самых устойчивых симптомов этой болезни является провинциализм. Один из ярких признаков – ребячество, элементы детской гордости (у моей мамы самая большая нога в мире).

И, наконец, последнее, если читателю вначале попадутся эти субъективные заметки, то, повторяю, непременно отыщите газету и прочтите очерк «Несправедливість». В связи с этим может возникнуть вопрос: Чем руководствовался автор, направив статью не в «Зорю». Во-первых, я искренне хочу расширить круг читателей «Несправедливості», во-вторых, солидарен с теми «горе-историками», против которых еще совсем недавно «Зоря», в лице ее неизменного главного редактора, вела борьбу, вызвавшую чуть ли не международную поддержку (письмо из Монголии) у определенной (воздержусь от ярлыков) части читателей. Идейный плюрализм как общественное явление – несомненное наше достижение, которое досталось нам немалой ценой, но должны же быть границы плюрализма у людей, достигших уже зрелого возраста. Правда, Д.И. Писарев, в ответ на упреки в связи с частым изменением взглядов, говорил: «Я развиваюсь!»<sup>9</sup>.

Интересно, если сейчас еще живут среди нас, например, «доброхоты» Д.И. Яворницкого, то развиваются ли они и развились ли они настолько, чтобы совершить акт публичного покаяния?<sup>10</sup> Тогда действительно можно было бы поставить точки на некоторыми «и»!

*Е. Чернов,  
преподаватель кафедры историографии и источниковедения  
госуниверситета.*

## ПРИМЕЧАНИЯ 2001 г.

<sup>1</sup> Весь этот абзац не требует особых пояснений, но трудно удержаться от констатации, как изменились приметы нашей жизни. Фактически исчез «дефицит», публика перестала быть «читающей», ну, а «периодическая печать» свергнута с престола.

<sup>2</sup> Цитата из А. Галича «На смерть Пастернака».

<sup>3</sup> Типичная для того времени, сохранившаяся и в настоящем, аргументация «незаслуженности» репрессий со стороны советской власти. Мое представление, сейчас переросшее в убежденность, что подавляющее большинство репрессий было исторически справедливыми.

<sup>4</sup> Дань времени – имя Шумского стало тогда очень популярным. Сейчас мне кажется это немного смешным и аргументы авторов, и собственные публицистические выверты.

<sup>5</sup> Попытка призвать к «покаянию», чтобы мы историки взяли «ответственность» на себя. Особое раздражение вызвало тогда то, что, во-первых, Яворницкому вообще отказывают в «национализме», во-вторых, авторы обрушивались на «обывателей», а словосочетание «буржуазный национализм», мягко выражаясь, употреблялось ими неоднократно и изустно, и печатно, даже в тех случаях, когда в этом не было особой необходимости.

<sup>6</sup> Намек на известный и Черненко, и Мыцыку факт: в начале 80-х годов при реэкспозиции мемориального дома-музея Д.И. Яворницкого из КГБ была получена справка о нем, составленная на основе дела начала 30-х гг.

<sup>7</sup> Это оказывается была «проба пера» авторов, для которых классики российской историографии и российской мысли станут излюбленными объектами критики. В этой критике и тогда, и позже, ощущалась идеологическая заданность.

<sup>8</sup> И это место уже требует по-видимому комментариев. Подписка на «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина, на 18 томов сочинений С.М. Соловьева и 9 томов сочинений В.О. Ключевского была труднодоступной. Как издательство можно рассматривать тот факт, что на кафедрах исторического факультета устраивались лотереи, разыгрывающие по одному экземпляру подписки (1 – Карамзин, 1 – Соловьев, 1 – Ключевский на каждую кафедру). Вместе с тем она была доступна многим «допущенным к столу», поэтому я считал организацию подобных «лотерей» и участие в них явлением позорным.

<sup>9</sup> Редактор газеты «Зоря» Г. Бурейко сумел стать тогда «всесоюзной знаменитостью» своими попытками выступить против «очернителей», «горе-историков, роющихся в мусорных ямах», но, по-видимому, к концу 1988 года такая позиция уже не отвечала «моменту».

<sup>10</sup> Это вполне конкретный намек, но расшифровать его и сейчас было бы безнравственно.

## КОММЕНТАРИЙ ОТ АВТОРА

[Январь 2001 г.]

Заметки, которые опубликованы выше, были написаны и подготовлены к отправке в одну из днепропетровских газет в первых числах января 1989 г. Они (как это видно из содержания) были моей непосредственной реакцией на опубликованный в газете «Зоря» (тогда официального органа Днепропетровского обкома КПУ и облисполкома, издавшегося на украинском языке) очерка «Несправедливість», авторами которого были профессор кафедры истории КПСС Днепропетровского госуниверситета Анатолий Михайлович Черненко и тогда еще доцент кафедры всемирной истории Юрий Андреевич Мыцык. Для того, чтобы понять, почему эти заметки так и не были опубликованы и почему я вдруг счел необходимым их публикацию в настоящее время, необходимы некоторые пояснения мемуарного характера. Потому заранее прошу прощения у читателей за то, что персона автора неизбежно окажется в центре их внимания.

Конец 1980-х годов ознаменовался тем, что слова «перестройке нет альтернативы» (если не высказанные, то озвученные М.С. Горбачевым) стали приобретать характер не только очередной идеологической кампании (как это могло казаться в начале). Ей уже действительно не оказалось альтернативы, потому что она («перестройка»), или то, что называлось этим именем, начало носить неуправляемый характер. И, хотя еще все структуры занимали насыженные места, и, хотя они еще по инерции продолжали воспроизводить традиционные формы жизнедеятельности советского общества, однако, как говорил тот же М.С. Горбачев: «Процесс пошел». Причем, добавим, что к 1988 году он «пошел» уже так, что, несмотря на отчаянные попытки определенных кругов его остановить, он стал приобретать радостно-зловещие черты неизбежности. Одним из следствий этого ощущения

необратимости стал поиск новой партийно-идеологической идентичности даже теми, кто казалось вполне подходил под определение Юрия Афанасьева: «Попы марксистского прихода». Эти изменения не могли не затронуть и сферу днепропетровских историков, главной «епархией» которых был и остается исторический факультет университета, возглавляемый на протяжении многих лет до 1987 года включительно, увы уже покойным (недавно ушедшим из жизни), профессором А.М. Черненко.

Личность Анатолия Михайловича заслуживает особого очерка и воспоминаний, поэтому ограничусь только тем, что, на мой взгляд, проф. Черненко, несмотря на все кажущиеся идеологические метаморфозы (особенно в последнее десятилетие его жизни), был всегда «государственником», в том смысле, что искренне стремился быть наиболее радикальным выразителем официальной государственной идеологии. Я далек в этих словах от иронии, так как речь идет не о человеке «пасущем задних», а о той генерации сравнительно сильных профессионалов, которые совершенно убежденно рассматривали историю как «служанку идеологии», не испытывая при этом ни дискомфорта, ни даже малейшего сожаления по этому поводу. Собственно и без всякой «перестройки» на историческом факультете ДГУ подспудно, а иногда и явно, стилистическое размежевание шло по этой черте (мне уже приходилось об этом писать). И, если относительно А.М. и его позиции по этому вопросу сомнений быть не могло, то тогда еще были основания надеяться, что Юрий Андреевич Мыцык, носитель другой профессиональной ориентации, что для него «момент истины» важнее кажущихся «истин момента». Поэтому появление газетного очерка в таком, как тогда казалось, причудливом соавторстве было уже само по себе неожиданностью, вызвавшей значительный кулачный резонанс. Но главный резонанс вызвал сам очерк, который, судя по моим тогдашним наблюдениям, был встречен в основном с огромным интересом и высокой оценкой. Он расценивался как вклад днепропетровских профессионалов-историков в уничтожение «белых пятен», в «восстановление исторической правды и справедливости», как один из ответов на общественный вопрос: «а где же наши историки?». Как положительный результат начавшейся борьбы за «открытие архивов». Во многом интригующей для тех, кто следил за полемикой в периодике, была публикация этого очерка именно в газете «Зоря», которая прославилась как орган, ведущий

(по меркам того времени) с ретроградных позиций борьбу против «перестроечников». И именно Анатолий Михайлович Черненко был одним из тех, кто повел атаку на эти позиции газеты и ее главного редактора.

Все эти привходящие обстоятельства, конечно, влияли на мое отношение к очерку «Несправедливість», но главное заключалось в его содержании, которое вызвало тогда у меня резкую реакцию преимущественно негативного характера, так как усмотрел в этом типичное (как мне тогда, во всяком случае казалось) проявление двух неприемлемых тенденций: первая, – подменить процесс углубленного (желательно «до донца») раскрытия сущности советско-партийной системы косметической операцией пересадки кожи с центральных частей тела на лицо и наоборот (кампания «от критики сталинизма к разоблачению сталинщины»), вторая – стремление избежать покаяния в абуладзевском смысле, заменив его «переодеванием». Кроме того, было болезненное предчувствие, навеянное, наверное, чтением Бердяева, «грядущего нового Хама», который в отличие от времени великих революционных потрясений будет не «новым», а опять же переодетым, например, в «национальные одежды». Мне казалось тогда, и кажется и сейчас, что авторы очерка подали интересный для того времени материал, отдав значительную дань тому, чему не находил и не нахожу другого определения как пошлость.

Между тем, немалую роль играл, конечно, и личностный фактор – немедленная реакция в письменной полемической форме была способом самовыражения, создающая «эффект» активного участия, что составляло значительное содержание моей тогдашней жизни. Но написанное во многом не удовлетворяло, и поэтому не было стремления к публикации. Но эту заметку я не только написал, но и подготовил к публикации (собирался отправить в «Днепр вечерний» или в «Прапор юності»). Однако так и не отправил. Причина – опасение оказать хотя бы мало-мальскую услугу тем, кто уже начинал обвинять Ю.А. Мыцыка в украинском национализме. И хотя я прекрасно понимал, что эти опасения напрасны, но, когда Сергей Николаевич Плохий, который тогда был молодым заведующим кафедрой всеобщей истории, и с которым мы поддерживали приятельские отношения, высказал после ознакомления с машинописным текстом заметки эти же опасения, то я решил отправить ее не в редакцию газеты, а в «шухляду». Почему же решил извлечь? Во-первых,

перечитав ее, увидел вдруг, что многие моменты, еще казалось бы недавнего прошлого, выглядят сейчас удивительными, а, во-вторых, напротив, несмотря на все колоссальные изменения, то, что разделяло тогда, разделяет и сейчас, с той лишь существенной разницей, что не удивляет. И мне показалось, что для предлагаемой рубрики в данном сборнике\* этот материал соответствует. Если читатель сейчас знакомится с этими строками, значит, есть основания на освободившееся место в «шухляді» положить что-то новенькое.

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ В 80 – 90-Е ГОДЫ XIX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» ЗА 1880 – 1899 ГОДЫ)\*\*

С появлением работ Р.А. Киреевой<sup>1</sup>, исследующей становление и развитие историографии как самостоятельной исторической дисциплины, стало очевидно, что последние десятилетия XIX в. были качественно новым этапом в истории отечественной историографии. Однако историко-историографическая ситуация 80 – 90-х годов прошлого столетия представляется нам еще недостаточно выясненной. В частности, почти не рассмотрена роль русской научно-исторической периодики в становлении и развитии историографии как науки. Между тем, если считать выводы Р.А. Киреевой верными, этот процесс не мог не найти отражения на страницах исторической журналистики, являющейся неотъемлемой структурной частью активно формирующейся системы исторической науки в России.

В данной статье предпринимается попытка проанализировать историографические публикации, появившиеся в журнале «Исторический вестник» (в дальнейшем – ИВ) за первые двадцать лет его издания в 1880 – 1899 гг. (издавался журнал до 1917 г.). Хронологические рамки обусловлены представлениями об эволюции

\* Статья вышла в рубрике «Матеріали до вивчення дніпропетровського «цеху» істориків»

\*\* Напечатано: Теория и методика историографический и источниковедческих исследований / Под ред. Н.П. Ковальского. – Д., 1989. – С. 155 – 165 (соавтор В.М. Бекетова).

ИВ, который, по нашему мнению, именно в этот период сохраняет, в целом, стабильность в своих общественно-политических и научно-теоретических позициях.

В советской исторической литературе нет специальных обобщающих работ, посвященных ИВ. Традиционно это издание рассматривалось как рупор доживающего свой век официально-охранительного направления<sup>2</sup>. Однако, опубликованная в 1987 г. статья Т.В. Железневой «Задачи, структура и тематика журнала «Исторический вестник» (1880 – 1904 гг.)»<sup>3</sup> свидетельствует о повышении исследовательского интереса к журналу. Автор статьи не склонна безоговорочно присоединиться к оценке общественно-политической направленности журнала как официально-охранительного, отмечая, что этот вопрос «требует дальнейшего углубленного изучения»<sup>4</sup>.

На первый взгляд, периодизация Т.В. Железневой (1880 – 1904 гг.) является более обоснованной, так как верхний предел обусловлен началом первой русской революции. Однако, уместно вспомнить, что процесс общественно-политической и научной мысли связан не столь жестко хронологически с общеисторическими событиями. Более того, мы полагаем, что не столько общеисторическими событиями руководствовалась исследовательница, сколько библиографической традицией, положив в основу «Систематический указатель содержания «Исторического вестника» за 25 лет» Б.М. Городецкого (СПб., 1908).

В связи с этим представляется полезным проследить за «реакцией» журнала на происходящие изменения в истории исторической науки как для получения более полной картины развития самой историографии, так и более адекватных представлений о характере ИВ, чье значение и популярность признавались в широких кругах научно-исторической общественности России того времени<sup>5</sup>. Причем этот анализ мы будем проводить не столько с целью раскрыть содержательную сторону самих публикаций, сколько на их примере уяснить особенности исследований историографического характера в русской исторической науке конца XIX в. С этой целью главное внимание уделяется выявлению принципов историографических публикаций, их целей, задач, рассмотрению жанров и стилей изложения материалов.

Уместным будет, прежде всего, остановиться на некоторых формально-количественных характеристиках, отраженных в следующей таблице.

Год издания	Кол- во томов	Всего историографических публикаций	Из них по рубрикам					
			4 Русская историография	5 иностр. историография	6 Развернутые рецензии и обзоры лит.	7 Персонологические публикации	8 Общесториографические публикации	9 Проблемные публикации
1	2	3						
1880	3	9	2	7	7	1	1	-
1881	3	8	2	6	6	2	-	-
1882	4	7	1	6	6	1	-	-
1883	4	1	1	-	-	1	-	-
1884	4	1	1	-	-	1	-	-
1885	4	3	3	-	-	3	-	-
1886	4	5	4	1	-	5	-	-
1887	4	2	1	1	1	1	-	-
1888	4	2	2	-	1	1	-	-
1889	4	1	1	-	-	1	-	-
1890	4	3	3	-	-	3	-	-
1891	4	2	2	-	-	2	-	-
1892	4	8	8	-	1	6	-	1
1893	4	2	2	1	-	1	1	-
1894	4	2	2	-	-	1	-	1
1895	4	2	1	1	2	-	-	-
1896	4	2	2	-	-	2	-	-
1897	4	2	2	-	1	1	-	-
1898	4	-	-	-	-	-	-	-
1899	4	4	4	-	-	4	-	-
<b>Итого</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

За двадцатилетний период издания ИВ вышло всего 78 томов, включавших по 3, а первые два года по 4 номера каждый. По нашим подсчетам, за эти годы в журнале было опубликовано 66 статей, сообщений, развернутых рецензий, обзоров историографического характера. В это число не вошли рецензии, опубликованные в разделе

«Критика и библиография», но в дальнейшем мы коснемся некоторых из них.

Судя по данным таблицы, интерес редакции журнала к историографической проблематике был относительно стабильным, за исключением первых трех лет издания, когда в ИВ было напечатано 24, т. е. более трети всех историографических публикаций. Причем 19 из них посвящены зарубежной историографии, требующей как высокого профессионализма, так и прекрасного знания языков и всеобщей истории.

Однако было бы преждевременным на основании неустойчивых статистических данных говорить о каких-либо закономерностях в политике журнала и тем более в развитии самой отечественной историографии. Изучение источников позволяет интерпретировать эту статистическую информацию факторами субъективного характера: нехваткой кадров специалистов – историков, могущих без ущерба для своей основной деятельности (научной, преподавательской) писать для журнала рецензии, библиографические обзоры, историографические статьи. Не всегда удавалось редакции привлечь к работе маститых авторов\*. Ярким подтверждением этого являются письма редактора ИВ С.Н. Шубинского к известному историку-публицисту, постоянному сотруднику, а впоследствии редактору журнала Б.Б. Глинскому, хранящиеся в ИРЛИ. В одном из писем С.Н. Шубинский писал: «...Что «Библиография» совершенно случайна и статьи плохи, – это верно. Но вы придумайте, как организовать этот отдел, и я придумаю вам за это какую-нибудь премию. В каком другом журнале это не случайный отдел. Уж не в «Самообразовании» ли? ...Я бьюсь с этим отделом 18 лет и ничего не могу сделать. Вот, помогите мне, – найдите работников. Хоть бы для рецензий по русской истории...»<sup>6</sup>. Очевидно, что если редактор ИВ сталкивался с трудностями в поисках достойных авторов для сравнительно несложного библиографического отдела, тем более не просто было организовать постоянное публикование специальных историографических статей. В этом плане первые три года были удачными для журнала, так как в число его сотрудников удалось привлечь профессора Московского университета, известного

---

\* По-видимому, не следует недооценивать и влияние «спонсора» – А.С. Суворина, который неоднократно напоминал редактору С.Н. Шубинскому о «хозрасчете».

специалиста по всеобщей истории В.И. Герье. Под псевдонимом «Иф...л» – «историофил»<sup>7</sup> – В.И. Герье с 1880 по 1882 год помещает в ИВ целый ряд обзоров по иностранной историографии. В одном из писем С.Н. Шубинскому он высказывает свой взгляд на то, как нужно составлять библиографический обзор. «Я считаю нужным, – пишет он, – дать этому обзору систематический характер, – т.е. посвящать отдельные статьи истории Франции, Германии, истории культуры и пр., так чтобы в каждой книжке приблизительно рассматривать какой-нибудь отдельный вопрос...»<sup>8</sup>. Опубликованные в ИВ статьи В.И. Герье соответствуют предъявляемым им самим требованиям. Обзоры литературы под его пером приобретали характер развернутых рецензий и проблемных историографических статей.

На наш взгляд, представляет интерес понимание В.И. Герье самого термина «историография». В статье о С.М. Соловьеве он пишет: «Не среди русской только историографии следует отыскивать место, принадлежащее Сергею Михайловичу Соловьеву по его заслугам в науке...»<sup>9</sup>. И далее замечает: «В Германии доживает свой славный век патриарх немецкой историографии, 84-летний Леоп. Ф. Ранке...»<sup>10</sup>. В таком же плане употребляется им термин «историография» и в других статьях, опубликованных в ИВ. Выражает согласие В.И. Герье и с французским историком литературы Ампером, который пишет об историографии как написании истории. «Историография, – говорил Ампер, – всегда зарождается, когда к тому представляется повод; когда сильно бьет жизнь, она всегда находит свое отражение... Если никто не пишет истории, то это значит, что её нет: если же бы она была, то нашелся бы для нее и историк»<sup>11</sup>.

После отхода В.И. Герье от участия в ИВ раздел «Иностранная историография» еще продолжал существовать два года (до 1885 г.), но статьи, написанные Н.И. Смирновым, В.З. (В. Зотовым) и П.У. (П. Усовым), представляли собой лишь краткий пересказ отдельных исторических и иных трудов иностранных авторов, носили популяризаторский, но отнюдь не научный историографический характер. Для представления в этом разделе выбирались случайные работы, без учета какой-либо определенной тематики.

Необходимо отметить, что среди историографических публикаций ИВ жанр развернутых рецензий и библиографических обзоров занимает одно из ведущих мест, о чем свидетельствуют и данные таблицы. Кроме В.И. Герье, в этом жанре писали для ИВ Б.Б. Глинский<sup>12</sup>,

Р.И. Сементковский<sup>13</sup>, П.Н. Полевой<sup>14</sup>, Н.И. Смирнов<sup>15</sup>, Н.М. Гутьяр<sup>16</sup> и некоторые другие авторы. Публицистичность и обилие цитат придавали их рецензиям и обзорам популяризаторский характер. Однако во многих из них содержались ценные историографические наблюдения.

На наш взгляд, предметом определенного историографического исследования могут стать и те многочисленные рецензии на историческую литературу, которые были напечатаны в ИВ в разделе «Критика и библиография». Хотя мы исключили этот раздел из рассмотрения в данной статье, необходимо все же отметить, что в ИВ нашли рецензионный отклик почти все изданные в те годы крупные труды по историографии\*.

Из данных таблицы следует, что наиболее распространенными историографическими исследованиями, опубликованными в ИВ, являются персонологические. На господство именно этого жанра в историографической литературе того времени указывает и Р.А. Киреева<sup>17</sup>, выделяя его наиболее характерную черту – «портретность». Биобиблиографии историков, материалы к биографиям (письма, дневники, воспоминания, заметки), некрологи, статьи к юбилеям – всего 37 публикаций такого характера было помещено в ИВ за 20 лет. В этой серии юбилейных биобиблиографических и некрологических статей С.С. Трубачева, Б.Б. Глинского, Д.Д. Языкова, П.Н. Полевого особняком стоят исследования Н.Я. Аристова о А.П. Щапове<sup>18</sup>, К.Н. Бестужева-Рюмина об А.Л. Шлецере<sup>19</sup>, В.И. Герье о С.М. Соловьеве<sup>20</sup>, Ф.А. Витберга о Н.В. Гоголе<sup>21</sup>. В них авторы, наряду в биографическими сведениями, библиографическими данными об историках, рассматривали их исторические взгляды, давали оценку их трудам, а порой и сравнительную характеристику ученых разных периодов и стран. Некоторые из этих публикаций нашли широкое отражение в советской историографии. Лучшей работой о Щапове в дореволюционной литературе назвала М.В. Нечкина<sup>22</sup> книгу Н.Я. Аристова о жизни Афанасия Прокофьевича Щапова, вышедшую первоначально в

---

\* Рецензию Д.А. Корсакова (ИВ. – 1885. – Т. 19. – № 3. – С. 684 – 707) на книгу М.О. Кояловича «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям» (СПб., 1884) упоминает Р.А. Киреева в связи с историей отечественной историографии (см.: Киреева Р.А. Указ соч. – С. 4 – 5).

виде серии статей в ИВ. С ней солидарен и автор монографии о А.П. Щапове Г.Н. Вульфсон<sup>23</sup>.

Говоря о статье В.И. Герье «Сергей Михайлович Соловьев», можно отметить, что это была одна из первых посмертных статей о выдающемся русском историке, в которой автор, отказавшись от биографического изложения, основываясь, прежде всего, на трудах ученого, дает развернутую характеристику его научного метода и исторической концепции.

Работа Ф.А. Витберга «Гоголь как историк» привлекает своим многообещающим названием. Однако в ней нет анализа исторических взглядов Н.В. Гоголя, – это, скорее, один из биографических этюдов, посвященных исканиям гениального русского писателя на поприще занятий историей, его преподавательской деятельности. Автор, привлекая многочисленные опубликованные письма, воспоминания и исследования о Н.В. Гоголе, убеждает читателя, что «и на увлечение его историей надо смотреть не как хвастовство, а именно как на увлечение, в котором он искренно, без всякого желания хвастать и преувеличивать свои знания и свои ученые способности, считал себя способным к серьезному и небесполезному научному труду»<sup>24</sup>.

Статья К.Н. Бестужева-Рюмина «Август Людвиг Шлецер» впоследствии вошла в его сборник «Биографии и характеристики» (1882), пользующийся большой известностью среди специалистов по историографии. Основываясь на биографии А.Л. Шлецера, автор оценивает вклад немецкого ученого в разработку русской истории и пытается, как он сам пишет, «беспристрастно определить характер и значение его деятельности и указать, что в ней полезно и осталось, что должно быть отвергнуто»<sup>25</sup>.

В целом же для всех персонологических публикаций в ИВ характерно пристальное внимание к биографии историков, эскизность показа их научных взглядов, что обусловлено, во-первых, некрологическим или юбилейным характером большинства публикаций; во-вторых, превалированием журнально-публицистических традиций над научными. Вместе с тем если сопоставить это с упомянутым выводом Р.А. Киреевой о преобладании «портретного» жанра, то персонологические публикации ИВ соответствуют «духу» своего времени.

Самыми малочисленными в количественном отношении являются публикации общеисториографического и проблемного характера.

С точки зрения современных представлений, статьи, входящие в эту группу, не отвечают в полной мере требованиям, предъявляемым к научным исследованиям историографического содержания. Характерна в этом отношении статья Н.Я. Аристова «Разработка русской истории за последние двадцать пять лет (1855 – 1880 гг.)»<sup>26</sup>. Название её значительно шире, чем реальное содержание. По своим целевым установкам она напоминает привычные для современной науки обзорные статьи о развитии исторической науки за определенный период, появление которых связано с какими-либо историческими датами. Заданность статьи (25-летие царствования Александра II) повлияло на стиль автора, определив её панегирический тон, выдержаный в традициях церковной риторики. Для научных статей даже того времени этот стиль был уже несколько архаическим. Причина «архаизма» раскрывается в письме Н.Я. Аристова к С.Н. Шубинскому от 18 февраля 1880 г.: «Посылаю Вам статейку «Разработка русской истории в последние 25 лет». Это, впрочем, была мною приготовлена речь для 19-го февраля, но отменено праздновать, и потому осталось без произнесения...»<sup>27</sup>.

При всей фактической неполноте обзора, архаических элементах стиля, панегирической заданности, в статье Н.Я. Аристова предпринимается попытка дать картину развития русской историографии как процесса, сопоставив рассматриваемый им период с предшествующим. Несмотря на краткость характеристик различных направлений, течений и отдельных историков, улавливается концептуальная основа историографических взглядов самого автора, считающего славянофильство главным идейным вдохновителем лучших русских историков<sup>28</sup>. Все историки, с его точки зрения, западнической ориентации или игнорируются, или третируются им. Научная объективность, а также, по-видимому, факт недавней смерти С.М. Соловьева не позволили Н.Я. Аристову проигнорировать и не отдать должное трудам корифея русской историографии данного периода. Но «воздавая по заслугам» С.М. Соловьеву, Н.Я. Аристов его научные успехи связывал с влиянием на него славянофильства. Н.Я. Аристов, при всей лапидарности изложения, нашел возможность отметить в перечне специальных исторических дисциплин «целую науку», как он сам её называет, и дал ей определение: «История русской историографии (исторической науки – В.Б, Е.Ч.), которая знакомит с различными источниками или памятниками и постепенной

их научной разработкой (Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев, К.Н. Бестужев-Рюмин, В.С. Иконников)»<sup>29</sup>. Насколько нам известно, это одна из первых попыток в отечественной научной литературе коснуться вопросов по истории исторической науки.

Процесс теоретико-методологических поисков в мировой и отечественной исторической науке в конце XIX в. сравнительно слабо отражен в специальных работах, опубликованных в ИВ. В этом плане статья М.Ф. Ладвинского «Новое направление в исторической науке»<sup>30</sup>, отнесенная нами к общеисториографическим публикациям, является, пожалуй, одной из немногих, но, что важно, сравнительно ранних работ по теоретическим проблемам истории. Философско-историческая по целям и историографическая по способу изложения, данная статья может представлять определенный интерес для истории распространения идей исторического материализма в России в легальных периодических изданиях. Особую пикантность этому придает факт появления её в журнале, редакция которого никогда не отличалась особым радикализмом. Эпиграф из «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса, неоднократное упоминание имен основоположников марксизма, а также П. Лафарга и К. Каутского\*, цитирование марксистских работ, – все это свидетельствует, что, по крайней мере, в этот период, редакция журнала не проводила сознательной охранительной политики, а селекция материалов, публикуемых в журнале, не была обусловлена жесткими политическими и идеологическими установками. Под «новым направлением» автор, пользуясь терминологией своего времени, понимает «экономический материализм», основоположником которого считает К. Маркса. Идеи «экономического материализма» М.Ф. Ладвинского интересуют как «гипотеза», позволяющая подойти к постижению закономерностей исторического процесса. Несмотря на сложность рассматриваемых автором вопросов, статья носит вместе с тем популяризаторский характер, так как в основу её положен социологический этюд П. Николаева «Активный прогресс и экономический материализм» (М.; 1892)<sup>31</sup>. Нет оснований доподлинно считать, что М.Ф. Ладвинский был знаком с трудами К. Маркса, Ф. Энгельса и других марксистов из первых рук, но в целом он достаточно адекватно передает суть основ

---

\* В тексте статьи «Кауцкий» (ИВ. – 1893. – Т. 52. – № 4. – С. 180).

исторического материализма. Примечательно, что М.Ф. Ладвинский, как и его основной «путеводитель» по «экономическому материализму» П. Николаев, не стремиться выхолостить философско-исторические взгляды К. Маркса, указывая как на важнейшее их звено – на учение о классовой борьбе<sup>32</sup>. Идея закономерности исторического процесса настолько овладела автором, что он ищет закономерности и в исторической гносеологии, пытаясь найти гносеологические корни новой «гипотезы», независимое от марксистских работ движение мысли ряда современных историков по направлению теории «экономического материализма»<sup>33</sup>. При этом от М.Ф. Ладвинского не ускользнуло, что цитированные им авторы «или совсем не знакомы с гипотезой экономического материализма, или не проникли в её сущность»<sup>34</sup>. В небольшой ссылке М.Ф. Ладвинский определяет направление, к которому принадлежит В.О. Ключевский и следующие за ним «историки молодой генерации», в частности П.Н. Милюков, как близкое к «экономическому материализму»<sup>35</sup>.

В качестве проблемно-историографических статей нами выделены две: Ф.В. Благовидова «Личность Петра I в исторической литературе»<sup>36</sup> и Н.М. Гутяра «Как объясняют русские историки происхождение у нас крепостного права»<sup>37</sup>. Авторы этих публикаций не претендуют на всеохватывающее освещение проблемы. Для рассмотрения взяты только новейшие для того времени исследования. В работах приводится много цитат из анализируемой исторической литературы, отсутствуют оценки и должная критика приводимых исторических трудов. Но в целом публикации дают определенное представление о степени и полноте изученности избранных авторами проблем в исторической литературе этого периода, хотя и носят во многом популяризаторский характер.

В рамках данной статьи, без сопоставительного анализа ИВ с другими подобными изданиями было бы преждевременно и неправомерно делать далёкие идущие выводы, тем более устанавливать закономерности. Однако, подводя итоги, следует отметить, что историография как самостоятельная научная дисциплина не проявила себя в историографических публикациях ИВ. Беглый, без углубленного анализа, просмотр других научно-исторических периодических изданий того времени позволяет предположить, что и в них не проводилась сознательная историографическая «политика», что историко-научные публикации носили спорадический характер<sup>38</sup>.

Таким образом, ИВ как орган научно-исторической периодики, на наш взгляд, отражает наличие двух уровней в структуре системы русской исторической науки. На высшем уровне, применительно к истории исторической науки, наблюдается интенсивный процесс «качественного роста» историографии<sup>39</sup>. Более же низкий уровень («Исторический вестник») этот процесс фактически не затронул, что ставит новые проблемы перед исследователями русской историографии конца XIX в.

Публикации историографического характера за первое двадцатилетие ИВ не позволяют, на наш взгляд, точно определить общественно-политическое лицо журнала. Однако, есть основание предполагать, что о «консервативности» его можно говорить лишь в плане приверженности либеральным идеям 60-х годов, причем приверженности не столько их содержанию, сколько духу.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. по 1917 г. – М., 1983.

<sup>2</sup> Русская периодическая печать (1702 – 1894). Справочник / Под ред. А.Г. Дементьева, А.В. Западова, М.С. Черепахова. – М., 1959. – С. 611; Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма: Историографические очерки. – М., 1985. – С. 45 – 56; Эльзон М.Д. Материалы к росписи «Исторического вестника» (1880 – 1917) // История и историки. – М., 1987. – С. 301.

<sup>3</sup> Историографические и источниковедческие проблемы истории СССР. – М., 1987. – С. 51 – 66.

<sup>4</sup> Там же. – С. 62.

<sup>5</sup> Десятилетие «Исторического вестника» // ИВ. – 1890. – Т. 32. – № 1. – С. 227 – 228.

<sup>6</sup> С.Н. Шубинский к Б.Б. Глинскому от 18 сент. 1897 // РО ИРЛИ. – Ф. 72. – Д. 388. – Л. 31 об.

<sup>7</sup> Авторство В.И. Герье установлено по его письму к С.Н. Шубинскому от 15 янв. 1880 // ОР ГПБ. – Ф. 874. – Оп. 1. – № 15. – Л. 16 – 17 об.

<sup>8</sup> В.И. Герье к С.Н. Шубинскому от 5 янв. 1880 // Там же. – Л. 13.

<sup>9</sup> Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьев // ИВ. – 1880. – Т. 1. – № 1. – С. 74.

<sup>10</sup> Там же. – С. 75.

<sup>11</sup> См.: Герье В.И. Национальная историография Германии // ИВ. – 1880. – Т. 1. – № 3. – С. 567.

<sup>12</sup> Глинский Б.Б. Культурная история России // ИВ. – 1897. – Т. 68. – № 6. – С. 902 – 936.

- <sup>13</sup> Сементковский Р.И. История как наука // ИВ. – 1895. – Т. 61. – № 8. – С. 367 – 384.
- <sup>14</sup> П.П. (Полевой П.Н.) Запорожское гнездо (по поводу книги Д.И. Яворницкого «Запорожье в остатках старины и преданиях народа». – СПб., 1880) // ИВ. – 1888. – Т. 34. – № 12. – С. 737 – 752. Авторство определено из письма Д.И. Яворницкого к С.Н. Шубинскому от 26 окт 1888 г. // ДИМ. – КП-87799. – Арх.-21473; *Он же. Русская история Fin de siecle* // ИВ. – 1895. – Т. 62. – № 12. – С. 918 – 930.
- <sup>15</sup> Смирнов Н.И. Клерикальная немецкая историография // ИВ. – 1881. – Т. 4. – № 2. – С. 432 – 456.
- <sup>16</sup> Гуттъяр Н.М. Новый взгляд на реформу Петра Великого // ИВ. – 1892. – Т. 48. – № 6. – С. 766 – 779.
- <sup>17</sup> Киреева Р.А. Указ. соч. – С. 211 – 212.
- <sup>18</sup> Аристов Н.Я. Жизнь Афанасия Прокофьевича Щапова // ИВ. – 1882. – Т. 10. – № 10. – С. 5 – 44; № 11. – С. 295 – 336; № 12. – С. 576 – 618.
- <sup>19</sup> Бестужев-Рюмин К.Н. Август Людвиг Шлецер // ИВ. – 1881. – Т. 4. – № 1. – С. 117 – 134.
- <sup>20</sup> Герье В.И. Сергей Михайлович Словьев // ИВ. – 1880. – Т. 1. – № 1. – С. 74 – 111.
- <sup>21</sup> Витберг Ф.А. Гоголь как историк // ИВ. – 1892. – Т. 49. – № 8. – С. 390 – 423.
- <sup>22</sup> Нечкина М.В. Встречи двух поколений. – М., 1980. – С. 355.
- <sup>23</sup> Вульфсон Г.Н. Глашатай свободы. – Казань, 1984. – С. 14 – 15.
- <sup>24</sup> Витберг Ф.А. Указ. соч. – С. 400.
- <sup>25</sup> Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 117 – 118.
- <sup>26</sup> ИВ. – 1880. – Т. 2. – № 4. – С. 665 – 680.
- <sup>27</sup> ОР ГПБ. – Ф. 874. – Оп. 1. – № 14. – Л. 20 об.
- <sup>28</sup> Аристов Н.Я. Разработка русской истории... – С. 667.
- <sup>29</sup> Там же. – С. 678.
- <sup>30</sup> ИВ. – 1893. – Т. 52. – № 4. – С. 174 – 186.
- <sup>31</sup> Там же. Судя по всему М.Ф. Ладвинский – это М.Ф. Сперанский, который в письме к С.Н. Шубинскому от 12 марта 1892 г. просил: «Если К.Т. Солдатенков пришлет Вам книгу: «Активный прогресс и экономический материализм» г. Николаева, – то покорнейше прошу дать мне её для рецензии» (ОР ГПБ. – Ф. 874. – Оп. 1. – Т. 53. – Л. 108). Совпадение инициалов и приведенные строки из письма являются весомыми аргументами в пользу данного предположения.
- <sup>32</sup> ИВ. – 1893. – Т. 52. – № 4. – С. 181.
- <sup>33</sup> Там же. – С. 181 – 186.
- <sup>34</sup> Там же. – С. 186.
- <sup>35</sup> Там же.
- <sup>36</sup> ИВ. – 1894. – Т. 58. – № 11. – С. 408 – 426.
- <sup>37</sup> ИВ. – 1892. – Т. 47. – № 3. – С. 483 – 493.
- <sup>38</sup> На это указывает и Ю.М. Критский, анализируя публикации в журнале «Голос минувшего» (1913 – 1923 гг.). Критский Ю.М. Вопросы истории русской общественной мысли и революционного движения в России XVIII – начало XX в. в журнале «Голос минувшего» в 1913 – 1923 гг. // История и историки. 1972. – М., 1973. – С. 98.
- <sup>39</sup> Киреева Р.А. Указ. соч. – С. 73.

## [РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ]

**ЧИСТЯКОВА Е.В., БОГДАНОВ А.П. ДА БУДЕТ  
ПОТОМКАМ ЯВЛЕНО...  
ОЧЕРКИ О РУССКИХ ИСТОРИКАХ ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА И ИХ ТРУДАХ\***

(М.: Изд-во Университета Дружбы народов, 1988. – 135 с.)

Если критически подойти к оценке массового исторического сознания нашего общества, то, думается, отнюдь не благоприятное воздействие на него оказывает, в частности, антиисторическая традиция в изучении прошлого – формирование исторических представлений в отрыве от истории исторической мысли, от биографий тех, кто способствовал её развитию. Эти соображения возникают после прочтения рецензируемой книги. И они приходят на ум потому, что эта работа с характерным заголовком – «Очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах» имеет своеобразный секрет привлекательности; его разгадка в том, что авторам удалось проложить «коммуникации» между научной исторической мыслью и обыденным историческим сознанием. В этой книге освещены наиболее яркие явления исторической мысли рассматриваемого времени.

Очерковый принцип, положенный авторами в основу работы, позволил им, не вдаваясь в схематизацию русского историографического процесса, показать его «в лицах». Подход оказался достаточно плодотворным еще и потому, что авторы каждую из глав (очерков) наполнили интересным конкретно-историческим содержанием. Таким образом, историческая мысль второй половины XVII века предстает перед читателем как часть русского общеисторического процесса. Биографии тех, кого авторы называют историками, даны в конкретно-историческом контексте, причем сделано это таким образом, что через биографию лучше прочитывается и сам контекст.

---

\* Напечатано: История СССР. – 1990. – № 3. – С. 181 – 184 (соавтор С.Н. Плохий).

Рецензируемая работа выходит на историко-культурный уровень, что сравнительно редко удается в историографических исследованиях.

На наш взгляд, в работе удалось показать вторую половину XVII в. как особый, переходный период к новому «образу» исторической науки. Книга в целом позволяет выделить характерные особенности периода: многообразие форм и жанров исторических сочинений при отсутствии доминирующих; явно выраженное личностное, авторское начало – гуманизацию; осознаваемый прагматизм (государственный, родовой, индивидуальный); элементы направленного дидактизма; появление «специалистов» (историков), т. е. круга «действительно деятельных людей», действующих вполне сознательно на поприще историописания. Кстати, сами слова – «история», «историография», «историограф» – становятся необходимыми именно в тот период.

Во введении авторы отмечают, что представление об «угасании» русского летописания в XVII в. не соответствует истинному положению дел. С этой точки зрения рецензируемая книга – убедительное доказательство того, что во второй половине XVII в. летописная форма занимала существенное место в системе русской историографии.

Первый очерк – увлекательный рассказ о жизненном пути известного военачальника XVII в. князя Ф.Ф. Волконского, автора «Летописца». Учитывая длительное «обезлюживание» русского исторического процесса в советской исторической литературе, биография Ф.Ф. Волконского вызывает несомненный интерес и отражает историографическую деятельность представителей княжеской знати.

Второй очерк вводит нас в другой социальный круг – служилого приказного дворянства – и знакомит с исторической литературой, создававшейся государственными дьяками. Одним из историографических центров становится в тот период Посольский приказ, возглавляемый А.С. Матвеевым, под руководством которого создаются анализируемые в книге «Титулярник» и «Книга об избрании на престол». Хорошо освещены в работе прагматические цели, преследуемые при написании этих исторических трудов. В этой же главе рассматривается и история Записного приказа, остроумно названного прообразом «института истории». Многие факты из не совсем удавшейся попытки «организовать» изучение истории в России впервые поданы в систематизированном виде. Особое внимание авторы уделяют характеристике «Истории о царях и

великих князьях Земли русской» Ф.А. Грибоедова – одного из наиболее известных представителей «историографии дьяков».

Верные своему замыслу, авторы показывают в главе «Следы крестьянской войны» как происходил процесс историописания на периферии Российского государства. И, что самое главное, впервые, пожалуй, анализируются сочинения современников о восстании Степана Разина как памятники историографии.

Вполне закономерно, что одно из центральных мест в книге занимает очерк о «Синопсисе» – первом печатном историческом произведении по истории Руси (Украины, России и Белоруссии), ставшем на долгие десятилетия единственным источником школьного исторического образования на восточнославянских территориях. Авторы характеризуют первые три киевских издания «Синопсиса» (1674, 1678, 1679 гг.), рассматривают вопрос об атрибуции этого произведения, останавливаясь на гипотезах об авторстве И. Гизеля и И.И. Армашенко, справедливо отвергая их. В полной мере можно согласиться с ними и в том, что на современном уровне изучения памятника трудно сказать что-либо утвердительное об авторе «Синопсиса», хотя следует отметить, что относительно недавно, в конце 70-х гг., Ю.А. Мыцыком была выдвинута еще одна гипотеза об авторстве этого произведения, приписывающая его перу Пантелеймона Кохановского, эконома Киево-Печерской лавры, автора «Обширного синопсиса Русского»\*. Вполне убедителен вывод, что одной из основных идей, проведенных в «Синопсисе» его безымянным автором (авторами), является идея о единстве славянских народов в борьбе против турецко-татарской агрессии.

Если «Синопсис», согласно композиционной идеи книги, демонстрирует уровень исторического сознания ученого духовенства Киевской митрополии, то следующий за ним очерк знакомит нас с окружением патриарха Иокима (70 – 80-е гг. XVII в.). Полагаем, что даже искушенные читатели впервые получили возможность ознакомиться с биографией Исидора (Сидора) Сназина, автора Мазуринского летописца. В рецензируемой книге подробно анализируются все обнаруженные исследователями известия, могущие иметь отношение к Сназину, указываются источники летописца, выявляется концептуальная основа этого произведения.

---

\* Мыцык Ю.А. Украинские летописи. – Д.: ДГУ, 1978.

Прагматизм Сназина проявляется, по мысли авторов, в сознательном служении истине, чем и объясняется его объективность и терпимость в оценках явлений, традиционно осуждаемых в современных ему исторических и публицистических сочинениях, созданных в официальных кругах (например, восстания староверов). Вызывает, однако, сомнение попытка поставить в заслугу И. Сназину применения им летописной формы как наиболее соответствующей его пониманию задачи исторических сочинений, его историософским представлениям (с. 65). Невольно напрашивается мысль о подсознательной реминисценции: пушкинский Пимен – Исидор Сназин; к тому же это в какой-то степени противоречит и уже упомянутому утверждению наших авторов о «неугаснувшем летописании». Скорее всего, поиски формы не мучили сочинителя Мазуринского летописца, что совершенно не исключает наличия у него развитых представлений о задачах исторических трудов.

Специальный очерк в работе посвящен дворянским летописям конца XVII в. Именно представители дворянства в этот период, как показано в книге, обогащают русскую историографию разнообразием форм, подходов, стилей исторических сочинений. Историками-летописцами выступают выходцы из различных слоев «служилых людей» – от мелкопоместных, не игравших особой роли в политической жизни государства (И.Н. Кичигин и др.), до привилегированных дворян (А.Я. Дашков). Согласно авторской версии, главный двигатель историографической активности в дворянской среде – возвеличивание своего рода. Конечно, нельзя не учитывать и возросший уровень образованности определенных слоев русского дворянства.

В этой же главе в качестве контраста дворянскому летописанию анализируется летописец князей Черкасских, в котором русская история показана с позиций (политических и идеологических) князей Черкасских и доведена до событий начала 1680-х гг.

Дворянская историография России рубежа нового времени оказалась тесно связанной с генеалогией дворянских фамилий, что вполне отражало общие тенденции развития исторических знаний в ту эпоху на востоке Европы. Одно из наиболее ярких проявлений этого жанра в России – «Генеалогия...» И. Римского-Корсакова, пытавшегося проследить историю своего рода от Адама и Евы, через Геракла-Геркулеса и его сына Корса. Стремясь таким путем доказать

древность своего рода, автор «Генеалогии...» демонстрирует, как это подмечено в рецензируемой работе, глубокое знание античной литературы. В числе источников его сочинения – труды Аристотеля, Геродота, Тита Ливия, Овидия, Вергилия и других выдающихся писателей и историков древности.

Имя Сильвестра (Симеона) Медведева широко известно всем, кто интересуется историей русской общественной мысли XVII в. Этому талантливому ученику Симеона Погоцкого посвящен в рецензируемом труде отдельный очерк, в котором значительное место уделяется его политической биографии и основному его историческому произведению «Созерцанию краткому...», теснейшим образом связанному с перипетиями политической борьбы 80-х гг. XVII в., что по жанру приближает его к памятникам публицистической мысли.

Рассказ о «Скифской истории» А.И. Лызлова завершает обзор основных памятников исторической мысли России второй половины «бунтарского» XVII века. Этот очерк явился результатом многолетних исследований одного из авторов книги, а также их совместной работы над подготовкой «Скифской истории» к изданию.

Е.В. Чистякова и А.П. Богданов доказывают, что труд стольника Лызлова был новаторским для своего времени (в России, конечно) не только в утверждении новых форм исторических сочинений, но и по своему содержанию, идейной направленности, отбору источников. «Скифская история», главной мыслью которой явилось утверждение о необходимости борьбы против кочевой степи и стоявшей за ней Османской империи как фактора, укрепляющего единство восточноевропейских народов, могла быть написана только лишь благодаря тщательному отбору широкого круга источников, в том числе «нерусского» происхождения. Так, А.И. Лызлов практически первым в русской историографии делает широкий и глубокий прорыв в историографию польскую, выходя таким образом на ряд реалий общеевропейской исторической мысли того периода. В следующем, XVIII веке в подобной литературе появилась особая потребность среди образованных кругов Русского государства, ломавшего перегородки, долгие столетия отделявшие его от общеевропейской политической, культурной и научной жизни. Не случайно и упоминание авторов о том, что наибольшей популярностью у читателей XVII и XVIII вв. пользовались именно «Скифская история» и киевский «Синопсис». Возвращаясь к очерку о последнем произведении, хотелось бы

подчеркнуть правомерность рассмотрения «Синопсиса» в контексте развития не только украинской, но и русской исторической мысли, учитывая прежде всего то, что на концепцию его автора (авторов) оказали сильное влияние официальное государственно-политические концепции Русского государства; влияние же этого сочинения на формирование русского исторического сознания действительно трудно переоценить.

Вместе с тем желательно было получить ответ на вопрос: как оценивать сам факт существования и даже господства летописания в русской (и не только русской, но также в украинской и белорусской) исторической мысли второй половины XVII в.? Нам кажется, что этот процесс «застоя» формы не может быть оценен однозначно. С одной стороны, архаическая форма – это «прокрустово ложе» для активно «пульсирующей» исторической мысли, приводящая, в свою очередь, к некоторой стагнации исторического сознания; с другой же, – развитие историографии происходит при сохранении традиции, что способствует большей органичности и «эластичности» русского историографического процесса второй половины XVII в.

Все представленные в книге деятели этого процесса объединены общим «титулом» – «историки». Вмещает ли в себя этот «титул» концептуальное содержание или нет? Учитывая, что на страницах книги мы не найдем вполне определенной авторской позиции по этому поводу, дать однозначный ответ нелегко. Поэтому укажем, что наше прочтение текста позволяет сказать: авторы не симпатизируют узкосcientistским трактовкам понятия «историк», выдающим «цеховые» удостоверения только тем историописателям, кто по характеру, целям, способам своей деятельности вписывается в современный образ «историка». Конечно (и Е.В. Чистякова, и А.П. Богданов это прекрасно понимают), есть существенные различия между, например, «мемуаристом» князем Ф.Ф. Волконским и «исследователем» А.И. Лызловым. Несомненно в «Синопсисе» и «Скифской истории» обнаруживается с большей полнотой, чем в других памятниках историографии этого времени, знакомые профессиональные черты, а в их авторах – близкие нам и «сословные» признаки: стремление поставить и решить задачи более или менее четко выраженной концептуальности, которая в той или иной степени реализуется в тексте, вкус к поиску исторической истины в сочетании с политико-идеологическими установками. Но наличие

различных уровняй исторического сознания вряд ли лишает авторов рассматриваемой книги права назвать летописцев, мемуаристов, историописателей второй половины XVII в. историками в широком смысле этого слова.

Рецензируемая работа существенным образом углубляет сложившиеся представления о процессе развития русской историографии в изучаемый период. Вместе с тем проблема не столько в констатации того, что «мы находимся значительно ближе к недооценке, нежели к переоценке исторического мышления наших предков» (с. 9), сколько в недостаточном понимании нами структур исторического мышления, его составляющих, механизмов его действия в ограниченном знании того историографического мира, той историко-культурной ситуации, в которой оно (мышление) развивалось.

И в этом смысле данная книга помогает лучше понять «мир» российской историографии второй половины XVII в., следовательно, она найдет, полагаем, положительный отклик в умах и сердцах широкого круга читателей. Одни захотят поспорить с рядом выводов её авторов, другие усвоят и осмыслят полученную информацию, третьи – заинтересуются этим периодом, а часть читателей просто получит эстетическое, интеллектуальное и нравственное удовлетворение, окунувшись с легкой руки авторов в сложнейшие проблемы историографии отечественной истории.

## ПЕТРОГРАДСКИЕ УЧЕНЫЕ И ССЫЛКА М.С. ГРУШЕВСКОГО ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ\*

Эпизод в биографии М.С. Грушевского, связанный с административной ссылкой по обвинению в подрывной антироссийской деятельности, относится к числу широко известных и внешняя его сторона не требует дополнительного специального освещения.

---

\* Напечатано: Дніпропетровський історико-археографічний збірник /  
За ред. О.І. Журби. – Д., 2001. – Вип. 2. – С. 642 – 645.

Правда, остается невыясненным действительно ли не было у российских властей достаточных сведений (агентурного характера) для преследований профессора Львовского университета, подданного Российской империи, как прибывшего в Россию в начале войны, в том числе и с антироссийскими целями? Исследователи-историки не могут придерживаться принципа «презумпции невиновности». И все же, вероятнее всего, это была скорее «жандармская профилактика», которая на фоне других превентивных мер в условиях военно-патриотического угаря не выглядела особенно одиозной. Более одиозным представляются не эти жандармские меры, а «раскручивание дела М.С. Грушевского» в общественном мнении, предпринятое радикально-консервативными кругами, в том числе и представителями науки, например, такими авторитетными учеными как Ю.А. Кулаковский.

Но в литературе о выдающемся украинском историке и политическом деятеле, которую с недавних пор с легкой (ли?) руки Любомира Винара принято относить к особой научной дисциплине «грушевскознавству», вопросу о публичной травле уделялось значительное внимание. Несколько в тени, хотя и не без упоминания, остаются попытки (и небезуспешные) оказать всемерное содействие гонимому в облегчении его положения, организаторами которых были петропавловские коллеги М.С. Грушевского, в их числе, например, академики А.С. Лаппо-Данилевский и А.А. Шахматов.

Поэтому полагаю, что публикуемая ниже записка, хотя и не содержит в себе новых сведений принципиального характера, однако может послужить укреплению источников базы как в изучении биографии М.С. Грушевского, так еще более в исследовании сравнительно малоизученного сюжета: взаимоотношения представителей украинской национальной историографии с представителями российской науки, чья деятельность и самоидентификация вне зависимости от этнической принадлежности не может быть отнесена к украинской исторической науке.

К сказанному уместно добавить, что «Республика ученых» не только недостижимый идеал гуманистов XVI века и их последователей в XVII – XVIII вв., но и некая реальность, которая зачастую не выдерживала напора со стороны национальных, политических, социально-экономических, религиозных идентичностей, но все же

спорадически проявляла себя, даже в экстремальных условиях XX столетия.

Публикуемая записка обнаружена в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (в период обнаружения – ОР ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина). Фонд № 270. Архив Дьяконова М.А. Ед. хр. 156. Архивное название: «Прошение (профессоров Львовского университета) о ходатайстве по вопросу о замене высылки М.С. Грушевского в Томскую губернию представлением ему права жительства в одном из городов Европейской России». Записка представляет собой карандашную черновую рукопись на 2-х архивных листах без даты и подписей. В описи фонда нет «легенды» о том, как попала эта рукопись в состав данного фонда. Сам фондообразователь – один из крупнейших историков права (специалист в области русского права) Михаил Александрович Дьяконов (1855 – 1919 гг.), профессор Санкт-Петербургского университета. Очевидно, что это ходатайство могло быть написано не позднее февраля 1915 года, так как известно, что М.С. Грушевский был выслан, в конечном счете, в феврале 1915 года в Симбирск, а затем по ходатайству Санкт-Петербургской Академии Наук переведен в Казань (см., например, «Автобиографии» М.С. Грушевского за 1919 и 1926 гг.). Интересно, что в листе использования зафиксировано, что 5.09.68 г. была сделана фотокопия «по заказу 3173 для Белоконя, Киев».

## ПУБЛИКАЦИЯ

В.[аше] С.[иятельст]-во граф Пав.[ел] Никол.[аевич]<sup>1</sup>

В виду печальной участи, грозящей проф. Львов[ского] унив.[ерситета] М.[ихаилу] С.[ергеевичу] Г.[рушевскому], мы считаем своим долгом обратиться к Вам с покорнейшей просьбой<sup>2</sup>. М.С. давно работает в области южно-русской истории и стяжал себе почетную известность своими научными трудами, число которых доходит теперь до 549 №№<sup>3</sup> и между которыми наиболее известны: История Ук.[раины] Руси, – доведенная до 8 томов, История Киевской Руси и История украинского казачества<sup>4</sup>, его диссертация о Барском старостве, а также многие другие издания.

Высылка М.С. Грушевского в Томскую губернию самым губительным образом отразилась бы на всем ходе известных его научных работ, а потому мы и решаемся просить В.[аше] Си[ятельст]во не признаете ли возможным ходатайствовать перед военными властями о замене его высылки в Том.[скую] губ. [ернию] – предоставлением<sup>5</sup> в одном из городов, где он мог бы продолжить свои научные занятия.<sup>6</sup>

## КОММЕНТАРИИ И АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Содержание публикуемой рукописи заставляет отказаться от архивистской версии об авторстве профессоров Львовского университета. Теоретически исключить возможность такого ходатайства нельзя (Львов был в это время в зоне оккупации российской армии). Однако все остальное, – и данные биографии М.С. Грушевского, и сам источник не дают оснований связывать его с львовской версией. Нахождению этой рукописи в составе фонда (архива) М.А. Дьяконова нет достаточных оснований, однако М.А. Дьяконов вероятно был одним из активных организаторов ходатайства, что подтверждается косвенно и фактами достаточно близкого знакомства и товарищеских отношений между ними. Например, в одном из писем М.С. Грушевского Александру Сергеевичу Лаппо-Данилевскому, датированном 24.03.1914 г. читаем: «Если увидите М.А. Дьяконова, поклонитесь ему и попросите, чтобы он позвонил ко мне при оказии – тел. 17648, может быть мне удалось [так в тексте – Е.Ч.] его повидать...» (Архив РАН (Санкт-Петербургское отделение). Фонд № 111.Оп. 3. № 131, Л. 14.).

Попутно заметим, что упомянутая переписка М.С. Грушевского и А.С. Лаппо-Данилевского позволяет наряду с другими интересными сюжетами уточнить и некоторые факты в упомянутых автобиографиях М.С. Грушевского. Так, например, в автобиографии 1926 г. отмечается: «В Симбірську Гр. проживав до осені того р. (1915 – Е.Ч.), – за проханням Російської Академії восени його переведено до Казані...» Но в письме из Симбирска А.С. Лаппо-Данилевскому от 13.05.1915 г. сам ссылочный в Р.С. сообщает: «Мне разрешили переехать в Казань, но я раньше устроился на даче под Симбирском и останусь здесь на лето» (Там же. Л. 18). В свою очередь автобиографии М.С. Грушевского могут служить подтверждением и публикуемого ходатайства. В автобиографической заметке 1920 г. отмечается: «Тимчасом Російська академія наук вставилась за мною, щоб мене не висилали до Сибіру, а послали до якого місця де я міг працювати науково, з того не вийшло ні одно, ні друге: вивезли мене під вартою до Симбірську...» Мы видим почти текстуальное совпадение с приведенным вариантом ходатайства.

Таким образом, есть основания полагать, что перед нами действительно черновик одного из ходатайств петроградских ученых по обличению участи М.С. Грушевского. По всей видимости, составители стремились не столько к публичному выражению своих позиций, сколько к оказанию действительной помощи пострадавшему коллеге, и поэтому составляли вариант письма, уже имея и предварительные договоренности и разработанный алгоритм действий.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Павел Николаевич Игнатьев (1870 – 1926 гг.) – министр народного просвещения 1915 – 1916 гг. (атрибутировано с помощью канд. истор. наук М.А. Руднева). Если предполагаемый адресат установлен точно, то очевидно, что коллективное письмо петроградских ученых было необходимым элементом бюрократической процедуры, дающим основание министру просвещения выступить «ходатаем», так как в неписанных правилах внутрибюрократических отношений действовали и действуют этические нормы запрета на непосредственную инициативу в делах подобного рода. Поэтому полагаю, что авторы письма составляли его, уже получив неофициальное согласие со стороны министра.

<sup>2</sup> Далее в тексте зачеркнуто: «Не признаете ли Вы возможным ходатайствовать об облегчении его положения».

<sup>3</sup> Речь идет о количестве публикаций М.С. Грушевского.

<sup>4</sup> Имеются в виду изданные М.С. Грушевским в переводе на русский язык: в 1910 г. «Киевская Русь» – часть 1-го тома «Історії України – Руси», в 1913 – 1914 гг. «История украинского казачества» – переводы VII и VIII томов. Таким образом, перечисляя названные заслуги М.С. Грушевского, авторы ходатайства непроизвольно выдали авторские переводы за оригинальные труды.

<sup>5</sup> Знак авторский. Далее зачеркнуто: «ему права жительства в одном из университетских городов Европ.[ейской] Рос.[сии]»

<sup>6</sup> Затем за сохранившимися словами в тексте в скобках зачеркнуто: (Нижний (Новгород), Москву, Казань или Саратов).

## М.П. МИКЛАШЕВСЬКИЙ: ДО ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX СТ.\*

Один з корифеїв вітчизняної історіографії Олександр Оглоблин ще на початку 1970-х рр. поставив як найактуальнішу проблему української провідної верстви XIX – початку ХХ ст. – українського дворянства, без дослідження і розв'язання якої історичний розвиток якої буде незрозумілим. Ця проблема досить складна, а, головне, майже не розроблена в науці<sup>1</sup>. Зауваження вченого цілком можна віднести і до історії українського шляхетства, дворянства більш ранніх періодів. Щоправда, тут можемо спостерігати певні зрушення завдяки дослідницьким зусиллям Н. Яковенко, В. Панащенко, С. Білоконя<sup>2</sup> та деяких інших авторів. Але історія українського дворянства XIX – ХХ ст., його еволюція в історично-територіальних межах, консолідація в межах всієї підросійської України, роль в культурно-національному і політичному процесі все ще чекає своїх дослідників. Перші кроки на шляху тотального вирішення проблеми, імовірно, можна зробити в рамках регіональної історії, що потребує не тільки визначення локальних ареалів, а й виявлення, обліку персоналій, пошуку, залучення, введення до наукового обігу нових комплексів джерел.

Соціальні, економічні, географічні, етнічні, історичні умови Катеринославщини дозволяють виділити її як окремий, можливо, субрегіон в історії України XIX – початку ХХ ст., в тому числі й в історії дворянства. Це, без сумніву, потребує перевірки на конкретно-історичному рівні з позицій регіональної історії.

Не дивлячись на зовсім не розв'язану в історіографії проблему становлення соціальної еліти на Катеринославщині, можна припустити, що дворянство цього регіону являло собою якісно відмінне явище, через участь у формотворчому процесі різнорідних елементів, потоків. Так, в істориків України особливу зацікавленість викликає так званий «малоросійський потік» і специфіка, що її вносило саме лівобережне дворянство. Деякі спільні риси – тип господарювання, прагнення до самодіяльності в галузі культури, освіти, збереженні історичної пам'яті та інші, – імовірно, сприяли процесу консолідації

\* Напечатано: Історія та культура Подніпров'я. Збірник наукових праць / За ред. О.Ф. Нікілєва. – Д., 1998. – С. 156 – 160. (соавтор Т.Ф. Литвинова).

українського дворянства, зрозуміти який дає можливість виявлення персоналій, що належали водночас до дворянських товариств різних регіонів\*.

До таких, без сумніву, можна віднести Михайла Павловича Миклашевського (1756/1757 – 1847) – вихідця з відомої козацько-старшинської родини, громадсько-політичного та військового діяча, видатного і впливового у свій час. О. Лазаревський, Г. Милорадович, В. Модзалевський, Ф. Чижов, О. Оглоблин накреслили основні віхи життєвого шляху цієї значної особи і для попереднього ознайомлення читачам можна запропонувати нариси згаданих істориків<sup>3</sup>, але зауважимо, що яскрава фігура М. Миклашевського заслуговує більш глибокого, всебічного дослідження.

В контексті даної статті Михайло Павлович цікавий, в першу чергу, причетністю до історії Катеринославщини початку XIX ст. У 1801 р. він був призначений новоросійським (з 1803 р. – катеринославським) цивільним губернатором<sup>4</sup>. І хоча цей епізод життя не знайшов належного висвітлення в літературі, можна припустити, що Миклашевський справив приємне враження на місцеве дворянське товариство. У січні 1807 р. проводир Катеринославського дворянства Петро Штерич, у зв'язку з урядовим маніфестом 30 листопада 1806 р. про формування Земського війська, звертається до Михайла Павловича з проханням очолити восьмитисячне ополчення губернії<sup>5</sup>. Під час війни з Туреччиною у 1807 – 1808 рр. Миклашевський командував катеринославським Земським військом, «посякая и прободая луну оружием наших предков»<sup>6</sup>, за що одержав «высочайший рескрипт» та «украшенную бриллиантами табакерку с вензелевым Его Величества именем, в вознаграждение трудов понесенных»<sup>7</sup>, атестат головнокомандуючого Земським військом О.О. Прозоровського за відмінну службу на посаді командуючого<sup>8</sup>, а катеринославське дворянство – грамоту з подякою імператора.

Неодноразово дворянство Катеринославщини через своїх проводирів зверталося до М.П. Миклашевського з проханням бути

\* Цей шлях допоможе подолати й труднощі, пов'язані також з укладанням нового списку дворян, оскільки навіть Родовідні книги катеринославського дворянства не надруковані, збереглись в українських архівосховищах фрагментарно, в більш повному варіанті знаходяться в фондах Російського державного історичного архіву (Санкт-Петербург) (далі – РДІА).

благодійником і клопотатися перед центральними органами влади навіть тоді, коли він вийшов у відставку і оселився у своєму маєтку с. Понурівка Чернігівської губернії. Але не тільки солідні зв'язки в урядових колах, що зміцнились під час десятирічного (1808 – 1818) перебування на посаді сенатора, були тому причиною. Дворянство, якщо так можна сказати, мало право розраховувати на підтримку цього чернігівського дідича, який був водночас вписаний у родословні книги Катеринославщини, мав тут значні маєтки і таким чином належав до їхнього товариства.

Можна припустити, що поміщики, які мали володіння в різних регіонах України, сприяли процесу формування її як єдиного територіального, господарчого, культурного організму, так української національної самосвідомості. Невипадково серед громадських, культурно-освітніх діячів Катеринославщини та Лівобережної України у XIX – на початку ХХ ст. бачимо Родзянок, Миклашевських, Полетик, Новицьких та ін., невипадково у 80-і рр. ХІХ ст. і в Катеринославі виявився один з повних списків «Разговора Великороссии с Малороссией» С. Діловича<sup>9</sup>. Дворянство всіляко сприяло археологічним дослідженням Д. Яворницького, передавало до музею унікальні реліквії з родинних архівів та колекцій, збирало гроші для закупівлі козацьких старожитностей, щоб поповнити музей ім. О. Поля<sup>10</sup>.

Окрім того, такі постаті, як М.П. Миклашевський, дають можливість простежити наступність у веденні господарства, виявити спільне і відмінне в різних регіонах, що є важливим не лише для дослідження проблеми регіональних еліт, а й для вивчення соціально-економічної історії. Розв'язанню проблеми, без сумніву, посприяє виявлення і оприлюднення нових архівних матеріалів. Крім архівосховищ України, які для вирішення даної проблеми надають значні можливості, велика кількість документів зберігається в Москві, Петербурзі і в сучасній ситуації майже неприступна для українських дослідників. Дуже широкі перспективи надають хоча б фонди Міністерства Внутрішніх Справ (РДІА). Зокрема, серед документів фонду 1285 Департаменту державного господарства та прилюдних будов зберігається справа під назвою «Дело по представлению Екатеринославского гражданского губернатора о заведениях тайного советника Миклашевского». Основу справу становить «Выписка из представления Екатеринославского гражданского губернатора

к Министру Внутренних дел от 16 октября 1808 г.», яку вважаємо за необхідне навести нижче. Слід зауважити, що це поліфонічне джерело може стати у пригоді також дослідникам колонізаційних процесів на Півдні України, оскільки, з одного боку, проливає світло на поміщицьку колонізацію, а з іншого, – репрезентує офіційний погляд місцевої адміністрації на переваги саме такої колонізації. До того ж «виписка» дещо додає до загальних уявлень про філантропію і благодійництво, про перенесення цих традицій на ґрунт Південної України, про «прогресивне» господарювання поміщиків, перелік яких, як правило, обмежується прізвищами А. Самборського та В. Каразіна. У той самий час майже невідомі як поміщики-господарі В. Полетика, В. Капніст, В. Ломиковський, Д. Трощинський, хоча свого часу не тільки філантропічні, а й господарські заходи українських поміщиків були досить відомі, підтримувались та пропагувались Вільним Економічним Товариством. Безумовно, частині дрібних поміщиків України було не під силу «прогресивне» господарювання, але перелік дворян, що сприяли розвитку економіки і торгівлі, можна значно розширити. Великі можливості в цьому плані відкривають також особисті архівні фонди.

Пропоновані читачам матеріали були виявлені завдяки ще не так давно тісному співробітництву історичного факультету Дніпропетровського університету та тоді ще ЦДІА СРСР у Ленінграді, де протягом ряду років наші студенти під керівництвом викладачів факультету мали можливість проходити архівно-музейну практику\*.

### **Выписка из представления Екатеринославского гражданского губернатора к министру внутренних дел от 16 октября 1808 г.**

*В особенности долгом поставляю донести Вашему сиятельству, что возвращаясь из Александровского уезда, проходил я через владения господина тайного советника Миклашевского; на пространной здесь степи назад тому семь лет было в поселении только семидесят две души, ныне иждивением его устроено село Беленъкое с деревнями, где числится уже 814 душ переведенных из Малороссийских крестьян, обстроены очень хорошо и выгодно. Упражняясь он в земледелии имеет примерно много хлеба и скота как рабочего, так и на плод. Помещик сей к благоденствию завел приходскую школу для обучения детей по правилам, установленным народного просвещения. Кроме сего устроен лазарет или больница в особом хорошем доме*

---

\* Единим викладачем історичного факультету, який весь час керував цією практикою в Ленінграді, був саме Є.А. Чернов (примітка співавтора 2010 р.)

на 40 человек обоего пола, при оном содержится лекарь и имеется достаточная аптека и прислуга, пища для всех больных отпускается из экономии приличная и достаточная. Полезное прививание оспы также здесь в действии. В прочем со стороны хозяйства его, оное есть примерное в здешней губернии поелику кроме довольно распространенного хлебопашества, заведены им гишпанские овцы, на счет коих обучаются на Екатеринославской суконной фабрике люди его с предположением таковым, что со временем заведена будет собственная небольшая фабрика для тонких сукон. В значительном количестве имеются заводы конского, рогатого скота лучших пород, заведен также сад различных фруктовых пород, а более тутовых, сих последних по линиям сочтено многое более полутора тысяч деревьев таких, которые удобны уже питать червей и по словам управляющего имением с будущей весны производство шелка начнется.

Виноградных кустов также я видел значущее количество из коих первый раз в прошедшую осень по уверению управляющего имением сделано вина на подобие Донского Цемлянского до 60 ведер. Из всего заключить можно сколь полезно есть предмет о раздаче помещикам земель, и как желательно чтобы все имеющие оные обратили все внимание свое на подобные сему общеполезные и богоугодные заведения и которых может быть правительство по скромности г. Миклашевского, приемлемо довести до сведения.

Петр Ф. Берг<sup>11</sup>

Можливо, у присіпливого або упередженого читача виникне думка про інспірацію доповідної записки в Міністерстві внутрішніх справ самим М. Миклашевським, однак навіть наявність подібної інспірації не означає обов'язкової фальсифікації фактів, оскільки непрямо перевіряється іншими джерелами. Наприклад, в Інституті рукописів Національної Бібліотеки України, зокрема у фонді С.О. Кивлицького, зберігається ціла низка різноманітних записок М.П. Миклашевського про економічний стан, прибутки з маєтностей Катеринославської та Чернігівської губерній, доповідна записка про проект відкриття фельдшерських шкіл<sup>12</sup> і т. ін. Авторам невідомо, чи був реалізований план суконної фабрики в катеринославських маєтках Миклашевського, але наміри ці були втілені в життя на Чернігівщині в с. Понурівці. З 1815 р. фабрика виробляла тонкі сукна і невдовзі перетворилась на досить потужне підприємство, яке виробляло до 22 000 аршинів сукна, переважно середніх гатунків, а також високої якості твін, фланель, байку, білі та кольорові ковдри загалом на суму понад 50 тисяч карбованців сріблом щорічно. Фабричні робітники – кріпаки Миклашевського – працювали не тільки за панщину, а й діставали «задельну плату»<sup>13</sup>. Крім того, подібні «фальсифікації» в першу

чергу характерні для звітів у «держбюджетній» сфері як у минулому, так і сучасному.

Безумовно, М.П. Миклашевський належав до того типу поміщиків-дворян, які хотіли жити на своїй землі, в цьому світі, займались його благоустроєм, вважали себе відповідальними як за свою малу, так і велику вітчизну. «Сказка ложь, да в ней намек...»

## ЛІТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Оглоблин О. Проблема схеми історії України XIX – XX ст. до 1917 р. // Український історик. – 1971. – № 1-2. – С. 12.

<sup>2</sup> Білокінь С. Доля української національної аристократії // Генеза. – 1996. – № 1 (4); Панащенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII – XVIII ст.). – К., 1995; Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.

<sup>3</sup> Лазаревский А. Миклашевские // Киевская старина. – 1882. – Август. – С. 243 – 258; Милорадович Г. Михаил Павлович Миклашевский (портрет) // Черниговские губернские ведомости. – 1895. – Ч. 666; Модзалевский В. Малороссийский родословник. – К., 1912. – Т. 3. – С. 490 – 491; Оглоблин О. Люди старої України. – Мюнхен, 1959. – С. 150 – 167; Чижов Ф. Сообщение из Малороссии. Михаил Павлович Миклашевский // Русская беседа. – 1856. – № 1. – С. 1 – 50

<sup>4</sup> Модзалевский В. Малороссийский родословник. – С. 490.

<sup>5</sup> Інститут рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України (далі – ІР НБУ). – Ф. 71. – Спр. 1237. – Арк. 1.

<sup>6</sup> Письма к М.П. Миклашевскому // Киевская старина. – 1890. – Апрель. – С. 148.

<sup>7</sup> ІР НБУ. – Ф. 71. – Спр. 1238. – Арк. 1.

<sup>8</sup> Там же. – Спр. 1219. – Арк. 1 – 2.

<sup>9</sup> Там же. – Спр. 2354.

<sup>10</sup> Абросимова С.В. Д.Яворницький у колі катеринославської інтелігенції (кінець XIX – початок ХХ ст.) // Інтелігенція: Суть, історичні долі, перспективи. Міжнар. наук. конф.: тези доп. – Д., 1996. – С. 105; Каюк Д.Г., Литвинова Т. Ф. Українська дворянська інтелігенція: спроба вивчення типу // Там же. – С. 84 – 85.

<sup>11</sup> Російський державний історичний архів. – Ф. 1285. – Оп. 3. – Спр. 182. – Арк. 2 – 3.

<sup>12</sup> ІР НБУ. – Ф. 71. – Спр. 1166, 1199, 1200, 1203 – 1204.

<sup>13</sup> Оглоблин О. Люди старої України. – С. 160 – 161.

## РОЗДУМИ ПРО ПРОЧИТАНЕ В СТИЛІ «A PROPO», АБО СПРОБА ДОБРОЗИЧЛИВОГО ПАМФЛЕТУ\*

(з приводу монографії: Миллер А.И. Украинский вопрос в политике  
властей и русском общественном мнении (вторая половина  
XIX в.). – СПб.: Алегейя, 2000. – 268 с.)

Не знаю, як для кого, але для автора цих рядків здатність до ностальгії є одним з критеріїв та ознак духовності і, якщо завгодно, психоінтелектуальної розвиненості особистості. Зізнаюся, що не вірю ні в які форми та види зовнішньої та внутрішньої еміграції без тури за «батьківчиною». Точніше знаю, що є люди, у котрих сьогоднішнє («тут-зараз») повністю витіснило вчоращне. Причому ця здатність нерідко розглядається як рівень професійності... Знаю про це, але переконаний, що «тут і зараз» – це псевдопрофесійність. Саме тому, перебуваючи в структурах власної історіографічної ідентичності, не тільки не можеться, а й не хочеться визнавати, що політичні хвилі прибили істориків, що живуть та працюють в Україні, до берегу «української історіографії», а десь там, майже не видимий, мерехтить берег «російської історіографії».

Не можеться і не хочеться тому, що відбулося це «прибиття» в той момент, коли здавалося, що ти і багато твоїх колег досягли рівня усвідомлення, що ідентичність ІСТОРИКА без соціальних, державно-політичних, ідеологічних, етнонаціональних, етноконфесійних та інших предикатів і є однією з головних складових твоєї самосвідомості. І коли доводилося читати або чути ремстування, що, мовляв, ми недооцінюємо внесок **наших** істориків, а посилаємося на досвід, наприклад, француза Марка Блока, то навіть, визнаючи конкретну справедливість того, що висловлювалося, виникала потреба заперечити: «Якщо ви вважаєте себе істориком, то чому Марк Блок для вас не **наш?**»

Минулі 90-ті надали історикам низку гірких уроків, серед яких, можливо найгірший – це те, що ми переважно інфантильні. При цьому залишається відкритим питання, чи є це суто радянським-пострадянським випадком (сумніваюся), чи це функція самої пізнавальної діяльності, чи навпаки – галузь пізнавальної діяльності чимось приваблива для певних

\* Напечатано: Схід – Захід (історико-культурологічний збірник) / За ред. В.В. Кравченка. – Х., 2002. – Вип. 5. – С. 112 – 131.

типів особистостей? Очевидним, у будь якому випадку, є те, що означений інфантілізм ніяк не нагадує дитинство, а скоріше підстаркувату дитячість («...позорно затянувшаяся детскость покрыта подозрительным жирком» [Є. Євтушенко]).

Психологічні та соціальні мотиви цього явища можуть стати предметом особливого аналізу, в ході якого дослідникам, безумовно, при бажанні вдасться показати об'ективність цього процесу, а критики репресивно-тоталітарної радянської системи знайдуть корелляти між нею та долею пострадянських істориків і тим самим знімуть з нас левову частку персональної відповідальності, залишаючи «обранцям» лише персональні заслуги...

Одним із симптомів цієї підстаркуватої дитячості, на мій погляд, є дискретність історичної свідомості професіоналів-істориків. Ми люди, які естетизуються у «довгій пам'яті», але гидують «короткою». Це можна було б кваліфікувати як склероз, але утримаюсь, оскільки забудькуватість до недавнього (вчорашнього) у склеротика відбувається не у зв'язку з усвідомленими психоінтелектуальними установками та морально-естетичними цінностями... А тому не будемо ховатися за медичним діагнозом – на суді совісті історика\* немає місця ні експертно-медичному, ні юридичному крутійству. Але є місце й завжди до місця відверте усвідомлення та щире визнання.

Зізнаємося, що теза, яку ми переважно засвоїли від Михайла Миколайовича Покровського, що «история – есть политика, опрокинутая в прошлое», що ми її так завзято піддавали (і цікаво, що й продовжуємо піддавати) нищівній критиці, якщо є несправедливою по відношенню до історії взагалі, то виявляється цілком справедливою по відношенню до переважної більшості з нас. А тому, хоча і не можеться, і не хочеться, однак вимушений визнати, що сиджу я на «березі української історичної науки», а біля свого «не нашого» плещуться в державних історіографічних хвилях російські історики. Відтак спроба подивитися, як з їхнього берега бачиться й сприймається простір і української історії, і української історіографії, є цілком коректною у даних конкретно-історичних обставинах.

---

\* Думаю, що брати в лапки і робити посилання на Люсєна Фєвра буде школярським педантизмом, оскільки час диктує нам слова і знаходяться вони, і ставляться у певний ряд автономно.

Дозволю собі ще якийсь час залишитися за межами основного сюжету і зазначу, що дуже показовою по відношенню до сучасного «українського» з боку сучасного пересічного російського історика, що не претендує на «оголтелий патріотизм», уявляється сценка, свідком та пасивним учасником якої мені довелося стати буквально за декілька тижнів до написання цих рядків\*. На одній з конференцій у Криму турботливі організатори влаштували для учасників екскурсію по Керченській протоці у напрямку Таманського півострову. Однак, коли теплохід опинився у водах, які є предметом довготривалих суперечок експертів з приводу демаркації морських кордонів між Росією та Україною, один з учасників конференції – російський археолог, – виголосивши фразу українською, замість «човни» сказав «човени», був виправлений колегою – київським істориком, який мимохідь зазначив, що як на нього, то слово «човни» звучить краще, ніж російське «челни», але отримав у відповідь примирливо-байдужу фразу: «и то и другое – красиво». І коли київський історик, який безкінечно далекий від примітивного етнопатріотизму, спробував продовжити обговорення «фонемно-естетичного» питання, то його випадковий співрозмовник всіляко намагаючись приховати іронію, зі співчуванням «изрек»: «Вы, конечно, правы!» та поспішив, як говорили раніше «російсько-французькою» мовою, «ретироваться». І хоча ця реакція, візьму на себе сміливість стверджувати, була образливою по відношенню до конкретної особи, але імовірно пересічний образ сучасного «українського», сформованого, у тому числі, і на підставі безпосереднього досвіду, настільки затвердився у свідомості згаданого археолога, що він вирішив не зв'язуватися з дещо «хворими» людьми (множина визначалася моєю присутністю).

Вважаю цей приклад показовим, оскільки ліберально мислячі російські історики не відчувають себе морально-психологічно вільними для відкритих та відвертих дискусій навколо проблематики з явно вираженим українським присмаком. Якоюсь мірою їм заважає відтворення російської державно-політичної свідомості та мода на гучно декларований патріотизм, але головне – прагнення понад усе бути лояльними по відношенню до представників молодої державності.

---

\* Серпень 2001 р.

Якщо описувати такий стан в улюблений фразеології політизованої української історичної думки, то це теж своєрідний рецидив постімперського мислення; в термінах же психоаналізу можна було б казати про відчуття провини, але основною складовою є сприйняття свідомого українського в історіографії як такого, що страждає на хронічну та довготривалу патологію.

Вести дискусію у такому стані вкрай важко. До того ж є небезпека впасти в гріх «російського консерватизму», «націонал-більшовизму», «чорносотенного шовінізму» та інших старих і не дуже «відьом» російського лібералізму, отже, фігури замовчування, відсутність реагування на бурхливо (а іноді буйно) пульсуючу українську історіографію було та залишається своєрідним «добрим тоном» для певного типу істориків з російського «берега».

Справедливість цих припущення та тверджень на конкретно-індивідуальному рівні може бути поставлена під сумнів. Одним з яскравих фактів, що руйнують цілісність цієї картини, є монографія О.І. Міллера «Украинский вопрос» в политику властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX ст.)».

Візьму на себе сміливість стверджувати, що це одне з найбільш «українських» досліджень в усій російській історіографії\*. І хоча відомі праці С.М. Щоголєва, І.І. Ульянова, збірка, укладена М.Б. Смоліним, не поступаються за тематичним охопленням та зацікавленістю авторів, однак, навіть не вдаючись до аналізу їхньої повноти й точності, орієнтація на «викриття» українського націоналізму (сепаратизму) (що саме по собі не означає повної незначущості їх для науки), залишає їх поза межами науково-історичного дискурсу і ускладнює можливість контакту з ними з боку української національної історичної думки\*\*. Мимохід не можу не зазначити, що саме викривальний характер, притаманний значній частині української національно-орієнтованої історіографії, впливав та продовжує впливати на її маргінальне становище в загальному історіографічному процесі.

Разом з тим, незважаючи на всю «українськість» цієї цікавої монографії, а також її безсумнівну актуальність для української історіо-

\* «Українське» не за духом та ідейною орієнтацією, а за мірою занурення у власне українську історіографічну традицію та проблемно-тематичної значущості для вивчення українського національного руху.

\*\* Як оцінює ці твори О.І. Міллер, дивись с. 22 (примітка 39) його дослідження.

графії, вона, на мій погляд, не могла бути створена в сучасній українській ситуації. Не могла бути створена не тільки тому, що в ній наголос робиться не на українському русі, як такому, а на вивчені політики влади та російської громадської думки, що дисциплінарно більше відповідає дослідженням історії Росії (неукраїнські сюжети перебувають на глибокій периферії зацікавлень сучасних українських істориків), а тому, що сам хід українського національного руху, логіка його розвитку розглядаються в нерозривному зв'язку із загальноросійським історичним процесом, тобто неминуче веде до протиріччя з «україноцентризмом», що домінує навіть на рівні рафінованої української історичної думки. Крім того, тема охоплює одні з найболячіших точок української історичної свідомості, від доторку до яких «попіл Клааса стукає в наших серцях» (Валуєвський циркуляр, Емський указ). Тому залишається лише одна альтернатива: або втекти від подібних занадто актуальних тем, або ж взяти на себе функцію нового соліста у хорі викривальників. І хоча теоретичні принципи та методологічні підходи, на які орієнтується О.І. Міллер, цілком доступні хоча б новій генерації українських спеціалістів гуманітарно-суспільствознавчих галузей пізнання, однак андерсонівська типологія спільнот і віднесення нації до типу «уявленої спільноти», що прийнята російським ученим та широко використана у монографії стосовно української нації, може сприйматися так само одіозно, як, наприклад, в радянські часи подібне ж визначення стосовно поняття «клас».

До об'єктів «живої віри-люобові», ідолів, яким поклоняються, підходить з подібним тлумаченням небезпечно та некоректно. Небезпечно не стільки тому, що «репресують» (зараз/поки?/це не модно), скільки від неможливості бути почутий; небезпечно також і у зв'язку з тим, що ризикуєш образити, а відповідно, по-перше, бути некоректним, а по-друге, саме тому ризикуєш (хоч і не модно), що образа викличе бажання «репресувати» образника. Тому передбачаю складне «входження» даного дослідження в структури українського історіографічного процесу, ускладненого ще й тими бар'єрами в бібліографічній сфері, з якими доводиться стикатися сучасним «бюджетним ученим» як на українському, так і на російському (що дещо втішає) «берегах».

Усе ж таки для тих, хто тією чи іншою мірою цікавиться або буде цікавитись історією українського національного руху XIX ст. та історією національної політики російської влади у їх конкретці та сприйнятті російською громадськістю «українського» у цей період та логікою взаємодії суспільства і влади в Росії (без чого неможливе вивчення процесу

формування громадянського суспільства), а також загальними проблемами націоналізму, будуть, безумовно, звертатися до даного дослідження. І, здається, якщо розглядати його в контексті сучасної російської та української історіографії, воно має більше значення для останньої, тому саме в українському середовищі може знайти більшу кількість уважних читачів, серед яких, сподіваюся, будуть переважати люди, вдячні авторові та фонду Олександра фон Гумбольдта\*.

Зазвичай на подібній ноті прийнято завершувати так звані позитивні рецензії. Але зауважу, що дослідження такого рівня, як уже підкresлювалося, не дозволяє обмежитися лише загальною його оцінкою і в усякому випадку не заради такої оцінки воно вийшло на читацький суд, та й не заради неї увесь попередній «город городив» і автор цих рядків.

Сенс моїх зусиль полягає в спробі вступити у бесіду-дискусію вже не з якимось читачем-інкогніто, а із самим автором «Українського вопроса...», а також з тими, для кого «твір» Міллера вже став реальним «текстом»\*\*.

Уже перші рядки його дослідження демонструють українські історіографічні коріння обраної для дослідження проблеми, оскільки автор відштовхується саме від української історіографічної традиції, що дала, на його думку, єдиний прецедент вивчення політики влади Російської імперії відносно «українського питання», вважаючи таким книгу Федора Савченка «Заборона українства. 1876 р.» (Харків-Київ, 1930. Препрінт-Munchen, 1970). Звертаю на це увагу вже не заради підкresлювання «українськості», а для того, щоб зазначити витриманість і навіть делікатність автора по відношенню до всього українського. Висловлюю припущення, що саме тому вчений, замість того щоб піддати, як це зазвичай робиться, детальному критичному аналізу книгу свого попередника і таким чином «розчистити» історіографічними засобами площину для власної, обмежується дуже стислими зауваженнями, по суті апологетичного характеру, що пояснюють, чому праця київського історика «не закрила тему».

Що незручно здавалося зробити з російського «берега», по можливості лапідарно, зробимо на нашому. Дійсно, й архівні матеріали не всі були

\* За підтримки якого було здійснено дослідження. Гумбольтівський фонд і в цьому випадку підтверджив свою високу наукову репутацію.

\*\* Алізії за Р. Бартом тут не заради красномовності, а щоб підкresлити впевненість «різнопочитання» міллерівської монографії, оскільки в ній є що читати.

доступні Ф. Савченкові і, можливо, він надто поспішав, але не досить задовільним його дослідження було й тоді, а тим більше залишається зараз, оскільки, при всій його науковості, прагнення розвінчати «царизм», підкріплene національними почуттями та інтелектуальним усвідомленням своєї співпричетності до певної традиції, неминуче робили книгу талановитого українського історика вразливою для наукової критики.

Метод, який застосовувався і продовжує застосовуватися у питаннях вивчення «українсько-російського» з боку національно ангажованих авторів, – це, переважно, витягування на «лобне місце» образ та образників. Очевидно, що навіть на цьому «березі» такий метод не може бути задовільним для всіх, тим більше він неприйнятний для дослідників з «того берега».

О.І. Міллер, на мій погляд, свідомо не бажає без особливої необхідності множити кількість полемічних вузлів. Тому складається враження, що в рефлексії з приводу власних теоретико-методологічних установок доречним було включити і свої ліберально-етичні цінності. Якщо це так, то, здається, вчасно і нам образитися та заявити, що нема чого нас за не зовсім повноцінних тримати, пройшли ті часи, ми вже інші й нам не менше за вашого «внітно все». Але замість образів проявимо великудушність та поспівчуємо вченому-досліднику, який змушеній рахуватися з можливими нашими почуттями і порадіємо з того, що йому далеко не завжди вдавалося залишатися у межах цих морально-психологічних настанов.

Але, якщо О. Міллер обійшов подробиці аналізу попередньої історіографії проблеми, він зате з надлишком компенсував це розкриттям свого солідного теоретичного багажу, з яким підійшов до вивчення обраної теми. Залишаючи остроронь компліментарні аспекти сприйняття авторської ерудиції, аналітичних здібностей, стилю мислення, що гармонійно поєднують у собі смак до теоретичного із вмінням конкретизації, ясністю викладу, визначимо «точки» можливого «розриву» між автором та одним з його читачів.

Перш за все, повернемося до основного теоретичного постулату міллерівського дослідження – до нації як до «уявленої спільноти». Ризику опинитися у спільноті тих, кого О. Міллер кваліфікував як неглибоких критиків націоналізму [див.: С. 9, примітку 7; тут і надалі у квадратних дужках – посилання на рецензовану книгу. – Є. Ч.] та зазначу, що поняття «уявлене спільнота» («воображенное сообщество»), скільки б уточнень, роз'яснень не робилося б, неминуче призвело б до руйнування самої можливості формування ідеологій націоналізму. Націоналізм як ідеологія,

що приваблює чи відштовхує, – це явище модерного суспільства, а поняття «уявлене спільнота», незалежно від самоідентифікації тих, хто його сприймає, породжене іншим стилем мислення – «постмодерним», або, якщо завгодно – «постнаціоналістичним».

«Націоналіст-антинаціоналіст» – опозиція, яка не мислиться в системі координат постмодерних<sup>\*</sup> цінностей, тому таке поняття, як «уявлене спільнота» фактично є нищівним по відношенню до «націоналізму», до того ж воно не вказує на межі його «раціональності» та витягує з нього головний стрижень – «почуття-знання» («національне почуття», «класове почуття», «голос крові», «національний», «класовий», «красовий» інстинкт тощо). Націоналіст, який стане розглядати націю в термінах «уявленої спільноти», буде таким же «переконаним» націоналістом, якими ми були в дитинстві, коли декламували: «Я маленький мальчик (девочка), играю и пою, я Ленина (Сталина) не знаю (не видел), но я его люблю». А переконаними були лише ті, хто вважав: «Люблю, отже, знаю». Таким чином, не заперечуючи евристичної цінності андерсонівських положень і, розуміючи прагнення до вихідних нейтральних позицій по відношенню до явищ-процесів, що досліджуються, сумніваюся у нейтральності самого поняття «уявлене спільнота». Але зупиняється<sup>\*\*</sup> та перейду до інших можливих «точок розриву».

Формулювання, що «русский национализм» и «официальный национализм» самодержавия представляет собой тесно связанные, но самостоятельные явления, иногда идущие рука об руку, но не менее часто и конфликтующие» [С. 11 – 12], – з одного боку, корисно було бы засвоить українській історіографії як очевидність, а з іншого, – є необхідність нагадати, що самодержавство (читай, влада) в Росії довгий час було найбільш активним джерелом модернізації (вестернізації) і, якщо «займствования готовых идеологических модулей» [С. 10], у тому числі національних, мали місце, то роль влади як ініціатора російського

---

\* Вважаю, що з історико-культурної точки зору словосполучення «постмодернізм» не зовсім вдало, оскільки створює «шуми» у зв'язку із культурно-історичним терміном «модернізм».

\*\* Зупинитися важко, оскільки вся теоретична частина з екстраполяціями на російський історичний процес ставить масу запитань, особливо у читача, про якого воїстину доречно сказано: «остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скользну и падаю другою». Тим більше, до сучасної «раті» мало підходить епітет «стальная».

націоналізму не варто недооцінювати, щоправда, це зауваження більш справедливе для XVIII – початку XIX ст.

Істотну роль у методології автора «Украинского вопроса...» відіграє порівняльно-історичний метод, який використовується ним як для пошуку відповіді на запитання; «почему это произошло?» [С. 22], – відносно власне російсько-українського сюжету, так і для вирішення надзвадання, яке можна побачити в авторському самовизначенні: «Эта книга – о национализме» [С. 8]. Та, хоча функціонально вектор «порівняльно-історичного» спрямований у бік російсько-українського, однак одночасно в тій же постановці, на тому ж матеріалі він може мати зворотну спрямованість.

Вважаю за необхідне зауважити, що перед нами дослідження, в якому попередня заявка у вступі про порівняльно-історичний підхід (метод) відповідає реальному змісту дослідження. Тому частина вступу під заголовком «Сравнительно-исторический контекст» заслуговує на особливо уважне прочитання.

Хто з мислячих істориків\* не розмірковував над проблемою подолання панування ретроспективного погляду на історію? І все ж, при всій дотепності валерстайнівського есе «Чи існує Індія?» мені здається, що задля обґрунтування свого прагнення О. Міллер обрав не найкращу опору для пояснення. Індія як певна історична цілісність функціонує у свідомості не лише тому, що це сучасна держава, а й тому, що Індія має довготривалу безперервну культурно-історичну традицію, яка об'єднана, у всякому випадку в європейській свідомості, саме під цим іменем, що, до речі, полегшувало можливість всебічної легітимації Індії та індійського. Тому твердження, що наше знання про існування Індії сьогодні визначає проекцію цього знання у минуле [С. 20] не зовсім переконливе, особливо в книзі, присвяченій українському питанню. Правда, можливо, автор залишає «за кадром» наступну думку: що справедливо для Індії, тим більш справедливо для простору Східної Європи. Здається, все ж, що аргумент від Валенстайна є не лише даниною ерудитському історіографічному канону, а й «дипломатичному етикету». Він допомагає легше сприйняти «нам» на цьому «березі» і «нам подібним» на російському «березі» ніщивну критику двох способів побудови наративів з історії російсько-українських відносин у XIX ст. [С. 20 – 21].

---

\* Сподіваюся – це не сприймається ще як оксюморон.

Приймаючи повністю їхню характеристику і вважаючи, що у сучасних умовах вона заслуговує на більш різкі форми висловлювань, все ж відзначаю, що не зовсім погоджується з твердженням про існування до сих пір лише двох способів. Це все ж таки досить значне спрощення. Інша річ, що інші способи не можуть бути «затребувані». Вони мають вкрай низьку «споживацьку вартість» на внутрішніх ринках.

Аргументуючи необхідність розширення «оптики» дослідження [С. 30] російсько-українських стосунків XIX – початку ХХ ст. шляхом розгляду їх в контексті європейських національно-державних процесів та, полемізуючи з тими, хто схильний підкresлювати їхню винятковість, О. Міллер посилається на те, що на етапі початкового «оголошення» українського націоналізму і виявлення «українського питання» в Росії, самі сучасники цього процесу з обох сторін проводили паралелі, шукали аналогії у досвіді західноєвропейських країн, а не лише імперії Габсбургів. Тому, «если изначальная структура проблемы допускала такое сравнение – а для современников, не зневидавших, как будут развиваться события, это не подлежало сомнению, – то отбрасывать его было в высшей степени непродуктивно» [С. 30]. Беручи до уваги даний аргумент, імовірно, необхідно враховувати контекстуальність самих висловлювань сучасників, не забуваючи, що всі вони були учасниками журнально-«партійної» боротьби, в якій «істина моменту» домінувала над «моментом істини»\*.

Та вже зовсім несподівано для об'єктивного дослідження звучать слова: «именно сравнение неудачника с теми, кто смог более или менее решить сходные задачи, и позволит понять причины этой неудачи» [С. 30]. Ці «неудачник» та «неудачи» без авторських лапок «дорогого стоит»... Просто чую дружнє, зловісно-урочисте голосіння з нашого «берегу»: «так і є, що й треба було довести, – торжество української національної ідеї, «набуття Україною незалежності для них історична невдача!». Ні, справді неможливо зберігати справжній нейтралітет, особливо коли перебуваєш

---

\* Цікаво, що сучасні прихильники радикальної «українізації» охоче аргументують «від Франції» та інших «національних» держав, подібно до того, як це робили «русифікатори» у XIX ст. Чи означає це, що буде коректним для майбутніх дослідників сучасних історичних процесів посилатися на них для підтвердження необхідності порівнянь? Мені здається, що і тоді, і зараз, ці «порівняння» (аналогії, паралелі), позитивні чи негативні, виконували не аналітичну, а полемічно-ідеологічну функцію.

у зоні безпосередніх «воєнних дій»... І не прорватися крізь «голосіння», не виходячи за рамки наукового етикету, тому треба «гаркнуть, срываючись з поетического тона, громче иерихонських «хайлів»» (В. Маяковський) та заявити: «Схаменіться, будьте люде...», – мова йде про невдачу проекту побудови «великої русської нації». Причому голосіння протесту більш доречні з їхнього «берега», оскільки критерії відносного успіху чи невдачі проекту залишаються нез'ясованими.

Не можу не поставити запитання: якщо у найближчий час (в історичному вимірі) у Великобританії відбудеться ескалація, наприклад, шотландського національного руху, яка призведе до створення незалежної Шотландії, то чи буде в істориків достатньо підстavar стверджувати, що побудова «великої британської нації» в XIX – XX ст. не вдалася і що не було «консолідованиої нації-держави», а був усього лише «нереалізований проект»?

Знову вкотре спроба подолання ретроспективного погляду на історію виявляється поза вузькопозитивістським підходом невдалою. І у зв'язку із цим доречно навести професійне кредо самого нашого автора: «История вообще должна стремиться ответить на два (подkreślено мною. – Е. Ч.) вопроса. Как «это» произошло? Почему «это» произошло?» [С. 22]. Відповіді на ці запитання неминуче виводять автора на шляхи історичної ретроспекції, і залишається лише докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати ступінь телеологізму щодо аналізу. І тому, якщо вже дуже дратує погляд «від результату», необхідно відмовитися від постановки запитань у формах причинності, а залишатися в рамках напівзабутого старого: що відбулося (було)? – усуваючи із «що» відтінки свідомої каузальності.

А поки ще нас продовжують цікавити питання, пов'язані з механікою, органікою, психологією, логікою суспільно-історичних процесів, зупинимося на деяких моментах розкриття процесу формування «проекта великої русської нації» у міллеровському розвороті.

Київський «Синопсис» розглядається як один з наріжних каменів, що закладені у фундамент цього проекту. Подальша ідеологічна роль «Синопсису» ніяким чином не може бути заперечена. Але відмова від джерелознавчого підходу до самого «Синопсису», що було і залишається характерним для історії ідей та політики, не дозволяє побачити, що анонімний(ні) автор(и) цього твору виступав(ли) компілятором «ходового» історичного матеріалу. І той факт, що типографський «Синопсис» мав, безумовно, більшу мобільність, ніж рукописні твори на історичні теми, не дає підстavar забувати, що «оглядачі» історії з кола Києво-Печерського монастиря другої половини XVII ст. не самі «творили» єдину російську

історію. Тому безпосередній вплив «Синопсису» на формування російської наукової історіографії, на мій погляд, дещо завищений\*.

Не можу не відзначити, що навряд чи серед конкретних цілей для автора(ів) «Синопсису» могло бути прагнення «облегчить элите Гетманата инкорпорацию в русское правящее сословие» [С. 31]. Такої проблеми тоді не існувало ні з одного, ні з іншого боку. Москва не дуже заважала, хоча б тому, що в Гетьманаті не спостерігалося потреби в цьому. Була інша проблема, – не інкорпоруючись нікуди, легітимізуватися. І якщо на початку XVII ст. московська церковна влада дійсно могла вимагати від духовних осіб з України повторного хрещення, то в період створення «Синопсису» (після Ніконівської реформи) це було б анахронізмом.

Але шляхом абсолютизації ролі «Синопсису» дослідник безпосередньо підходить, на мій погляд, до одного з ключових питань у розумінні еволюції розвитку самої української національної думки та російсько-українських ідейних взаємозв'язків. Мова іде не про твердження, що культура, відома під назвою «російська», була спільним плодом діяльності еліт Росії та України (додамо – й Білорусії), – це положення, яке не потребує вже спеціального обґрунтування чи навіть спеціального посилання на Ліа Грінфельд [С. 32, примітка 66]\*\*, мова йде про те, що ідея возз'єднання України з Росією або Малоросії з Великоросією є продуктом переважно малоросійської (читай – української) історичної думки. І лише в ідеології українського націоналізму XX ст. сама ідея була відкинута, осміяна і навіть приписана виключно російській офіційній ідеології\*\*\*. Тому, можливо, в наведений дискусії Р. Шпорлюка з Л. Грінфельд ступінь правоти більше на боці останньої, яка стверджує, що вихідці з Малоросії виковували великоруську національну самосвідомість [див.: О. Міллер. С. 33, примітка 67]. До того ж, не слід недооцінювати і роль представників інших етносів (греків, південних слов'ян, німців, самих великоросів...) у цьому «ковальському» процесі. Нарешті, посилені етноконтакти між малоросами

\* Нагадаю, що «Синопсис» в «Истории Российской...» В.М. Татіщева знаходиться в ряду авторитетних джерел, на які він також безпосередньо посилається.

\*\* На конкретно-історичному рівні, воно з достатньою повнотою було розкрито російською історіографією XIX – початку XX ст., тому М.С. Трубецький лише користувався цим матеріалом як хрестоматійним, будуючи свою культурологічно-політологічну концепцію.

\*\*\* «Вменили», щоправда, зауважу, не без успіху, і довівши до стану «невменяемості» її запеклих апологетів.

та великоросами приводили не лише до викорування загальноруського, але й сприяли роздмухуванню партикулярного націоналізму. Проте, в силу конкретних обставин, чим більше «малороси» ставали «українцями», тим більше «великороси» ставали «руськими», що, у свою чергу, виштовхувало національно ангажованих малоросів в український простір.

І тут знову настає момент, коли необхідно зупинитися, тому що вступна частина твору О. Міллера настільки насичена, що починає породжувати в ході «повільного прочитання» множину «текстів» навіть в одного читача. Однак все ж таки розділ вступу «О термінології» має владу (майже за М. Фуко) наді мною, як читачем, а влада, як відомо, викликає різноспрямовані реакції: з одного боку, ти потрапляєш під її «безсоромні чари», а з іншого, – загострюється потреба до спротиву. Здається, в усій відомій мені літературі не зустрічалося більш всебічного та узагальнюючого аргументованого аналізу ключових термінів для вивчення історії російсько-українських взаємовідносин. Проте неодноразово підкреслене прагнення автора до показово нейтрального використання термінів, на мій погляд, не має сенсу. Бо «одні» зрозуміють без пояснень, а «інші» не почують ніяких пояснень. Таким чином, авторські зусилля мають переважно лише просвітницьке значення для мало підготовленого читача.

Усі попередні роздуми торкалися лише однієї структурної частини «Украинского вопроса» – вступу. Не розглядався ще головний сюжет книги. Забігаючи наперед, відзначу, що він викликав у мене значну кількість різноманітних реакцій, які «потребують» оприлюднення. У повному обсязі це неможливо зробити в рамках даної публікації. Тому, продовжуючи, наводжу в ній міркування з приводу лише першого розділу\*. Але в тому ж стилі «вільного прочитання», стислих чи більш просторих заміток на маргінесі.

Хоча в заголовку книги вказані хронологічні межі дослідження, що визначаються як друга половина XIX ст., однак, по-перше, кому з істориків відомий універсально точний початок і кінець цих половинок століття (як і цілих), по-друге, зрозуміле прагнення автора реконструювати ситуацію, що склалася в першій половині XIX ст. Для нього це не просто прагнення «заземлити» основний матеріал, але й глибоко концептуальне рішення, оскільки він дотримується достатньо розповсюдженого в історіографії точки зору, що перша половина XIX ст. (в історико-культурній

\* Сподіваюся при нагоді опублікувати повний розгляд. До речі, найбільшому коментуванню піддані мною три перші розділи, оскільки в цих періодах, відчуваю себе більш підготовленим до дискусії, ніж у наступних.

періодизації – епоха романтизму) була початком становлення європейських націоналістичних ідеологій, що в системі цінностей романтизму знайшли джерело та віправдання для усвідомленого подолання християнсько-просвітительського універсалізму на шляху до національно-культурного та державно-політичного парткуляризму. Тому розділ перший «Россия и украинофильство в первой половине XIX в.» [С. 51 – 62] самим задумом в структурі даного дослідження був приречений стати «зоною підвищеного авторського ризику». І справа не лише в тому, що багато чого залишилося поза увагою; чимало з того, що потрапило в поле зору, потребує додаткових коментарів і уточнень.

Уже перша фраза про те, що «растянувши на полтора века процесс инкорпорации Левобережья в Российскую империю протекал достаточно гладко» [С. 57], не може бути прийнята без обмежень. Півтора століття – термін достатньо довгий і процес цей, як відомо, був неоднозначним. І навіть відносно останнього етапу (кінець XVIII – початок XIX ст.) оцінки Зенона Когута, на які спирається О. Міллер, на мій погляд, містять у собі відтінок незадоволення рівнем опору «місцевих еліт», що притаманний критично налаштованим ідеологам українського націоналізму\*. Тому для дослідника «політики влади» більш адекватним могло б інше твердження, наприклад: незважаючи на складний процес інкорпорації, що розтягнувся майже на півтора століття, на кінець XVIII – початок XIX ст. Лівобережна Україна та її населення перетворилися на органічну частину Російської імперії, що й зробило можливими зміни і в політиці влади, і в суспільних настроях по відношенню до «малоросійського». Чергова «гримаса історії» – українське питання – виявляє себе не в конfrontаційних умовах, а у зовнішньо компліментарних.

Ілюстрацією того, що на берегах Москви та Неви вітчизняна історія XIX ст. мислиться по-іншому, ніж, скажімо, на берегах Дніпра, а тим більше Стрия, служить той факт, що українське національне відродження для Міллера позбавлене не лише сакральності, а й наукової значущості. І справа не тільки в тому, що його стилю мислення притаманна орієнтація на поняття, що піддаються чіткій дефініції, – у середовищі українських істориків також немало таких, хто орієнтується саме на такий же стиль, – а

---

\* Від корифеїв XIX ст. – «XVIII век есть наихудший из веков, которые прожила наша нация...» (П. Куліш); «пропащій час» (М. Драгоманов) – до історіософських ідей ХХ ст. таких «стовпів», як М. Грушевський, В. Липинський, М. Донцов, І. Лисяк-Рудницький та ін. Тут слово «націоналізм» використовую як узагальнююче.

Й у тому, чи може обійтися російський історик, навіть глибоко обізнаний в українській історичній літературі, без цієї міфологеми\*. Між тим навіть дуже «просунуті» сучасні українські гуманітарії та суспільствознавці не можуть обійтися при описі та аналізі українського історичного процесу модерного періоду без використання терміну «відродження». Якщо ж підходить до українського відродження з методологічних позицій, то слід зазначити, що воно (поняття) виконує синтезуючу функцію між окремими етапами українського національного інтелектуального духовного життя, роблячи, таким чином, уявлення про цей процес менш дискретним. Завдяки цьому, рух до модерного українського націоналізму (за рахунок багатьох спрощень) вдається відтворити як історичну тягливість. Її не відкидає і О. Міллер, але особливо підкresлює, що між поколінням М.О. Максимовича та генерацією кирило-мефодіївців є значна дистанція. У цілому, як це і прийнято в історіографії, ця дистанція визначається наданням «малоросійським», «українським» зацікавленням особливих політичних мотивів, протиставляючи традиціоналістське – регіональне власне націоналістичному. Приймаю ці положення за даність і відмовляюся тут від спроб їх уточнення. Все ж відкритим залишається сакральне питання: «Чому?» Скористаюся зручним приводом для того, щоб відповісти на нього.

З другої половини XVIII ст., по мірі остаточної інкорпорації в структури Російської імперії, втрати решток автономії в історичних творах на «малоросійські» теми закріплюється погляд на історію Малоросії як на завершений процес. Цей погляд цілком поділяли і представники української патріотичної думки, особливо після невдалих спроб збереження та реставрації. Такий погляд взагалі відповідав не тільки «живому» ходу історії, але й раціоналістично-просвітницькому стилю мислення. Естетика преромантизму і раннього романтизму сприяла тому, що покоління, формування якого припало на початок XIX ст., бачило в малоросійському (українському) дуже цінні прояви світу, що минає, і за свій моральний обов'язок вважало їх збереження і «музеефікацію». Але в структурах того ж романтичного мислення визріває і оформлюється нова філософія історії, яка відкриває в якості головного суб'єкта історії етнокультурну спільноту – Народ. Усі ці достатньо банальні уявлення

\* Було б перебільшенням стверджувати, що в даному випадку ми стикаємося з принципово різними історіографічними дискурсами, але виглядає правомірним говорити про «субдискурс».

вимушений навести тільки лише задля необхідності підкреслити, що на українському ґрунті це призвело до зміни поглядів на «українське» нового покоління, моральне й інтелектуальне визрівання якого припало на 30-ті – початок 40-х рр. XIX ст., коли подібні ідеї стали вже не висновками, що даються тяжко, а свого роду відправним пунктом. Саме тому генерації кирило-мефодіївців судилося усвідомити самим і розпочати пробуджувати в інших думку, що українська історія (українського народу) є процес, ще не до кінця реалізований у всесвітній історії. Саме тому рефрен у «Книзі буття українського народу»: «Лежить Україна в могилі», – що змінюється поодиноким «ще не вмерла», – є не тільки ремінісценцією з польської національно-визвольної думки, але й важливою та оригінальною для свого часу історіософською ідеєю, контрапунктом всієї національної ідеології. Саме тому лише з цього моменту (коли так необхідно, чи звично) є підстави вдатися до синтезуючого поняття «відродження», а для прихильників культурно-історичних типологій називмо попередній період «передвідродження».

Однак, здається, «роздуми з приводу» занадто відсунули на задній план сам «привід», що примушує повернутися до першого розділу відносно політики влади та громадської думки.

Сприймаючи позитивно загальну картину, що представлена Автором відносно першої половини XIX ст., вважаю за необхідне звернути увагу на деякі її фрагменти і навіть окремі деталі. Перш за все, якщо орієнтуватися на методологічні принципи самого Автора, то доречно було б підкреслити, що в означений період (до 40-х рр. XIX ст. включно) в російській громадській думці та й в політіці влади не було усвідомлення українського питання (у будь-якій термінологічній «упаковці»). Тому ні Ю. Венелін, ні навіть В. Белінський не висловлювалися із цього питання. Щоправда, їхні висловлювання в тій мірі, в якій вони набували публічного характеру, сприяли формуванню українського питання. І якщо для української суспільної думки та історіографії неаналітична фіксація всіх так званих «кантиукраїнських» висловлювань «неистового Виссариона» зрозуміла, то сучасному російському досліднику, навіть при врахуванні усіх застережень, зроблених ним, можна за це докоряти.

Для того, щоб виявити, прихильником якої реальної політики в українському питанні був Белінський, у дослідників немає достатнього матеріалу. Аналізувати ж окремі висловлювання літературного критика-публіциста поза контекстом його ідейно-естетичної позиції – принципового антиромантизму; не враховувати того, що, особливо у вітчизняній

романтичній літературі, він бачив переважно лише епігонство, мертвчину, літературщину, – це дещо дивус, особливо якщо взяти до уваги, наскільки О. Міллер уважний до «контекстів» у наступних розділах. До сказаного слід додати, що «малоросійське», «українське» сприймалося В. Белінським зазвичай не як прояв народного, а як штучно-романтичне.

Не можна ігнорувати і той контекстуальний момент, що «у 40-х рр. адептами «малоросійського» і «українофільського» як частини загальноруського виступали слов'янофіли та «слов'янофільствуючі» охорнителі, тобто ті «партії», які були журнальними та гуртково-салонними ворогами Белінського та його однодумців. Не зайвим буде нагадати, що у Москві таким органом був «Москвитянин» М.П. Погодіна, а в Санкт-Петербурзі – журнал «Маяк» Бурачека. Журнали, в яких співробітничав Белінський (спочатку «Отечественные записки», а з 1847 р. «Современник») вели з ними жорстку полеміку з літературно-прогресистських (з елементами революційно-радикальних) позицій, розглядаючи своїх опонентів як представників консервативної і навіть ретроградно-обскурантистської думки. Тому, наприклад, Т. Шевченко і П. Куліш, що, імовірно, на той час ще не замислювалися над вибором публічних трибун і твори яких охоче публікували в «Москвитянине» та «Маяке» разом з позитивними відгуками та рецензіями на праці українських авторів, були вже самим цим фактом приречені потрапити під вістря різких висловлювань з боку «Неистового...».

У зв'язку із цим не зовсім коректними є популярні зіставлення, яким віддав данину і наш автор, поглядів Белінського 40-х рр. з більш пізніми поглядами О. Герцена, М. Чернишевського, М. Бакуніна. Та, нарешті, Белінський щодо української мови, на мій погляд, виявляє себе не стільки «асимілятором», а скоріше недостатньо обізнаною людиною. Наведені О. Міллером відомі рядки: «мы имеем полное право сказать, что теперь уже нет малороссийского языка...», – здається, більш адекватно пояснюються не агресивно-асиміляторською позицією, а притаманним їх автору несприйняттям штучного «ренесансного», що так само поширювалося і на великоруське в тих випадках, коли доводилося мати справу з такого роду проявами. І навіть «перлюстрований» пізніми дослідниками сумнозвісний лист Белінського до П. Аненкова з його різким тоном по відношенню до кирило-мефодіївців не дає підстав для узагальнюючих висновків про агресивні позиції Белінського по відношенню до українського руху в

цілому, а лише щодо певно потрактованого руху і його учасників\*. Додам, що на позицію «агресивного асимілятора» цілком можна було б поширити тонкий коментар О. Міллера до цитованого ним листа О. Хом'якова до Ю. Самаріна від 30 травня 1849 р. [див.: С. 61, примітка 41].

Разом з тим дійсна опозиція українофільству, що формувалася в російській громадській думці, складалася не з Бєлінського та його кола, а безумовно, зі слов'янофілів та слов'янофільствуючих, а також з невеликоросів за походженням, що інкорпорувалися в російське, відчуваючи «обаяние» великої імперії. Це і поляки, і німці, і літовці, і білоруси, і, безперечно, українці, і «лица кавказької національності» та інш. (пізніше до них додадуться євреї). І серед них найбільш помітною була позиція О. Сенковського, професора-сходознавця Санкт-Петербурзького університету, редактора журналу «Бібліотека для чтения», відомого белетриста та публіциста (літературний псевдонім Барон Брамбеус).

На жаль, уся лінія полеміки початку 40-х рр., що її вів Сенковський з усіма проявами українофільства, залишилася поза увагою О. Міллера. І хоча цю полеміку також не можна розглядати поза журнально-«принковими» боями того часу, для критичних статей, що йшли від редактора «Бібліотеки для чтения», наприклад, щодо «Істории Малороссии» М. Маркевича, характерне (поряд з типовим для його рецензійного стилю «єрничеством») дуже різке та антиапологетичне сприйняття української історіографічної традиції, що переростає в інвективи. Як відомо, статті Сенковського викликали навіть спробу організації йому публічної «відповіді» від притягнення до відповідальності через начальство (Д. Бібіков) до однієї з перших спроб історичної публіцистики П. Куліша – «Ответа Сенковскому», надрукованому у «Москвитянине» (!)\*\*. Коли б Сенковський у своїй критиці «Істории...» Маркевича залишився у межах розкриття її наукової і філософсько-історичної неспроможності, то його критика цілком могла б розглядатися поза рамками національного питання, але він взявся за розвінчання основ «малоросійського патріотизму». З ретроспективних позицій може здаватися, що він ставив собі за мету вирубати коріння

\* Про всяк випадок зауважу, що сказане не є виправданням конкретних поглядів Бєлінського, а лише уточненням його позицій.

\*\* М. Погодін при публікації використав характерний епіграф: «Не верю чести игрока, любви к России поляка...» (Дивись: РДБ. – Ф. 588. – Од. зб. 266; Пам'ятки суспільної думки України XVIII – першої половини XIX ст.: Хрестоматія / Під ред. А.Г. Болебруха. – Д., 1995. – С. 466 – 467).

чи, точніше, виполоти «бур'яни» українофільства. Звертаю увагу на Сенковського ще й через те, що роль польського елементу у формуванні українського націоналізму без подібних (не поодиноких) фактів залишиться недооціненою.

Для тих, хто поставить собі за мету на дослідницькому рівні підійти до першої половини XIX ст. так, як О. Міллер підійшов до другої, може бути корисним припущення, що такі, як Сенковський (і, можливо, інші) в першій половині 40-х рр. стали збуджувачами антиукраїнофільських викривальних настроїв у російському суспільстві, впливаючи на урядову політику. У даному випадку поєднання елементів патерналізму, громадянського суспільства з поліційно-бюрократичною державною системою створювало складний тип відносин, що підтримували гармонію між владою і різними суспільними колами. Оскільки до освічених кіл входила порівняно невелика кількість людей, то між владою й цією частиною суспільства не було помітних суперечностей. Циркуляція ідей між інтелектуальною елітою і владними структурами була швидкою, бо мала фактично безпосередній характер. Тому, якщо скористатися характеристикою, яку надав О. Міллер правлінню Миколи I, «николаївський режим» був обізнаним у різних проявах громадської свідомості, і не стільки вирішив «не показывать вида, что проблема существует» [С. 62], скільки дійсно не бачив проблеми. Безумовно, він не був «далекозорим», але не дуже страждав на «коротко-зорість», коли не бачив «чорного кошеня» в «чорній кімнаті», хоч воно там було, тому що великі «кішки» загальних соціально-політичних та морально-етичних проблем поряд з «тиграми» – польським національно-візвольним рухом і Кавказькою війною, – закривали його собою.

На мій погляд, для розуміння стану українофільства наприкінці першої половини XIX ст. доречно вдатися до улюбленого нашим автором методу «аналогії». Подібно до того, як колись «антигерой» Бєлінський у «Літературних мечтаниях» проголосив, «что у нас (в Росії. – Є. Ч.) нет литературы», хоч визнавав, що було достатньо видатних літераторів, дозволю собі такий висновок: у 40-х роках XIX ст. український національний рух ще не склався, хоча вже були його видатні діячі. Віддамо належне владі, вона помітила «діячів», і з «тактовністю», яка притаманна владі всіх часів і народів, їх «благословила». Без цього «високого благословення» на етапі лібералізації кінця 50-х – початку 60-х рр. «активізація українофільства», здається, мала б ще більш «скритий характер» [С. 63]. Але, торкаючись цього питання, я порушую власноручно окреслені межі даної публікації.

## «ПІСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ»: ОПЫТ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ РЕЦЕНЗИИ\*

Рец.: Михайло Максимович. Листи. – К.: Либідь, 2004. – 312 с.; («Пам'ятки історичної думки України»). Пантелеймон Куліш.

Листи. Т. 1. 1841 – 1850. – К.: Критика, 2005. – 646 с.

Так, по первоначальному замыслу, должно было быть оформлено заглавие, заказанной автору этих строк, ответственным редактором «ДІАЗа» О.И. Журбой, рецензии на публикацию сборников эпистолярного наследия одних из самых значимых личностей в украинской истории и знаковых имен исторической памяти Украины. При этом «подрядчик» ненавязчиво, но все же ориентировал исполнителя на то, что эти издания желательно подвергнуть рецензированию с дисциплинарных позиций «эпистолярной археографии».

Так как с «легких рук» почти всех представителей политической элиты нашей страны «бытие Божие» уже не вызывает сомнения у лояльных граждан (к коим себя и отношу), то могу, сославшись на этот «онтологический аргумент», призвать в свидетели Всеышнего, что искренне и, насколько возможно ответственно, приступил к анализу этих сборников с выше (это уже не о Всеышнем) упомянутых исходных установок.

И уже начала формироваться оценочная шкала, на которой первый том из задуманного десятитомника эпистолярного наследия П. Кулиша представлялся как образец высокой научной археографии, а издание избранных писем М. Максимовича, – оставляющее желать лучшего. При этом, само собой разумеется, предполагалось отметить и различия в самих издательских программах, обратив внимание и на другие структурные элементы «формуляра» рецензии подобного рода. Но, как известно, позиция рецензента предполагает необходимость прежде, чем выступить в роли Автора\*\*, быть актуальным Читателем. То есть, как это «декретно» закреплено в сознании каждого наслышанного постсовременного гуманитария нашего еще (по

\* Напечатано: Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д., 2009. – Вип.3. – С. 754 – 766.

\*\* Только с прописной, тем более, когда о себе.

определению многих из нас) непостмодерного пространства\*, быть со-Автором. В данном конкретном случае я как предполагаемый рецензент оказался в усложненной со-Авторской ситуации, так как, кроме Скрипторов опубликованных писем, в роли со-Авторов для меня\*\* выступают и селекционеры-археографы, и археографы-комментаторы, и Скрипторы вступительных статей, не говоря уже о тех, кто «со-Авторствовал» моему «Авторству» на протяжении всей предшествующей жизни до момента встречи с указанными публикациями.

Если у этих строк появится Читатель\*\*\*, то, обращаясь к этому эвентуальному со-Автору, считаю необходимым подчеркнуть, что с моей стороны «ироническое» – результат осознания утрачивания своего языка и неорганичности новояза (постиг различие между Хлебниковым и Крученых).

Так вот, исполнение этой необходимой роли читателя привело к полному демонтажу всего первоначального замысла. Читатель-автор оказался во власти Письма (в данном случае «Письма» письма). Так как в этом затянувшемся (как всегда) предисловии я уже завел и себя, и Читателя в лабиринты собственного мыслечувствия, то не остается ничего другого как продолжать распутывать это же клубок, тем более, что на самом деле (знаю доподлинно) он не такой уж объемный, и в «лабиринте» нет даже и тени, напоминающей Минотавра, а следовательно путешествие по нему не требует и Героя. Поэтому вытяну еще одну «нить»...

Говоря о «власти Письма», следовало бы уточнить, что особой магической силой для «гуттенбергового человека» обладает систематизированная типографская публикация. Дело в том, что мне приходилось в разрозненном виде знакомиться с перепиской и М. Максимовича, и П. Кулиша, причем как в формах опубликованных, так еще больше, – архивных. И многие письма из взятых для

\* Почти по Тимуру Шаову: «Пространство неевклидово, – хрен знает чье оно...». На мой вкус, вместо растительного корня я бы поставил демонологическое – «Черт», но есть этические нормы Читателя – со-Автора.

\*\* Если бы применить прописную, то у будущего Читателя-со-Автора могли бы возникнуть ассоциации с отцом Александром Менем. Прошу издателей не допустить возникновения подобных ассоциаций.

\*\*\* Сослагательное наклонение – ни к чему, – у них будет обязательно Читатель – Олег Иванович Журба.

рецензии публикаций, казалось, были уже прочитаны(?) ранее. Но, представленные в хронологической последовательности с почти максимальной полнотой, расшифрованные и переведенные в типографский шрифт, письма П. Кулиша с 1841 по 1850 гг., читаемые в этой, предложенной издателями, последовательности привели к сбою в программе Читателя.

«Археографическая критика» стала отодвигаться на «задник» сознания, а на «авансцену» властно выходить «Кулиш и его время». И в какой-то момент с очевидностью проявилось, что не до рецензии... и если писать, то надо искать другой жанр, другое заглавие.

Правда, в ходе осмысления этого нового замысла в дальнейшем вырисовалось представление, что на самом деле это и есть одна из форм рецензии, причем обладающей самым высоким уровнем комплиментарности по отношению к фактам «эдиционной археографии»\*. Свидетельствую, – без факта данных публикаций вряд ли было бы возможно движение мысли, результаты которого и будут предложены в нижеследующем этюдном наброске\*\*. Добавлю только, что по моему глубокому убеждению, из всех видов и жанров источников наиболее мощным катализатором мыслечувствия историка является именно эпистолярий. Акцент ставлю здесь не на уникальности разнообразной информации, носителем которой являются письма, а мыслечувствие.

Итак, штамп советской журналистики: «письмо позвало в дорогу» – с существенным отличием, что дорога – в данном случае метафора рассуждения.

## ХЛЕСТАКОВЩИНА П. КУЛИША: ОПЫТ ИСТОРИКО-СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АПОЛОГИИ ЯВЛЕНИЯ

Из «предизвещения» (отдадим дань XVIII веку) можно зафиксировать некоторые исходные обстоятельства, повлиявшие на формирование последующего рассуждения.

---

\* У меня эта терминология непосредственно связана с именем Незабвенного Николая Павловича Ковальского, поэтому и закавычиваю.

\*\* Конечно, у тех, кто не воспримет идеи предлагаемого рассуждения, или уже испытывает острый токсикоз от стиля, рискую вызвать язвительную реакцию по поводу роли археографов-публикаторов. Но и они должны будут признать, что в этом и есть «апология археографии».

Первый том писем П. Кулиша, охвативший период 1841 – 1850 годы, а также публикация избранных писем М. Максимовича выполнили функцию источниковой базы\*.

Важным методическим моментом было неосознанное обращение к приему (названному в свое время Н. Эйдельманом) «медленного чтения», который не мог дать того эффекта при чтении публикации писем М. Максимовича (ввиду их фрагментарной презентации) и «сработал» в случае с письмами П. Кулиша (полнота, хронологическая последовательность – разворачивание образа/ов). Для историка (исторически мыслящего) – важнейшие моменты\*\*.

С методической точки зрения заслуживает внимания и тот факт, что приходилось уже в силу различных предшествующих обстоятельств погружаться с большей или меньшей степенью интенсивности в Максимовича и Кулиша. И, если погружение в Максимовича было чаще всего средством, то в Кулиша, – скорее целью. На мой взгляд, это следует учесть как фактор интеллектуально-психологический. Без подобного контекста, кажется «медленное чтение» писем П. Кулиша привело бы (в моем варианте) к другим непосредственным результатам. А именно: новизна информационной конкретики заставила бы меня-читателя воспринять ее, критически анализировать и систематизировать, – осуществлялось бы знакомство, шел бы процесс «первоначального опредмечивания» (опредмечивания объекта/ов). Интересно, что как только идея начала оформляться, то тут же сознание зафиксировало: «кажется, догадывался об этом раньше».

Пусть простит мне Читатель попытку подробного описания исходных позиций. Прошу поверить, что не интриги ради (впрочем, это не является большим грехом в публичном говорении-писании). Ну, и тем более, не из-за ощущения «радости открытия» (моментально

---

\* А вот эту терминологию испытываю потребность преодолеть, но вряд ли смогу в этой жизни, разве что только склеротическим путем. Убежден, что более корректным, менее мистификаторским является термин «информационно-аналитическая база»... «Ну, это, братцы, о другом...» (Б. Окуджава).

\*\* Мне кажется небезынтересным, по крайней мере для студента-Читателя (размечтался), следующее автобиографическое наблюдение: в отрочестве и юности старался читать классиков в последовательности собраний сочинений. В результате, – стирание фабульно-сюжетной конкретики произведения при устойчивости образа/ов личности писателя.

пережитого)\*. Эти подробности вводятся сознательно, так как считаю, что историки, работающие в диапазонах: реконструкция – конструирование – деконструкция, просто обязаны (зачастую игнорируя эту обязанность) с максимальной степенью полноты фиксировать для себя и представлять для других «исходные позиции». Без этого все претензии на научность являются мистификацией и себя, и других.

И все же, как не значимы «предизвешения» и методологические введения, они рисуют «провиснуть» без хотя бы «Единого (в смысле одного) Слова»... И этим словом стало обнаружение, что в письмах, прочтенных таким образом, из Пантелеимона Кулиша (за которым прочно тянется биографический и историографический шлейф (имидж) человека аристократическо-элитарной ориентации, которого при желании не трудно представить как «ницшеанский тип» личности, как своего рода «украинского Заратустру»), считается, а иногда и просто бьет ключом, – Хлестаков\*\*.

Брошенное слово, с одной стороны, может восприниматься как инвектива в адрес П.А. Кулиша, с другой, – у эрудированного Читателя

\* В данный момент писания скорее нахожусь в известном состоянии «закрытия открытия».

\*\* У всех, кто знаком с блестящим памфлетом Н. Яковенко и О. Толочко (Підтасована історія // Критика. – 2006 – № 7 – 8. – С. 22 – 25), должен был остаться в памяти последний пассаж, который по замыслу Авторов признан был довести до конца сатирически-гротескным путем, процесс беспощадного клеймения «героя» (сам «герой» по моим оценкам вполне заслуживает если не «кинжала Зандова», то «торговой казни» на околонаучной площади). Роль последнего «клейма» сыграл параллелизм с Хлестаковым, что является для меня свежим примером, подтверждающим бытование даже на уровне элитарного современного общественного сознания хрестоматийно негативной коннотации имени гоголевского персонажа, причем именно в развертке сатиры XVIII – начала XIX века, не оставляющей «героям» шансов на авторско-читательско-зрительское сочувствие. И хотя гоголевские сатирические персонажи стали не только нарицательными, но и деперсонифицированными (сравни, например: Митрофанушки, Молчалины...; хлестаковщина, маниловщина, ноздревщина и даже плюшкинство; и хотя сам Николай Васильевич, в конечном счете, идеологически и нравственно был ориентирован на сочувствие героям своей сатиры, однако эстетически, особенно в жанре комедии, во многом оставался во власти (плену) комедийно-сатирического дискурса). Характерно, что даже историки, которые по определению обладают повышенной способностью и ориентацией к оправданию всего и вся, Хлестакова и Хлестаковщину не склонны не то чтобы реабилитировать, но и даже подводить под амнистию.

вызвать некоторое недоумение. Пока оставлю «эрудированного Читателя» в этом состоянии и сначала попытаюсь объясниться с теми, для кого, как и для меня, подобный вывод – относительно Кулиша оказался неожиданностью.

Во-первых, если «зрительная масса», как известно, «требует разоблачения», то юриспруденция, наука – доказательство, обоснований и прочей «казуистики», без которой вор – хоть и должен, но зачастую не сидит в тюрьме, даже, если на нем «шапка горит». И в связи с темой «доказательств» появляется два вопроса: логический и фактографический. Первый, – чтобы начать доказывать надо выяснить (хотя бы схематично), а что характерно для хлестакова(щины)? Второй, – после этого уяснения в текстах (писем) желательно было бы выделить «клаузулы» проявления этого «характерного».

Вынужден признать, что «произнесению слова» совершенно не предшествовали целенаправленные осознанные рефлексии по его поводу. Иначе говоря, Хлестаков(щина) не были Словом, а функционировали в сознании как штамп, усвоенный еще в школьном возрасте, подвергнувшийся незначительным модификациям и то преимущественно не столько интеллектуальным, сколько этико-психологическим (меньше возмущения по отношению к такому типу). Не безынтересным представляется тот факт, что эта штампованность, сохранившаяся относительно Хлестакова, не распространялась на Городничего. О нем – шло активное формирование Слова.

Поэтому вопрос о сущности образа-явления как самостоятельный возник именно в связи с произнесенным словом. А, следовательно, казалось бы под прямым влиянием «медленного чтения» писем. То есть, в письмах Кулиш должен был бы проявиться чертами хрестоматийного (моего) Хлестакова. Однако, все дело в том, что эффект проявления в сознании не связан с текстовой конкретикой отдельно взятых писем (отдельного письма), а обусловлен общим восприятием. И, что очень важно, в этико-психологическом контексте далеком от высмеивания и осуждения. Слово: «Кулиш – Хлестаков» не привело к снижению. «Хлестаков» не мешал «Заратустре»\*.

---

\* Само по себе это может не вызвать удивление, если бы удалось зафиксировать эстетизацию отдельно взятого лица (в данном случае Е.Ч.) в Хлестакове (щине). Но, во-первых, на авторефлексивном уровне такой фиксации не произошло, а, во-вторых, – наиболее значимое, – сам образ стал резко меняться в сознании, стал лишаться ярких внешних, телесных признаков, т.е., он перестал быть персонажем гоголевского театра. Фамилия перестала быть самоговорящей ...

Появился методологический соблазн применить инверсию. В поисках ответа на вопрос: что ты понимаешь под хлестаковщиной? – задаться вопросом: а что кулишевского 40-х годов в гоголевском персонаже? Ответ на последний вопрос напрашивался сразу: социальность! Но из этого еще никак не следует Хлестаков(щина) как явление. Замечу, ощущаемый общий социокультурный признак Кулиша–Хлестакова–Кулиша не находил довольно долго вербального оформления до тех пор, пока мыслил о нем в лексике, терминах хронотопа героев. И, действительно, не мелкое же плутовство, которым столь щедро наделил Гоголь Хлестакова, характерно и для Кулиша? В нем (во всяком случае, в письмах) оно не проявляется.

Следует учесть и еще одно обстоятельство. Упомянутая попытка инверсии, не должна приводить к забвению, что Кулиш в 40 – 50-х – насквозь литературен. Он и иже с ним меряют себя мерками литературно-исторических персонажей. Гоголь был и оставался для Кулиша и его генерации одним из главных «модельеров», «лекала» которых служили образцами позитивного и негативного. И при всех идейных, эстетических и прочих кажущихся метаморфозах\* Кулиша, он никому из биографов не давал и не дает оснований для упреков в отсутствии, или утрате интереса к собственной личности, и, хотя бы поэтому, все поверхностно узнаваемое хлестаковское не должна была пропускать кулишевская самоцензура в его письмах. Кулиш эпохи увлеченности П. Плетневым тем более полагаю не мог не «выдавливать из себя» гоголевских нравственных уродцев. Поэтому именно поверхностные характеристики Хлестакова и хлестаковщины, закрепившиеся еще с гоголевского периода в общественном сознании, на мой взгляд, не имели отношения к интенции хлестаковщины в Кулише\*\*.

На этом месте я временно прерву рассуждения на основную тему и перейду к обещанному разговору с «эрудированным Читателем». Этот Читатель имел достаточные основания задаться вопросом: «А что собственно нового в утверждении «Кулиш – Хлестаков»?». Пикантность ситуации заключается в том, что буквально на следующий

---

\* «Кажущихся», потому что вопрос о «метаморфозах» заслуживает глубокого переосмыслиения.

\*\* Читатель вправе задуматься над вопросом: а к самому Хлестакову она имеет отношение?

(если не в тот же) день после «открытия», я, еще пытаясь оставаться в пределах первоначального замысла, вернулся к перепрочтению «Листів» М.А. Максимовича и в комплексе писем к О.И. Бодянскому обнаружил: «...относительно гомерической полемики я согласен с вами, что пора ее кончить, – и хотя написал 10-ю и 11-ю статью, но не пошлю ее «Дню», который тоже должно быть одного с вами мнения, ибо уже давно перестал печатать; и я с этою же почию пишу, чтобы только еще две статьи печатать, да и на том покончить! Цур ему! Последняя (4я) статья его и объявление его вторым «Кобзарем» и его эпилог к «Настусе» о Тарасе показывает в нем украинского Хлестакова (выделено мной – Е.Ч.), а потому не стоит он серьезной полемики»\*. Письмо датировано от 9 марта 1862 года<sup>1</sup>.

Таким образом, еще современником П. Кулиш был «объяснен» через Хлестакова. Причем, из цитируемого эпистолярного отрывка следует, что для М.А. Максимовича характеристика «через Хлестакова» связана с бахвальством (хвастовством), которое в нравственно-расхристанном (бесстержневом) «ревизоровском» Хлестакове является одной из самых броских черт. Необходимо учитывать, что отношения между М. Максимовичем и П. Кулишем достигли к тому времени состояния разрастающегося долгодействующего конфликта, причина которого имеет как индивидуально-психологическую, так и социологическую мотивации (конфликт поколений). Поэтому под пером автора характеристики «Хлестаков» является бранью в литературной форме\*\*.

---

\* Если вернуться к первоначальному замыслу рецензирования, то даже этот цитируемый отрывок свидетельствует об уровне публикации писем М.А. Максимовича. Нет ни комментариев, на примечаний, хотя они здесь несомненно уместны. Частично восполню этот пробел: «гомерическая полемика» – между Кулишом и Максимовичем относительно роли гоголевских «малороссийских повестей» для формирования образа «украинского» в общественном сознании. Кулиш, как известно, гиперкритически характеризовал роль Гоголя, по его мнению, исказившего образ Малороссии и ее народа. Это вызвало начало длительной полемики на страницах московской газеты «День» (славянофильской ориентации) Максимовича с Кулишем.

\*\* Попутно обращаю внимание, что М. Максимович, адресуясь к О. Бодянскому, определяет П. Кулиша словосочетанием «украинский Хлестаков», что может стать поводом для специальных интерпретаций.

Тот же «эрудированный читатель» может указать, что не только «сердитые» на П. Кулиша и «задетые» им современники обращали внимание на хлестаковское в нём, но и тот, кто по праву может считаться одним из самых тонких интерпретаторов его жизнедеятельности, – В.П. Петров, вытягивающий из анализа кулишевских романических отношений и эту его составляющую<sup>2</sup>. В связи с реактуализацией творческого наследия Петрова-Домонтовича, его интерпретации П. Кулиша стали поводом для новых рефлексий в пространстве Петров-Кулиш<sup>3</sup>.

Не исключаю, что еще более эрудированный читатель может указать и на неизвестные мне параллелизмы подобного рода. Он не без оснований может заметить, что в огромных «гоголианских залежах» разбросаны во всех его пластах крупицы самых разнообразных наблюдений, размышлений, восходящих к наиболее нижним слоям, заложенным ещё самим Автором «Ревизора». И поэтому претендовать на возможность действительного «новословия» в «хлестакововедении» уже само по себе – проявление хлестаковщины. И неужели создатель образа, комментируя его театральное воплощения, не выразил со всей полнотой неоднозначность этого персонажа; неужели, например, у А. Белого<sup>4</sup> или В. Набокова<sup>5</sup> нет этого Слова; неужели...? В том то и дело, что есть, есть и есть... Но образ функционирует вне зависимости и от его интерпретаторов, и даже упоманий самого его создателя. Он функционирует не как Хлестаков во всей его личностной (единичной) полноте, а как хлестаковщина. И в продолжении разговора с эрудированным читателем<sup>\*</sup> признаюсь, что вне набоковского дискурса о русской литературе выход на размышления о хлестаковщине в П. Кулише вывел на типологию «Растиньянк –Хлестаков»\*\*<sup>6</sup>.

Но кажется, «игра в диалог» с определенной категорией предполагаемого читателя уже утомляет не только его, но, самое главное, начинает мешать «организатору игры». Так как, во-первых, слышатся упреки, что, с одной стороны, автор высказывал выше

---

\* В пору заметить, что по отношению к нему я далек от иронии, а преисполнен уважения и, если хотите, – «белой зависти».

\*\* Подобно тому, как неловко помыслить в терминах «Вашингтонщина», но вполне употребимо – «Киевщина»..., не упаковывается в мысль и «растиньянковщина».

сомнения в наличии Читателя, доподлинно видя только Одного, и, следовательно, предполагая в этом единственном одновременное существование и не имеющего специальной эрудиции и эрудированного читателя. Во-вторых, возможно для читателя любого уровня уже требуются специальное текстологическое исследование для того, чтобы обнаружить то место, где речь шла о затруднениях в поисках верbalного оформления общего социокультурного признака в терминологии российской действительности XIX века в рассуждении «Кулиш – Хлестаков – Кулиш». И был дан намек, что этот признак вербально оформился с помощью трансляции термина, принадлежащего другому времени-месту.

По всем канонам театральной риторики выдержу паузу и произнесу это слово...: «Пиар»!..

Что порождает не Хлестакова, а «хлестаковщину»? Необходимость «пиариться»..., «самопиар» как средство активной социализации. И когда выше уже отмечалась некая общность социальности гоголевского персонажа и П. Кулиша, то эта общность видится мне в том, что и первый, и второй, и третий (например, Растиньяк) находятся в условиях социального самописывания, которые и порождают типологическое явление, могущее в определенной культурной традиции быть воспринимаемо как «хлестаковщина». Каждая отдельно взятая личность, попадающая под это определение, заслуживает специального «суда». Между ними (нами) как личностями (индивидуальным проявлением целого) может быть «дистанция огромного размера» не только психо-интеллектуальная и нравственно-эстетическая, а и пространственно-временная. Но все они порождены новой социальной динамикой, кривая которой неумолимо устремлена вверх с тенденцией превращения её в вертикальную прямую...

И вот только теперь вместе с Читателем всех уровней мы подошли к заявленной «историко-социокультурной апологии» хлестаковщины.

Любому размышляющему по поводу последствий «историцизма» («историзма»\*) мышления, очевидно, что осмысление историчности

---

\* В данном контексте можно использовать как синонимические термины.

чего-либо есть в системе рассуждений его оправданием\*. Этим «оправданием» служат популярные: «модернизация», «модернизационные процессы» и т.п., порождающие разрушение сложившихся традиционных социокультурных структур и социокультурной динамики.

Что ж порождает хлестаковщину? Порождение социально активного человека как необходимого фактора для успешной социализации в условиях постоянного воспроизведения старых элементов общественных отношений, построенных на различных вариантах патернализма. Этот социально активный тип в условиях модерного общества займет главенствующее положение, но каждый раз при его выходе на общественную арену и его утверждении на ней окажется востребованным то, что может быть определено как хлестаковское.

И действительно, не было не то чтобы необходимости, а возможности в домодерном социуме для Хлестакова, а тем более уж для хлестаковщины. Даже комедийные литературные предшественники Ивана Александровича были преимущественно слугами (этакими «свободными рыцарями» «секретарского пера», или «одежной щетки»), а следовательно находились в системе патронатно-клиентельных отношений, не оставляющих фактически места для «свободной конкуренции». Еще даже Молчалин помещен не только, тяготеющим к определенным эстетическим канонам А.С. Грибоедовым, в классицистски организованное комедийное пространство, но и вписан в уже разрушающую, но все-таки существующую (по крайней мере, под пером автора) социальную

---

\* Мне кажется, что даже самые звонкие обличители исторического (диалектического) от С. Кьеркегора через Ф. Ницше и П. Валери до К. Поппера не раскрыли всю глубину той пропасти, в которую влечет нас после-довательная историчность. Однако, даже подозревая опасность, перефразируя поэта, есть все основания утверждать: Но История – «пресволовнейшая штуковина! Существует. И не в зуб ногой». В свое время на меня оказало особое влияние эссе Г. Померанца «Нравственный облик исторической личности», в котором среди прочего открыл строки Н. Коржавина: «Был ты видом довольно противен. Сердцем подл. Но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь». Библиографические ссылки здесь уж совсем неуместны, потому что ознакомился в самиздатовском машинописном варианте (если память не изменяет) в конце 70-х годов. Однако сегодня могу сказать: то, что «видом довольно противен», и то, что «сердцем подл» – в сознании – тоже от историка.

структурой. Поэтому он может быть Молчалиным, с потенциями Хлестакова, которые проявляются внешне в Репетилове, ярко дополняющим комедию нравов.

Гоголевскому Ивану Александровичу, благодаря усилиям Николая Васильевича, легко было быть Хлестаковым, так как Автор щедро наделил его развитыми признаками хлестаковщины. Создатель «Ревизора» уже знал ее социокультурную природу, в том числе и через собственный опыт молодого провинциала, приехавшего покорять Петербург (Растиньян – Париж)\*. И действительно, не Хлестаков ли хлещет из Гоголя в его карьерных планах первой половины – середины 30-х годов?

В конечном счете, общество «торжествующего модерна» создаст такую институциональность, позволяющую хлестаковщине реализовываться как нормативному явлению. Социокультурное пространство «институализируется» таким образом, что сказать Ивану Александровичу, Александру Сергеевичу: «Да, брат, Пушкин...», – не составит при желании особого труда. Сатиричность ситуации будет проявляться в инверсивности – «Александры Сергеевичи» испытывают необходимую потребность в самопиаре в форме: «Сам Иван Александрович обращается ко мне: Да, брат...».

Однако общество и в эпоху Кулиша-Хлестакова (модернизационных родовых схваток) и даже в эпоху «постмодерна» в пространстве «непрожитого модерна», к счастью, продолжают нести в себе нравственно-эстетическое начало, которое готово признать неизбежность пороков и уродства, готовое объяснить (оправдать) их, но, сохранив способность замечать в пороке – порок, в уродстве – уродство. И в этом принципиальное отличие гоголевского Хлестакова от П. Кулиша, замеченного в хлестаковщине. И эта способность есть тем социокультурным фильтром, не позволяющим оруэлловским лексемам-максимам выполнять функции этических нормативов.

Во истину: «Письмо позвало в дорогу...» .

---

\* Не знаю, есть ли в литературе о творчестве А. Дюма-отца исследования о д'Артаньяне как «*alter ego*» писателя, или же как о герое социокультурного пространства жизни А. Дюма.

## ЛІТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> Максимович М. Листи. – К., 2004. – С. 59.
- <sup>2</sup> Петров В. Пантелеймон Куліш у п'ятирічні роки: Життя. Ідеологія. Творчість. – К., 1929. – Т. 1; Петров В. Романи Куліша. – Х., 1994.
- <sup>3</sup> Агєєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. – К., 2006. – С. 280.
- <sup>4</sup> Белый А. Мастерство Гоголя. – М., 1996.
- <sup>5</sup> Набоков В.В. Лекции по русской литературе. – М., 1996.
- <sup>6</sup> Для избранного сюжета определенный интерес из современных исследований творчества Н. Гоголя представляет: Соколов Б.В. Расшифрованный Гоголь. Вий. Тарас Бульба. Ревизор. Мертвые души. – М., 2007.

## ЩЕ РАЗ ПРО АКАДЕМІЧНУ КУЛЬТУРУ\*

1. Сама постановка питання про контроль за якістю наукової продукції, якщо він передбачає наявність спеціальних установ, викликає в мене гостре неприйняття. Таким чином я достатньо прозоро висловлюю своє негативне ставлення до ВАКу, незважаючи на те, хто його презентує.

Щодо мене, цей підрозділ є потворним породженням хворобливого уявлення про науку і суспільство. Функції цього органу: а) бюрократичне, централістське згвалтування науки як соціо-інтелектуального організму; б) спотворення образу наукового у «ваківсько» орієнтованого соціуму і в такий спосіб його постійне розбещення.

Усвідомлюю, що навіть тим, хто критично ставиться до ідеї ВАКу, а тим більше його прихильникам, це може здаватися не просто перебільшенням, а брутальністю людини, яка можливо має «свої рахунки» з цією установою. І це дійсно так, бо не можу пробачити ВАКу того місця, яке в науковій свідомості нас, сформованих у

---

\* Напечатано: Україна модерна. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 329 – 332. Текст представлен в первоначальной авторской редакции и представляет ответы на вопросы, сформулированные редколлегией сборника в следующем виде: «— Насколько ВАК виконуе функции контроля за качеством научной продукции и какие могут быть его альтернативы? — Чи можливе і за яких умов створення (відродження) корпоративної солідарності наукової спільноти? — Чи може постсоветська наука позбавитися советськості?».

ваківському просторі, займає бюрократична складова. Саме тому і йдеться про «роздбещення», бо ми орієнтуємося і орієнтуємо інших з «малих наукових літ» на ваківські цінності і «гвалтуємо» в собі та в інших те, що їх (ваківські цінності) не сприймає.

А результат цього «згвалтування» та «роздбещення» – спотворення науковця та наукового середовища, в якому не тільки панує бюрократ від науки (що, можливо, було б прийняти за норму модерного суспільства), а притаманний йому стиль мислення.

Безумовно це не єдина ознака нашої науки і науковців, але, на мій погляд, все, що в ній є животворне, може бути зараховано до антиваківського (свідомо, несвідомо, підсвідомо), чи, як кажуть, «не завдяки, а навпаки».

Разом з тим, ця інвектива на адресу ВАКу не може розглядатися як відповідь на поставлені питання, бо очевидно, що неприйняття такого контрольного органу не пов'язано з рівнем виконання ним контрольних функцій.

Як вже зрозуміло з попереднього, я взагалі не бачу необхідності в спеціальних органах контролю за якістю наукової продукції (при вживанні самої термінології рука тягнеться поставити лапки). Якщо мова йде про середовище, яке не має можливості для самоконтролю, то воно не заслуговує взагалі на науку та інші «привілеї» розвинутих людей. Не через контрольні органи йшло формування зasad наукової аксіології у тому числі й етичної її складової. Для ілюстрації висловлюємо впевнене переконання, що якщо для проведення Олімпіад потрібно 40 тис. безпосередніх охоронців, то їх не потрібно проводити, тим більше під ім'ям та гаслом Олімпіад. Ми не заслуговуємо на них. Якщо для проведення «чесних виборів» потрібно.... Перервуся, бо так можна забути і про ВАК.

Але проблемність, щодо мене, поставленого питання полягає в тому, що робити нам, які міцно «підсіли» на «ваківську» науку.

Ні який «косметичний ремонт» чи зміна назви, чи системи підпорядкування не виконає лікувальної функції, а тільки посприяє поглибленню хвороби. Мені здається, що тим, хто широ стурбований якістю наукової продукції, потрібно відмовитись від надії на «вакоподібне» і стати не стільки «борцями» за розширення та покращення контролю, скільки за відміну його у тих формах, що існують. За цю мету і у «наметовому містечку» пожити було б вже не так соромно.

2. Саме у попередньому і висловлена головна умова можливості відтворення корпоративної солідарності і навіть її «відродження» («мріяти необхідно», – навчали нас колись зasadам «революційного романтизму» як необхідного елементу «соцреалізму»).

Так от, «реалізм» потребує розуміння, що «корпоративна солідарність» є одним з ідеалів, і, разом з тим, наявною дійсністю. І коли ми кажемо (у тому числі й автор цих рядків), що їх потрібно ще створити, то тим самим висловлюємо своє невдоволення існуючими її формами.

Сама по собі «корпоративність» не є умовою («інструментом») підвищення «якості наукової продукції», бо корпорації можуть бути носіями і трансформаторами наукової культури невисокого рівня.

Здається, що в умовах, коли сама наука стала розгалуженим масовим виробництвом, то наявність мало якісного слід сприймати як нормальнє явище. Але, якщо ця «продукція» починає користуватися високою «вартістю», то марні організаційні зусилля по створенню «штучних фільтрів», бо самі «виробники» цієї продукції та її «споживачі» створюють організаційну систему і виконують роль «фільтрів». Наприклад, усі знають як непросто надрукуватись в УІЖі, але скільки наукового «мотлоху» друкується в цьому поважному часопису поруч з високофаховими публікаціями. І що цікаво, цей «мотлох» часто-густо виходить від основних «експертів якості» (див., наприклад, № 1 за 2007 р., який відкривається статтею член-кореспондента НАНУ О.П. Моці).

Тому, здається, найбільш ефективним «інструментом» був і залишається «мікросоціалітичний» (якщо згадати соціометричну термінологію Морени). Засобами ж наукової комунікації «мікросоціуми» (створені на етико-естетично-інтелектуальному ґрунті) знаходять зв'язки з собі подібними і «відновлюють» дух корпоративності. І коли до нас по «келіям спочивахатим» доходять «трубні гласи» не «синів Ізмайлівих», а близьких за духом авторів близкучого памфлету О. Толочка та Н. Яковенко, то прокидається і не біжимо «задвірками», а відчуваємо внутрішню імперативну потребу стати в одному строю і разом з тим розгорнути критичну рефлексію і на сам памфlet.

Наукова корпоративність, з наголосом на прикметник, – не форма, а дух. Коли ж починає панувати форма, то відбувається зміщення акцентів (наголосу), і дух перетворюється на дмух.

Відверто кажучи, я взагалі не певен, що корпоративна етика повинна бути домінуючою. Даруйте за банальність. Наука – це колективна справа Особистостей. І акцент у другій частині цього визначення я ставлю саме на «Особистості».

І проблеми науки, на мій погляд, не стільки в нерозвиненості корпоративної свідомості, скільки в порушенні невідомо якої, але існуючої пропорції, свого роду «золотого перетину» «науки» між тим, що «від Бога» і тим, що від «обставин життя», порушенням пропорції між ідеальним і прагматично-реалістичним. Мова іде не про зовнішнє співвідношення між певними типами, а про внутрішню порушену пропорцію.

Я не випадково вживаю вислів «проблеми науки» без конкретизації (нашої, української, пострадянської і т. ін.), бо вважаю, що це загальна проблема – цивілізаційного характеру.

Наука як модерне соціоінтелектуальне явище створювалась на інтелектуальних засадах модерного суспільства і модернізованих соціальних засадах середньовічного. Для читачів «України модерної» вважаю здивом розкривати історичний зміст висловленої тези. І якщо в ній є рація, то «криза науки», що переважно розглядається в інтелектуальних вимірах, має і соціальний вимір. Тому, можливо випадкове вживання в поставленому питанні терміну «відродження» (у дужках) набуває дійсного змісту. Але тоді йдеться про цивілізаційні зрушенння, а не про «ремонтні роботи» у локальному середовищі.

3. Ліквідація інституту ВАК є конкретна організаційна дія на шляху позбуття «советськості». Але сама мета – «позанаукова». «Науковий підхід» потребував би перш за все визначення ознак цього явища і його «експертизи» з точки зору відповідності, чи навпаки, ідеалам науковості, не кажучи вже про останні, які теж є наукознавчою проблемою. Можливо для тих, хто ставить таким чином запитання, не існує проблемності, і «советськості» для них вже – результат «експертизи». Якщо навіть і так, якщо «советськості» – це безперечно щось дуже погане, ще гірше, ніж «малоросійство», то все рівно запитання достатньо дивно сформульоване.

Спочатку піддам його іспиту з позицій «цариці наук» – спробую подати на нього арифметично-алгебраїчну відповідь: «постсоветська» – «советська» = пост.... нова відповідь: постнаука.

Не можу відмовити собі у грі словами... Часи, які ми усі переживали і переживаємо, мають достатньо зовнішніх прикмет науки, поставленої

на жорсткий «пісний раціон» (Страсного тижня). Разом з тим, піст як духовне очищення іноді у нашому неорелігійному середовищі викликає асоціації з поетичним рядом радянських (перепрошую, «совєтських») часів: «Что б отдохнуть от прежних подлостей, Для новых силы обрести...».

З точки зору етико-психологічної, щодо мене, сумнівно вважати, «позбавлення» за мету, хоча б тому, що сама свідома постановка є продовженням буття того, чого намагаються позбутися. Чую у відповідь: «А як же досвід нацистської Німеччини, фашистської Італії..?» Залишу без контраргументів, бо і так, можливо, «недисциплінарно» відповідаю.

А на останнє додам, що дієслово «позбутися» відносно ходу науки, особливо не в конотації того, що відбулося, а як програма сьогодення – майбутнього, відбиває стиль мислення того «ідеально-совєтського», наявність якого є предметом турбот. Хід «нормальної науки» передбачає не акти «позбавлення», а процеси «подолання». До того ж, якщо в Україні модерній можливо серйозне ставлення до подібних питань, то в Україні постмодерній воно може у кращому випадку викликати тільки посмішку...

## «ИЗВОЗЧИКИ» РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVIII – XIX ВВ., ИЛИ РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В КОНЦЕПЦИЯХ ИСТОРИИ РОССИИ\*

Название предлагаемого сообщения, возможно, кажущееся несколько претенциозным, сформировалось под влиянием не столько авторского стремления вписаться в конференциальную проблематику, сколько памятью о Викторе Александровиче Муравьеве, точнее, о некоторых чертах его образа как ученого. Во-первых, Виктор Александрович – прежде всего глубокий специалист в области изучения русской историографии, причем именно в ее концептуальных измерениях; во-вторых, ученый и преподаватель, который последние

\* **Печатается впервые.** Текст отправлен на конференцию «Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве» (Москва, Историко-архивный институт РГГУ), которая запланирована на 27 – 29 января 2011 г. Соавторы – А.Г. Болебрух, М.А. Руднев.

десятилетия своей научно-педагогической деятельности связал себя с такой важнейшей дисциплиной, как историческая география; в-третьих, В.А. Муравьев относился к числу тех историков, для которых всегда было важно не только, что сказать, но и как сказать, и для него было характерно стремление к литературному артистизму в лучшем смысле этого слова.

Аллюзия на Фонвизина, как нам кажется, достаточно прозрачная (особенно в контексте данной конференции) позволяет подчеркнуть основное направление авторских размышлений. Речь пойдет о попытке наметить контуры преемственности в русском историографическом процессе осмыслиения отечественной истории под географическим углом зрения. Крылатое изречение, что «в русской истории слишком много географии и мало истории», мы не склонны воспринимать как сетование по этому поводу, а как вполне уместную попытку объективации не только русского исторического, но и историографического процессов.

В современной интеллектуальной ситуации, складывающейся вокруг проблем с образами научности истории, представляется неуместным сосредотачиваться на критике т. наз. географического детерминизма, скорее более значимым будет напоминание о том, что исходя из идеалов научности периода формирования истории как науки без этого «так называемого...» обретение желаемого статуса было бы еще более затрудненным. И хотя те, кого мы называем «извозчиками» в русской историографии, не были в теоретическом плане первопроходцами на историко-географических путях, но, пожалуй, трудно найти другой пример, в котором идеи роли географического фактора нашли бы столь яркое воплощение и такое количество адептов, нежели в дискурсе, сформировавшемся вокруг изучения российской истории. В схематично-обобщенном виде этот дискурс представляется как минимум двухуровневым: конкретно-историческим и концептуальным. Как следует из названия, наш интерес сосредоточен на втором.

История и география, как две ветви социального знания, с античной поры и до наших дней всегда оказывались рядом в процессе познания окружающего мира и, как правило, взаимно обогащали одна другую. Это эффективное сотрудничество прослеживается и в развитии русской историографии.

Уже в работах «отца русской истории» В.Н. Татищева оказывается данная польза. Приступая к реализации поручения

Петра I по географическому описанию России, Татищев столкнулся с проблемой недостатка исторических сведений, а погрузившись в изучение отечественного прошлого, вынуждался самой логикой своих занятий включать в их предметные поля (которые еще не были закреплены) элементы, не характерные для них ранее. В 1739 – 1740 гг. Татищев подготовил сочинение «Россия или, как ныне зовут, Россия», где рассмотрел физическую, экономическую и политическую географию на протяжении нескольких эпох. А через несколько лет (1745) завершил первую часть «Российского исторического, географического и политического лексикона». Названные и другие труды Татищева, в том числе знаменитая «История Российской», свидетельствовали об эволюции его «умонаучертаний» в направлении поиска реальной исторической причинности.

Эпоха Просвещения осуществила интеллектуальный переворот в общественном сознании, что способствовало формированию научного образа истории и пересмотру содержания ее взаимодействия с географией.

Знакомый с французской философией и исторической литературой И.Н. Болтин воспринял идеи Ш. Монтескье о роли природно-географического фактора. Будучи консерватором, Болтин отстаивал необходимость сохранения устоев феодально-монархического устройства и искал для этого аргументы в особенностях природной среды России.

Принципиально иначе трактовал выводы Ш. Монтескье в работе «О духе законов» (1748) автор анонимной рецензии в «Санкт-Петербургском журнале» (1798), который издавали представители прогрессивных кругов И.П. Пнин и А.А. Бестужев. Рецензент отмечал, что влияние климата не является всеопределяющим и непреодолимым, что климат – причина «совместная», а потому законодательство в состоянии ослабить его «вредное» действие.

Принадлежащий к радикально-просветительскому течению общественной мысли А.Н. Радищев также признавал воздействие природы на социальные организмы. В трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» Радищев писал, что в человеке «многие его умственные силы следуют законам естественности». Тем не менее, он подчеркивал, что природно-географической средой невозможно объяснить все аспекты общественного развития.

О действии «климатов» на нравы и обычай восточного славянства в древние времена писал Н.М. Карамзин. В первом томе знаменитой «Истории государства Российского» он связывал хозяйственный быт далеких предков россиян со спецификой заселенных ими территорий. А его современник Е.Ф. Зябловский в «Землеописании Российской империи» географические описания XVIII в. использовал для сводной экономической характеристики страны. Ценные фактические сведения содержали и работы А.Т. Болотова, И.И. Лепехина, П. Паласа, П.И. Рычкова, А.Ф. Шафонского, А.М. Щекатова и др.

Однако географическая составляющая концептуальных построений российской истории периода «от Татищева до Карамзина» формировалась на основании «здравого историописательского смысла», обеспечивающего воспроизведение геисторического синтеза – в любых формах описательной объяснительной истории и метаисторических проектов. Вместе с тем, ее формирование осуществлялось и под влиянием просветительского историзма. Но на этом отрезке русского «историографического времени» (О.И. Журба), по крайней мере в концептуальном плане, географическое используется преимущественно как внешне-логическое, а не как средство критического изучения российской истории. Хотя уже в этих конструкциях начала вырисовываться собственно историческая проблематика, формирующая эпистемологическую потребность, в том числе и в геисторических концептах, – ответ на вызовы зарождающихся научных и идеологических дискурсов в постижении русской истории.

На магистральных путях, «оффлаженных» именами С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, географическая компонента в научно-исторических концепциях проявляет себя как один из важнейших элементов, прочно вошедших в структуры историографического сознания, и ставших как предметом догматизации, так и разнообразных критических рефлексий в научно-проблемных, историософских и политico-идеологических дискуссий-полемик. Географическая детерминанта генезиса русского исторического процесса в указанных историографических рамках нашла свое всесторонне освещение и в историко-научных построениях. При этом с позиций современных дисциплинарных образов в концепциях и С.М. Соловьева, и В.О. Ключевского, при всей значимости географического элемента не заметен историко-географический. Между тем, в историографии российской истории можно обнаружить направление, в котором при построении

концепций прибегали в т.ч. и к собственно историко-географической «кладке». Нам представляется значимым напоминание об этом именно в дисциплинарном измерении исторической географии, т.к., с нашей точки зрения, теоретически, ее концептуальный потенциал, как и некоторых других СИД, недооценивается.

В данном случае речь идет о линии, в которой центральной точкой выступает Н.И. Надеждин. Конечно же, его никак не следует относить к малозаметным фигурам в истории отечественной исторической географии. Сочинения Надеждина «Опыт исторической географии русского мира», «С чего начинать русскую историю», цикл разнообразных по жанру, объемам и содержанию работ начала 40-х гг. XIX в., связанных с деятельностью Одесского общества истории древностей; его последующая деятельность как редактора и автора в «Журнале МВД» и одного из руководителей Русского географического общества были замечены и современниками, и стали признаниями фактами в истории науки. Однако, интересующий нас аспект оказался на глубокой периферии историко-научной мысли. Правда, в свое время в докторской диссертации И.П. Филевича («История Древней Руси. Территория и население», т.1, Варшава, 1896) была осуществлена реконструкция этого направления. Но и сам Филевич, и его надеждино-центристские усилия оказались на историографическом маргинезе, что представляется особенно странным в историографии русской исторической географии.

Сама по себе географическая постановка вопроса: «Откуда есть пошла земля русская...», – с ее летописными вариантами ответа, вызвавшая строительство «норманистко-анти normанисткого лабиринта» русской историографии, привела к формированию сегмента «карпатской», «карпато-дунайской» или «угорской» Руси в структурах этого лабиринта. Не здесь и не нам оценивать, вел ли этот путь к выходу. Важно другое – что создатели этого сегмента (П.И. Кеппен, Ю.И. Венелин, Н.И. Надеждин, В.И. Ламанский, И.П. Филевич и др.), отталкиваясь от летописных версий славянских миграций, сформулировали идею, что карпато-дунайские «словенены» и создали этногенетическую основу Руси. Принципиальное отличие линии Кеппен-Венелин-Надеждин от большей части других анти normанистких идей XVII – XIX ст. состоит в том, что ей не присуще изначальное стремление противостоять концепции норманизма. Их идеи формируются как результат эмпирических наблюдений этнографического и лингвистического характера.

Именно Н.И. Надеждину удалось этим наблюдениям не только научно-концептуальный характер, но и выработать методологическую концепцию для научно-исследовательской программы, стержнем которой было изучение географической номенклатуры историко-географическими средствами, придав ей оригинальную методологическую идею движения исследовательской мысли от настоящего к прошлому. Тем самым, фактически осуществляя попытку эпистемологической легитимации ретроспективного взгляда на историю как научно-исторического метода.



## РОЗДІЛ 5

# КАФЕДРА ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ



**Н. П. КОВАЛЬСКИЙ: О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ\***  
**(ИДЕЯ, ВОПРОСЫ, ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ПУБЛИКАЦИИ**  
**Е.А. ЧЕРНОВА)\*\***

Глубокоуважаемый Николай Павлович!

Прежде чем предложить свои вопросы, я считаю необходимым объяснить Вам и предполагаемым читателям», что мы с Вами проводим своеобразный эксперимент. Суть этого эксперимента – попытка создания информационного поля для будущих исследователей истории исторической науки и образования на Украине во второй половине XX века. Подчеркну, что речь идет о сознательном творении. Отсюда вопросы сами по себе могут рассматриваться как своеобразные методологические рамки, отражающие вместе с тем и уровень понимания вопрошающего, его образ историографии (истории исторического познания) как особой области знания, сформировавшейся в самой системе исторического познания. Ответы же на них несут как информацию о конкретном историике (проф. Николае Павловиче Ковальском), так и ответы о его времени.

Таким образом, если отдать дань банальной публицистике, эти материалы можно было бы озаглавить: «И о времени, и о себе».

Чтобы облегчить источниковедческий анализ, рассмотрим некоторые условия «игры». Это – не анкетирование и не интервью. Единичное анкетирование не имеет смысла, а кроме того, предполагает обработку информации самими авторами анкеты. Интервью, как известно, – форма беседы, в которой ответы носят во многом импровизационный характер. А вопросы частично или полностью коррелируемы предыдущими ответами. В данном случае набор

---

\* Напечатано: Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д., 1997. – Вип. 1. – С. 9 – 28.

\*\* Илья Эренбург недаром когда-то заметил:  
 «Мы говорим когда нам плохо,  
 Что видно такова эпоха.  
 Но говорим словами теми.  
 Что нам продиктовало время».

И прав поэт. Когда это интервью уже состоялось, то в замечательном альманахе «Одиссей» вышли воспоминания С.В. Оболенской «О времени и о себе». Воистину «говорим словами теми, что нам продиктовало время».

вопросов во всей его полноте дан отвечающему для размышления и ответов в письменном виде, и, если у них появится читатель, то это означает, что Вы приняли правила «игры» и стали субъектом и объектом эксперимента.

1. Вам хорошо известно, что современные историки науки любят порассуждать о роли экстерналистских и интерналистских факторов в адекватном описании историографического процесса, персонологической историографии. Как Вы считаете: историк Ковалский несет в своих трудах достаточную информацию о себе и в определенной степени об историографии своего времени?

2. Постарайтесь, преодолевая возможное неудобство, высказать «чистосердечное признание»: насколько вы как историк презентативны относительно пережитой и переживаемой вами системы исторического образования и науки?

3. В независимости от того, как вы ответите на предыдущий вопрос, замечу, что я исхожу из собственного представления о вас как фигуре малорепрезентативной в статистическом плане, и поэтому, главным образом, и представляющей интерес для проводимого эксперимента. И все же... Какова Ваша самоидентификация как историка? (Впишите себя в «школу», течение, направление, короче говоря, дайте себе маркировку или маркировки).

4. Между прочим, представления о Вашей «нерепрезентативности» сложилось, конечно, под влиянием непосредственных контактов, но вместе с тем и под воздействием некоторых сведений о Вас. Признаюсь, что Вы не пытались соответствовать социуму исторического факультета Днепропетровского государственного университета в 70-80-е годы, в Вас было что-то от «белой вороны». Согласны ли Вы с этим моим представлением? И, если в них есть хоть немного совпадающего с Вашим самосознанием, то в чем причина? Насколько правильно мое предположение о том, что полному вписыванию в упомянутый социум Вам мешала прежде всего принципиальная невозможность для Вас преодоления некоторых культурных парадигм, заложенных в Вас еще в детстве и юности? В любом случае, – Ваше видение этих «парадигм»?

5. Ваша профессиональная область деятельности как историка в большей или меньшей степени всегда требовала работы с таким сложным материалом, как слово (преподавателя, автора). Между тем факты Вашей биографии свидетельствуют о том, что в детстве

Вы росли по крайней мере в обстановке «билингвизма» (домашний язык – русский, учебный и официальный – польский), отчество (в период оккупации Волыни) – экспансия немецкого языка; далее учеба в университете во Львове (специфическая языковая среда) и, наконец, сначала 60-х годов – Днепропетровск, где преобладал русский язык, и пока большая часть Ваших трудов написана именно на русском языке. Как же Вы оцениваете роль этой языковой полифонии в формировании и деятельности историка? (речь идет не о полезности знания языков).

6. Итак,... роль детства и юности в формировании историка Н.П. Ковальского? Есть ли здесь уже элементы детерминации? Или полная свобода, и все решила случайность(сти)?

7. Относитесь ли Вы к знакомому словосочетанию «советский историк»? Если да, то считаете ли вы себя «советским историком»?

8. Что «общесоветского», а что «специфического» было на истфаке Львовского университета в студенческо-аспирантские годы?

9. Современное представление о Вас как историке преимущественно связано с источниковедением вообще и с источниковедением Украины XV – XVII вв. в частности. Я знаю, что для Вас источникование не нуждается ни в какой апологии. И все же рискну предложить написать (насколько это возможно) «Апологию источникования», и заодно: «Каким Вам видится идеальный образ «источниковеда»?

10. 60-е – начало 90-х годов для Вас связаны с Днепропетровским госуниверситетом. Теперь из Вашего «острожского далека» каким Вам видится путь, пройденный историческим образованием и наукой в нашем университете? (Зная Вашу толерантность, на всякий случай напоминаю, что Вы для ДГУ не гость, а мы с Вами не на званом обеде).

11. Вам хорошо известно, что проблемы «наука и власть», «история и идеология», не есть только лишь проблемы, стоявшие перед историками, жившими в СССР, но имеют, к сожалению, «привкус» вечности. На основании своего опыта, в чем Вы видите возможности разрешения этих проблем?

12. За свою жизнь в «истории» Вы, пожалуй, пережили несколько «историографических ситуаций». Какие из них Вам представляется заслуживают специального выделения и почему?

13. «Чертова дюжина» (№ 13) требует особо сложного вопроса, но зато и позволяет ограничиться, как при цензурном вымарывании стихов, многоточием. Нет ли у Вас пессимизма относительно возможности исторического познания в целом, и рассматриваете ли Вы современную историографическую ситуацию на Украине как перспективную?

14. Обратили ли Вы внимание, что определение «гениальный» не вяжется со словом историк? Если Вы согласны с этим, то как Вы думаете почему? Если нет, то кого из историков (всемирной историографии) Вы бы наделили этим эпитетом? И, наконец, в любом случае – кто был Вашим кумиром в юности, а кто из историков наиболее отвечает Вашим современным идеалам?

15. Вы один из тех, кто помнит и чтит своих учителей в науке и вместе с тем Вы воспитали целую плеяду учеников, к которым не только трепетно относитесь, но и, по моим наблюдениям, вполне обоснованно гордитесь. В чем же основа успешного функционирования связки «учитель-ученик» в исторической науке.

\*\*\*

Именно в таком виде в феврале 1995 г. эти вопросы были отправлены из Днепропетровска профессору Н.П. Ковальскому в Острог, и во второй половине марта того же года были получены ответы, которые их автор, приняв условии «игры», далее представил под общим названием «Історик і історіографія. Деякі роздуми про творчий і життєвий шлях історика і суб'єктивні, власні міркування про його місце в сучасному історіографічному середовищі й історіографічних процесах».

Признаемся, что нам в дальнейшем стоило немало труда уговорить Николая Павловича дать согласие на публикацию нижеследующего материала именно в том виде, в каком он сложился первоначально. Добавим, что само появление этих ответов (оперативное и довольно обстоятельное) стало возможным воистину по пословице: «не было бы счастья, так несчастье помогло», – наш глубокоуважаемый респондент получил неожиданные «каникулы» (он оказался на больничной койке).

И еще одна необходимая оговорка, мы сознательно отказываемся от приведения всего материала под один язык, так как «билингвизм» есть также одна из существенных характеристик

историографической ситуации и, как видите, нисколько не был помехой для непосредственных участников этого диалога. Итак, перед Вами ответы-размышления профессора Н.П. Ковальского без редакционных купюр. Единственное, что мы только позволили себе, это небольшое послесловие.

## М.П. КОВАЛЬСЬКИЙ ІСТОРИК І ІСТОРІОГРАФІЯ

### Деякі роздуми про творчий і життєвий шлях історика і суб'єктивні, власні міркування про його місце в сучасному історіографічному середовищі й історіографічних процесах

Щоб викласти на письмі відповіді на запропоновані автору цих коротких нотаток серію запитань про його бачення власного вже пройденого шляху та його наукового оточення у вузькому та широкому сенсі, довелось би написати окремий і великий за об'ємом твір, я сказав би «opus magnum», що потребувало би значного часу не лише власне для його компонування та написання, але, що головне, на глибокі й тривалі роздуми, осмислення, ретроспекції, виваження, що найістотніше важливе, а що другорядне й несуттєве. Мається на увазі – зробити спробу як би «зі сторони», «з боку» побачити себе, своє власне місце і свої студії, які тепер здаються не такими, як у далекі й близькі попередні роки, порівняти їх рівень між собою, розкрити своє історіографічне бачення, здійснити переоцінку пройденого шляху і певних власних «досягнень», «здобутків» та «успіхів», побачити певні результати, а також нереалізовані можливості, невдачі і лакуни, нездійснені потенції...

Тому такий самоаналіз є дуже важким і тільки той, хто його сам здійснить, зрозуміє, яку «ношу» взяв на себе, щоб об'єктивно поглянути на пройдений власний шлях.

Не знаю наперед, як справлюсь із цим складним завданням, наскільки вистачить моральних, фізичних, а, головне, інтелектуальних сил для цього. Безперечно, у цих нарисах будуть прогалини, «недомовлення», коли автор буде деякі «кути» згладжувати, проявлятиме суб'єктивізм, не лише методологічного порядку, але відповідно з його власним теоретичним та гносеологічним рівнем, на якому відбилася система його власної освіти та певний рівень здібностей та знань... Ці нотатки є першими, початковими для автора, який малодосвідчений у такому жанрі й напрямку. Окремою сторінкою чи комплексом джерел для вияснення деяких із запропонованих питань могли б скласти неопубліковані відгуки на праці або творчий шлях автора, які є у його власному особистому архіві, коли виходили його книжки ще у 70-х рр. (вони, відгуки, не публікувались) та коли автор мав необережність претендувати на обрання його членом-кореспондентом АН України, а згодом ще більш недоречна та наївна його претензія балотування в академіки Академії вищої школи України, куди

його також не «допустили». Для автора деякі з цих машинописних відгуків 1992 та 1993 р., як привітання канадських діаспорних вчених та академіка Я.Д. Ісаєвича в 1994 р. мають принципове значення, незважаючи на певні перебільшення та переоцінки, чого автор в душі свідомий, бо в них є певні грані, що все ж таки показують їх бачення того, що вдалось автору зробити, а може й досягти, але, головне, для нього, – що ці відгуків були великою моральною підтримкою для нього тоді і тепер, коли не відчуваєш себе таким самотнім, наодинці зі своїми роздумами...

Є ще один корпус – опублікований: рецензії та анотації на книги, колективні кафедральні збірники, частина з яких мають лише констатуючий характер, описовий, неаналітичний, а все ж їх вартість і значення в тому, що сприяли популяризації в еволюції доробку того колективу викладачів та аспірантів, з якими працював у Дніпропетровському університеті протягом попередніх майже 25 років, з ними залишились мої ідеї, думки, енергія, ентузіазм, якого я ніколи не шкодував, там частка моого основного життєвого шляху.

Поряд зі мною і разом зі мною пройшла велика, ціла плеяда людей, головно наукової творчої молоді, якими я маю всі підстави гордитись, шанувати, хоч подальші їх шляхи були різними, але ми взаємно збагачувались ідеями, спільною, часто колективною роботою, то були реальні й корисні для науки співавтори, ми робили спільну працю, їх щире сердечне ставлення до себе автор відчуває на великих віддалях, і те, що вони були і є, напевне, найбільший життєвий і творчий успіх, і велика моральна радість для автора.

Поряд з цим ці рефлексії не можуть бути позбавлені суб'єктивного забарвлення, тим більше, що вони складені самим автором, мають авторське походження і відбивають бачення самого історика. Є, проте, і в них певні позитивні моменти, бо тільки за життя автора можна ще довідатись від нього такі відомості, свідчення, особисті спостереження та акценти, іноді «між стрічками», які потім не будуть знані або помічені його наступниками, або тими, хто хотів би припідняти завісу над минулим і певними деталями, атмосфорою тих часів, того середовища, в якому даний історик обертався.

У цих своєрідних нотатках багато залежить від ступеня зосередженості автора, повноти його пам'яті, настрою, інтелектуального та професіонального рівня, здатності самоаналізу й об'єктивності самооцінки. Тому не треба чекати від цих матеріалів вичерпності і рівня свідчень правдивості й адекватності «в останній інстанції».

## 1

На запитання, чи даний історик «несе» у своїх працях достатню інформацію про себе і про історіографію свого часу, краще було б спитати, чи праці історика містять таку інформацію – відповім, що праці кожного історика, а не лише даного автора, несуть таку інформацію, хоч проблема – наскільки вони репрезентативні.

Коли ми говоримо про «праці», то про них не можна говорити огульно, а необхідно їх відповідно скласифіковати, бо від цього не просто формального прийому (операції) залежить дуже багато і у підходах, і у наявності інформації. Я не використовував би термін, помпезний і претензійний, – «праці», а скромніше –

письмові твори, або ще краще рукописний та друкований (опублікований) доробок, або, ще краще, певні результати проведених студій – досліджені різного рівня.

Отже, що стосується класифікації це – статті, закінчені твори, серія статей, колективні та індивідуальні монографії участь у тематико-проблемних збірниках, науково-популярна продукція, включаючи газетну (часом, вона важливіша) та репрезентативна порівняно з «сухими» спеціальними публікаціями (з деяких аспектів) (для прикладу певне обличчя автора і його стосунків, відношення до свого фаху та колективу кафедри, яку він мав нагоду очолювати в 1978 – 1994 рр., можна в деякій мірі побачити в статті у бататотиражці ДДУ – «Біля джерел історичної науки», яку спонтанно і «на одному диханні» написав наприкінці лютого 1993-го перед від’їздом до Варшави); далі – рецензії, огляди, інформативні статті, методичні рекомендації (в поточній мові звані «методичками») і цілий цикл науково-популярних статей, характерно для автора надрукованих в острозькій районній газеті, особливо наприкінці 80-х – початку 90-х рр. за архівними матеріалами. Не менше значення має вияснення певної періодизації творчого шляху історика, що нелегко зробити. В даному конкретному випадку можна говорити про такі етапи (чи періоди): 1956 – 1958 – аспірантура (фактично її закінчення) і публікації по тематиці кандидатської дисертації, кінець 50-х – початок 60-х рр., що пов’язане з роботою в Українському Державному музеї етнографії та художніх промислів АН УРСР (молодшим науковим співробітником, а до липня 1963 р. заввідділом етнографії), найбільш насыченим, а може і плідним був час роботи у Дніпропетровському університеті на кафедрі історії СРСР та УРСР (1967 – 1972) та історіографії та джерелознавства (1972 – 1994).

Чому говоримо про ці періоди? Вони мають дуже пряме відношення до розуміння тих історіографічних процесів та ситуацій, під час яких автор працював. Різні часи, різні ситуації. Чи ж можна їх викласти на папері – для цього треба писати книгу. А, якщо коротко, то скажемо, що ніколи авторові, який аналізує творчий шлях і результативність конкретного автора, не можна абстрагуватись від того, коли і де він вчився, який «методологічний тягар і стереотипи» несе на собі, в яких рамках він працював, як його вчили й навчили самоцензурі, може, здавалось, непомітно, поступово, але неухильно офіційна «методологія», стереотипи, напрямки і критерії засвоювались і в тому чи в іншому ступені наклали відбиток на дослідження історика.

Часи подекуди змінювались, наявність «відлиги» в офіціозних постулатах також відбивались на певному полегшенні від доктиматизму, але до кінця вважаю, до початку 90-х років я його не подолав.

Порівняно з іншими університетськими центрами в Україні в 70-80-их років у Дніпропетровську були найбільш сприятливі умови для зайняття справжньою наукою, може з великої літери, в галузі історії України XV – XVIII ст. Фактично кожна тема, пропонована аспірантам автором даних нотаток, «проходила» без особливих труднощів щодо затвердження і виконання. Правда 1973 – 1975 рр. і для автора і його учнів були складними з точки зору ставлення певних сил на факультеті до дослідження історії України, негласно наклеювалися ярлики певного «ізму», про що не хочеться говорити навіть зараз, хоч добре знаю прізвища інтриганів та їх клеверетів та попутників. Їх було небагато, але вони були... Рецидиви такого ставлення продовжувались у різних формах і проявах, і пізніше не один рік і не два. Автор цих нарисів це відчував періодично, іноді навіть цілком відверто. Але все вдавалось

подолати, всупереч заздрості, манкуртізму та ін. Пишу про це, бо це правда, яка не знайшла відображення у відомих мені писемних «історіографічних» джерелах... Тут не має жодної обrazи, але ж мене запитали стосовно відбиття історіографічних процесів та ситуацій. До речі, треба говорити не лише про автора, але й про той напрямок, може говорити помпезно – про когорту учнів і послідовників...

Я щось дуже багато роблю інтерлюдій, відступів. Безперечно, легше відповісти на другу частину запитання про інтерналістські факти та фактори. Апріорі – ми всі люди певного історіографічного середовища. Ми такі, які є історіографічний процес або процеси. Знайомлячись з працями автора, ми відчуваємо якою була історіографія різних періодів. Можу тільки сказати, що стаття про сільськогосподарські знаряддя волинських селян початку ХХ ст. мені найбільш до вподоби з усіх до 1969 р., з точки зору фактографії, прагматичні публікації про політичні зв'язки (українських земель з Російською державою (1957 і варіант 1968 рр.) й до сьогодні правдиві й документально аргументовані, хоч деякі кон'юнктурні акценти там можна було б змінити. Цикл джерелознавчих публікацій 1972 (про І. Федорова) і 1977 – 1993 рр. (включаючи про проблеми джерелознавства українського козацтва (1993) та актуальні проблеми джерелознавства історії України XVI – XVII ст. (1992), мені здається, відбивають зростання зацікавлення в науці джерелознавчими проблемами і вони, можливо, відповідають середньому рівню тогоденій джерелознавчої науки. Серед них є такі, які послужили моїм учням і послідовникам розгорнути глибше й ширше цю проблематику (наприклад, про О. Гваніні, запорозько-донські стосунки, археографічну діяльність в Україні, Литовську метрику, записки іноземців з історії України та ін. – їх можна б продовжити).

До певної міри про стан історіографії свідчать виступи автора на ряді наукових конференцій: двічі у Вільнюсі, III, IV і V Всесоюзних конференцій з джерелознавства, двох регіональних джерелознавчих конференціях – в Батумі та Кутаїсі, також двох міжнародних конференціях україністів у Києві та Львові, міжнародних конференціях з історії запорозького козацтва, чотирьох конференціях краєзнавців в Острозі – «Острог на порозі 900-річчя». конференції у Варшавському університеті...

Автор зробив ряд власних історіографічним оглядів, переважно стосовно історіографії джерелознавства в Україні, регіонального джерелознавства СРСР (конференція у Кутаїсі). Є ряд статей персоналійного (або за дніпропетровською термінологією – персоналістичного) жанру або характеру (стосовно В.І. Стрельського, Ф.П. Шевченка, Д.І. Яворницького, Д.І. Дорошенка, чекаю з нетерпінням побачити ще дві свої перекладацькі роботи – зі вступними статтями про В.Б. Антоновича та Л. Биковського). Є ще й інші недруковані статті автора про лекційний курс І.П. Кріп'якевича, авторське бачення деяких питань історіографії та ін.

Відповідаючи на питання, чи особистість автора знайшла певне відображення у його публікаціях, то я відповів би так: знайшла в тому розумінні, або в таких аспектах, напрямках, як наукових зацікавленнях, певного стилю, який формувався вже на перших кроках у дослідженнях різних тем, певне наукове кредо автора. Розшифровую: завжди на 95 процентів займався вітчизняною історією, конкретно різними аспектами історії України (конкретно-історичними, джерелознавчими, історіографічними), бо на глибоке переконання автора за нас це ніхто не зробить і не маємо чого віддавати нашу історію на «відкуп» іншим... Виріс я в Острозі, на Волині, вчився у Львові, працював найбільш інтенсивно у Дніпропетровську (хоч

і в аспірантурі теж не лінувався, і архівну евристику вельми методично розпочав (1954 р.). Без пишних слів скажу – це моя Батьківщина, і, як її син, маю життєву місію (а для того мені Господь і дав ці роки) зробити в міру своїх не дуже то міцних сил і не такого ж сильного здоров'я те, що зобов'язаний за своїм фахом і кваліфікацією». Офіційно ніде й ніколи, здається, цього не виголошував, але це авторське кредо і Богу дякувати, що є ще сили для виконання цієї місії і, головне, мати послідовників, учнів цієї праці і місії.

Якщо звернутись до друкованої продукції автора, то помітна повага автора до джерел; його можуть осуджувати за такий прагматизм, може навіть про фетишизацію джерел, чого до певної міри свідомий, але так склалася історіографічна ситуація і процеси в українській історіографії, що помітне було нехтування або чисто ілюстративне використання історичних джерел, що фактично відкинуло українську історіографію з 30-х рр. і до нашого часу не менше як на 60 років, втрачено темпи, професіоналізм, кваліфікацію, навіть сам «смак» до джерельного фундаменту, евристики, комплексного підходу, теорії джерелознавства та джерелознавчого аналізу. Тепер мало хто з молоді, навіть іменитої, навіть у «докторських мантіях» бажають і здатні розбиратись у теоретичних проблемах джерелознавства, що скочує їх на публіцистику і «голий фактографічний прагматизм».

Отже, якщо говорити про відображення в публікаціях особистості автора, то я бачу це ретроспективно в намаганні до джерельної аргументації, доказовості, а з початком дніпропетровських публікацій джерелознавчі, вже дисциплінарні аспекти, набувають ролі домінант. Що стосується теоретичного осмислення і спрямування», то його еволюція, напевне, буде помітна особливо наприкінці 70-х і подальших років, що, до речі, й відобразило засвоєння надбань теоретиків джерелознавства в Росії та Грузії (перерахування прізвищ вчених зайніяло б чимало місця), участь автора в конференціях, листування та особисті бесіди, захист докторської дисертації, рецензії та відгуки на публікації та автореферат докторської дисертації. Про роль у творчому житті наукових контактів автор, здається, міг би написати принаймні спеціальну статтю.

## 2

Найбільш складне питання про репрезентативність автора. Не тому, що це було б нескромно. Я не знаю технології відповіді. Як це встановити, які методи порівняння, з ким, якого часу. Думаю, що все ж таки автор – продукт епохи, як уже говорилось вище. Не знаю, що сказати відносно виразу «непереживаемой... системы исторического образования и науки». Напевно, я консерватор відносно освіти, мене влаштовує традиційний набір дисциплін, життя показує, що наша молодь все ще не засвоєє навіть і в даних рамках мінімуму знань. Як дати їй «свободу» вибору? Скажу цілком відверто, що мое рішення залишити ДДУ у 1994 р. пов'язане не лише з відкриттям Острозького Колегіуму, але головне, що я зневірився у своїй потребі для цієї категорії «студентів», яких «ми» набираємо в ДДУ шляхом «тестування». Якщо першокурсники, кураторами яких ми були, почувалися байдужими до курсу «вступу по спеціальності», то або мені треба подавати у відставку (до «димісії»), або «матеріал» не гідний того, щоб на нього витрачав свої сили професор. І рішення було правильне й однозначне. Отже, в цьому відношенні я – не типовий і не репрезентативний. Стосовно науки, то не вважаю себе унікальним щодо напрямку

й доробку, про це автор не може сказати навіть «зі сторони» думаю, що належу до звичайного кола вузівців і адептів джерелознавства, може, трохи більше фанатизму, ніж у пересічного, але залишаюсь і, побоююсь, що і залишусь у великому боргу (написання монографії про Острог, підручника з українського джерелознавства), тут не маю підстав для якоїсь репрезентативної винятковості, ще раз повторю, що мій життєвий шлях говорить або свідчить про репрезентативність скоріше поведінки, реакції, імпульсивності та навколоишнію ситуацію і середовище, коли воно некомфортне для автора як особистості.

## 3

Також важке питання про самозарахування до певного напрямку, школи, течії. Здається «зі сторони» тому, хто задає питання, видніше. Цікаво було б почути голос колег, з якими працював ці 20 років, або таких теоретиків, як, наприклад, В.А. Дунаєвський, М.Я. Варшавчик, О.П. Пронштейн, на жаль, уже покійні М.В. Єфременков і В.М. Автократов, або нині жива й здорована О.М. Медушевська, хоч вони певно мало знають те, що я написав, і я не така вже важлива особистість, щоб мене класифікувати.

Можу лише сказати, що безперечно колись, як нас не забудуть, міг ви увійти в історіографію історії України як джерелознавець (що сформувався саме у Дніпропетровську і саме як представник Дніпропетровського напрямку чи «школи» став відомий зі своїми учнями-дисертантами...), що розробляє конкретно джерелознавчі питання та їх теорію – аналіз та синтез. Проте ця робота автора не знайшли ще свого завершення, бо невиданий (а його ще треба написати) оригінальний вузівський курс з джерелознавства на основі значного власного й досвіду інших дослідників.

## 4

Цікаво, що автор не почувався на істфаці ДДУ «білою вороною», напевне фанатизм до науки, наскільки дозволяли життєві й особисті умови, проявлявся, але не було з боку автора замкнутості, зверхності, нелояльності, зазнайства (а, може, я помиляюсь і перебільшуємо свої особисті якості). Можу сказати, що мені вдається і вдавалось «сходитися» з колегами по роботі. Так було у Музеї етнографії, Кривому Розі, ДДУ. Що стосується студентів, то всі мої аспіранти починали зі студентської партії. Чи в інших викладачів було не так? Спостерігаю діяльність моїх колег – Т.Д. Липовської, В.М. Калашникова, С.І. Світленка, Є.А. Чернова, Г.К. Швидько може і ще інших, вони ж так само могли бути б названі «білими...». Просто, на мій погляд, у чомусь автора даних роздумів трохи переоцінювали, може, як таку колоритну «фігуру», а інші були в тіні. Тож я просив би приглянутись і до інших, і Ви зі мною погодитесь. Я абсолютно не погоджуєсь про «не вписування мене у соціум істфаку», я, принаймні, цього ніколи не відчував. Тому не можу вигадувати жодних парадигм своєї «винятковості», якої немає. А що є – працьовитість, відданість справі і, правда, не завжди реалізована «допитливість», певний критицизм до себе, про що знає лише один автор. У дитинстві та юності звик до систематичної і методичної праці над книжкою, над різними науками, ніколи не вважав якийсь предмет другорядним у школі, педучилищі й університеті. Ніколи мої батьки не давали мені відносно цього

жодних настанов і рекомендацій, моя допитливість і жадоба знань були завжди стабільними й становили провідну константу.

## 5

Мовне середовище у мене було різним. Не тільки так, як Ви висловлюєте здогади. Мої товариші у довоєнні роки були різних національностей, я володів російською, українською, польською мовами. Навчався у польській школі до 1940 р., читав польську літературу вільно і тепер дуже часто звертаюсь до неї. Вивчав ще три іноземні мови – французьку, німецьку й англійську. Ніякої експансії німецької мови я не відчував, крім її вивчення у школі. В 1944 – 1946 рр. одержав приватні лекції у Й.В. Новицького, острозького університету, випускника Московського археологічного інституту. У університеті я вивчав англійську, латинську і грецьку мову (останню вже забув), у школі з 1950 – 1953 рр. викладав англійську мову. Мовна поліфонія мені в житті дуже приддалась, без польської автор не зміг би реалізувати своїх евристичних завдань, проникнути в сутність, глибини не лише джерел та література. Запитувач хоче знати мое бачення поліфонії у моєму професіоналізмі. Підкresлюю, що адекватне володіння в однаковій мірі трьома мовами дозволяє розуміти національний менталітет, специфіку мислення, підходів, злагоди й оцінити як істориків цих національностей, або російськомовних, україномовних, польськомовних авторів. Написання моїх праць російською мовою було невипадковим, а пояснюється тенденціями, притаманними істфаку ДДУ. Коли я пропонував Д.П. Пойді статті українською мовою на початку свого перебування на кафедрі історії СРСР та УРСР, професор відповів, що двомовність у збірниках не допускається, а в колективі кафедри навіть не порушувалось питання про видання збірника, хоча б одного українською мовою. Напевне, я не проявив настирливості. В ДДУ я тільки перший свій навчальний посібник, як і матеріали двох криворізьких конференцій 1964 і 1965 рр. написав і опублікував українською мовою. Але тепер ніхто не знає, скільки нервів та переживань мені ця книжечка «коштувала», як її не дозволяли друкувати за перевищення аркушату з 2-х до 5 аркушів. Як ополчився на мене цензор з Києва «некто Молодчиков» за те, що я без лайки назвав книгу І. Огієнка «Матеріали до історії українського друкарства» (1924 р.). Як той же О.І. Рогов, якого я поставив редактором книжки, заявив, чого це друкується українською мовою, її ж ніхто в Москві не прочитає, книжка не буде мати популярності. Така-то правда.

А Ви мене наїво питаете, чому це роботи виходили російською мовою? Згадайте чесно, яка була протидія на кафедрі виданню збірника українською мовою. Я не хочу більше про це говорити, бо тільки задаватиму собі зйве хвилювання. Не будемо про це говорити. Єдиний «плюс» полягав у тому, що російськомовні видання сприяли їх більш широкій популяризації у російських центральних бібліотеках та бібліографіях, включаючи «Ежегодник БСЭ». Але з другого боку, цим самим ці джерелознавчі видання стосовно історії України видані російською, сприяли до певної міри і русифікаторській політиці в Україні і вузі.

На завершення цього сюжету підкresлюю, що для мене у теперішній час не складає жодних труднощів написання текстів українською і російською мовами (останнюю я почав писати такі студії і читати лекції тільки у Дніпропетровську).

У формуванні автора цього діалогу важливим фактором було зацікавлення історією ще у шкільні, навіть довоєнні роки, причому батьки тут не відігравали ніякого впливу. Я мав «карт бланш», як у вступі до вузу, хоч батько Павло Миколайович хотів, щоб я був агрономом. Кілька факторів відігравали вирішальну роль у свідомому безальтернативному виборі моєї професії. Роль матері, яка була прикладом вчительки, у мене був її культ – Лідії Олександровни, яку й дотепер багато пам'ятають в Острозі як чуйну, добру, справді Маму, високої кваліфікації вчительку, яка пропрацювала у школі з 1914 до 1961-го року. Мені дуже хотілося стати вчителем. Мої дитячі ігри також були у вчителя.

У ранні шкільні роки сим читав трилогію Г. Сенкевича, мама читала мені вголос М. Гоголя, в тому числі «Тараса Бульбу». Але головне – мене захоплював середньовічний Острог, часто ходив до музею. Читав дуже серйозні книги – Шльосер, Єгер та ін. Заклав мені інтерес ще до історії згаданий вище Йосип Владиславович Новицький. У школі мені повезло на вчителів історії – Т.О. Папашуку, А.Й. Марусину (тепер – Горлову – єдина з моїх шкільних вчительок, яка ще жива), потім у педучилищі – П.А. Соколянський, уродженець Магдалинівського району, вчився в ДДУ, а коли всіх викладачів репресували, був переведений до Одеського університету, істфак якого і закінчив перед самою війною. Про мій шлях на істфак міг би ще багато написати. Зараз після стількох років життя, думаю, що мав же я величезний вибір: золота медаль давали мені можливість вступити й до МДУ і тоді міг би бути учнем М.Т. Тихомирова та інших світіл науки. Але тут не знайшлось, хто порадив би, не було імпульсу й інформації. Бо так важливо, яку наукову школу пройдеш в юності, але цього не повернеш. Тож «повезло» захищати у цьому храмі науки (вже без омріяних метрів) докторську.

Будучи ще зовсім малим хлопчиком-школярем (у 1937 – 1938 рр.), я почав укладати з тодішньої польської періодики (газети «День добри», яку до війни передплачував батько) та енциклопедії (насамперед видання товариства «Просвіщення» Южакова, яка була в нашій родинній бібліотеці), систематичні хронологічні таблиці політичних діячів, глав держав, зокрема президентів країн Південної Америки. І пізніше в 1942 – 1947 і в наступні роки робились доповнення та корективи до 1962 р. укладались по окремим державам світу, починаючи зі стародавнього Сходу, античності, середньовіччя, нового часу і сучасності – фараонів, королів, імператорів, президентів, прем'єр-міністрів всіх континентів. Для цього були використані різноманітні довідники, енциклопедії, монографії, загальні монументальні курси з всесвітньою історією Оскара Єгера, Шльосера та ін. Ці авторські записи збереглись і до сьогодні, їх багато, рукописні й надруковані на машинці. Складання цих таблиць, тепер би ми сказали, були своєрідним хобі юного історика.

Цікаво, що частина з них через багато років в 1978 та 1980 рр. побачила світ у друкарні. Якось автор розговорився зі своїм аспірантом Юрієм Мициком, який розповів, що у шкільні роки захопився складанням таких же таблиць. Він дав своєму керівникові ці записи. Автор цих записів, побачив неабияку вартість і належний рівень такої роботи з молодим науковцем, продумали, як це все спільно опублікувати. Юрій Андрійович написав короткі довідки до кожної країни, ми здійснили рад звірок. І ось в ДДУ як методичні розробки для студентів-істориків друкарським способом були надруковані три випуски: Методическая разработка к изучению хронологии (Ч. 1,

1978 р.), а в 1980 р. – Методические указания по изучению хронологии зарубежных европейских стран та «Хронология. Методические указания...». У хронологічній послідовності за алфавітом були перераховані назва країн існуючих і колишніх» правителі усіх держав Європи, крім тільки Росії, доби громадянської війни та СРСР, – республік СРСР. Потім таке видання продовжили викладачі загальної історії ДДУ – країн Азії (Тутик Л.О. та ін.).

## 7

Не розумію, навіщо мене питати відносно того, чи я себе «вважаю» радянським істориком, чи можу себе зарахувати до цієї категорії, і що я собі про це думаю – ідентифікую.

Справа не така проста й не така однозначна. То не «знакове» поєднання, об'єднання або словосполучення, а методологічне. Всі, крім дисидентських істориків, що працювали «в шухляду», або якось поширювали нелегальним шляхом свою продукцію в умовах тоталітарного режиму з однією сакральною, сакраментальною ідеологією, заснованою на партійних документах та їх інтерпретаціях, були істориками тієї епохи, тієї доби, Навіть такі як Некрич, Восленський, не говорячи вже про Яворського та інші належали тоді до таких. Сюди відносяться і Гуслістий, і Петровський, і Супруненко, і Сарбей, Санцевич та Варшавчик, Замлинський і Рибалка, Кісів і Кріп'якевич... А яким же винятком міг би бути Ковалський, хоч і в Вашій інтерпретації «біла ворона»? Так, вважав себе радянським або як тепер кому вгодно сказати, «совіцьким». Проте всі вони були різні – «совіцькі історики» Тихомиров, Черепнін, Нечкіна, Ковалченко, Медушевська, Каштанов, Пронштейн, Скринников, Ніколаєва, Кобрін та ін. Мова йде, наскільки об'єктивно, справді науковою була їх продукція (друкована й рукописна). Про це ще треба робити окремі фундаментальні штудії. Відкинути половину й виділити дорогоцінні зерна вічного й поступового.

## 8

В часи навчання на істфакі Львівського університету були принаймні дві категорії вчених – справді вчені старої школи – професор Похилевич, доценти Смішко, Старчук, Гарасимчук – прекрасний знавець мов, античник, яких тепер немає, – І.І. Вейцківський, учень Похилевича, Я.П. Кісів – про них Ви би сказали «білі...». Про своїх викладачів-вчителів я міг би написати окрему, принаймні брошуру.

Після 3-го курсу я перейшов на заочний відділ з морально-етичних і «методологічних» міркувань, про що не вважаю за доцільне писати, це було б темою для розкриття або викриття ідейного та політичного терору, який в добу розгулу сталінщини здійснювався супроти західноукраїнської молоді у вузах Львова, насадження енкаведизму, сексотства, зрадництва. Я цю гнилу й жахливу атмосферу до цього часу пам'ятаю, живі ще й жертви, і носії – адепти зла, дехто з них не так далеко від Вас... Правда, тепер вони стали на «національні позиції». Але ми ж пам'ятаємо...

Зазначу далі, що в моєму формуванні вирішальну роль відіграли лекції з джерелознавства історії стародавньої Греції та Риму тодішнього доцента, а незабаром доктора, професора Івана Івановича Вейцківського, завкафедрою історії стародавнього світу, керівника спеціалізації, яку «розігнали» восени 1950 р. як таку,

що неактуальна, а її адепти нібито «відірвалися від життя», «заховались від дійсності». Я і ще троє моїх колег були на цій спеціалізації... Серед них З. Матисякевич, вигнаний з університету, а після Сталіна поновлений, тепер професор; Грабовецький – теж професор у Тернополі і Підгірський – учитель історії.

Великий вплив на мою наукову діяльність мав покійний Світлої Пам'яті (як і І.І. Вейцківський) родом з Катеринослава, випускник ДІНО 1928 р. Григорій Юльєвич Гербільський, знавець історії Росії і України XVI – XIX ст. Про цю високу благородну, як і І.І. Вейцківський, людину можна і, напевне, треба було б написати окремо. Вибір теми дипломної роботи в 1951 р. і кандидатської дисертації, яка була тематично ідентична з дипломною, був за рекомендацією Григорія Юльєвича. Цікава деталь, вже на 1-му курсі він називав мене, 18-річного юнака з Острога – «Ніколай Павлович». Потім він приїздив зі своїм сином, писав свою другу монографію про передову суспільну думку в Галичині у 40-х рр. XIX ст. в одній із нинішніх кімнат нашого батьківського будинку. Керівництва аспірантурою він не мав, але фактично був моїм керівником. Про аспірантські роки міг би багато розповісти, але немає вже часу та треба забагато паперу. Скажу лише, що архівна евристика в 1953 – 1956 рр. у Львові, Києві і Москві (ЦДАДА) дала мені великі навички й заклали міцний підмурок для моєї усієї подальшої творчої роботи, я відчув «смак» наукового пошуку й романтики історика.

## 9

Обидва запитання щодо визначення значення джерелознавства та ідеалу джерелознавця також не належать до легких, не маємо у цьому відношенні чітко окреслених попередників такого дефінування. Спробуємо попередньо й дуже умовно-неповно відповісти без претензій на вичерпність.

Як можна собі уявити «АПОЛОГІЮ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА», тобто науки про теорію, методи та методику дослідження історичних джерел (і не лише письмових, але будь-яких типів).

Що виділяє джерелознавство та надає йому певні пріоритети-переваги:

1. Це – фундамент кожного (будь-якого) дослідження на історичну тематику, якби початкова стадія перед виконанням конкретно-історичних студій.

2. Джерелознавчий підхід передбачає виявлення з максимальною (в ідеальному розумінні) повнотою сукупності джерел – джерельної бази, встановлення її структури, від чого залежатиме успіх об'єктивного відтворення минулого.

3. Саме джерелознавство з глибоким розумінням його завдань забезпечує реалізацію таких параметрів як підвищення інформативної (або інформаційної) віддачі джерел, їх комплексність (не тільки письмових), співставлення, автентичність, вірогідність, достатність, репрезентативність, адекватність реальній дійсності. Сама постановка та увага саме до цього комплексу проблем чи аспектів підвищують рівень конкретно-історичних студій.

4. Джерелознавчі методи опрацювання джерел (класифікація, типологія, систематизація), герменевтика, інтерпретація, не кажучи вже про евристику в її різних формах та прийомах, зразу ж позначається на рівні виконаних досліджень, фактично саме застосування їх, навіть одна лише постановка їх уже запорука вірогідності дослідження.

5. Джерелознавство органічно й інтегрально пов'язане з історіографією проблеми, історіографічні аспекти в джерелознавчих екскурсах та джерелознавчі ракурси в історіографічних дуже ефективні і мають неформально-дисциплінарний характер та спрямування, але надзвичайно ефективні. Про це автор даних нарисів уже декілька разів наголошував на конференціях та у статтях. У даній до друку статті про лекційний курс видатного українського історика академіка І.П. Крип'якевича з української історіографії (це фактично – скрипт) надзвичайно продуктивним виявився джерелознавчий підхід вченого до історіографічного матеріалу. На жаль, такий підхід у подальшому українські історики не продовжили, він має великий ще не реалізований і нерозвинуті методологічні та методичні потенції.

Напевно, можна було б розлогіше висловитись з приводу апології джерелознавства, розкрити ефективність джерелознавства на прикладах праць визначних істориків – академіків Тихомирова, Черепніна та професора Пронштейна... Можна було б продемонструвати рівень праць дослідників-джерелознавців, на тлі яких публікації навіть монографій авторів, які не приділяли уваги джерелознавчим проблемам та аспектам, багато втрачають якісно, і їхня проблематика залишається однобоко реалізованою.

Можна було б тут сказати також про давню суперечку щодо предмета джерелознавства, його ранг – спеціальна, допоміжна дисципліна, окрема наука чи розділ, напрямок науки, її галузь і т.д. Абсолютно не фетишизуючи джерелознавства, не абсолютизуючи його як супернауку – науку наук, проте вважаю підкреслити справді її фундаментальні значення. Звернімо увагу, що саме джерелознавство, незважаючи на певні догматизовані постулати, заідеологізованість, як і всієї історичної науки в «радянський період», усе ж таки розвивалось дуже плідно, фактично було праріром справжньої науки серед моря кон'юнктурних, можна сказати, навмисне фальсифікаторських «праць» і «дисертацій», значення яких лише зі знаком «мінус-одиниця», як метелики-одноднівки. Саме джерелознавство спасло честь «мундира», честь істориків, стало протидією спадщині тоталітарного режиму з фальшивими настановами та вульгарним соціологізмом та псевдо-наукою.

«Ідеальний» (а, може, ідеалізований) образ джерелознавця повинен, напевне мати такі якості і дані:

1. Фундаментальні знання, професіоналізм з циклу спеціальних історичних дисциплін, особливо палеографії, текстології, філігранології, неографії, сфрагістики, геральдики, хронології, генеалогії та ін..

2. Володіти теорією, методикою джерелознавчих досліджень – класифікації, типології, систематизації, прийомів аналізу та синтезу різних типів, видів, родів різноманітностей джерел, вибір прийомів – генетичного, клаузульно-формулярного, історико-порівняльного, кількісних методів та ін.

3. Знати історіографію джерелознавства та вдосконалення джерелознавчих методів, надбань минулого – близького та дальнього зарубіжжя, як і вітчизняні традиції, здобутки та прогалини, втрати.

4. Знання архівних фондів, колекцій та зіброк.

5. Бути обізнаним з системою і комплексом публікацій джерел.

6. Бути ерудованим істориком, мати знання в галузі літератури, мистецтва, культури.

7. Шанобливо ставитись до історіографічної традиції – своїх попередників і поряд з цим мати певний критицизм до тих, хо виконує публікації на низькому рівні, принципово ставитись до профанів та профанації науки, вульгарної публіцистики, творення міфологем та стереотипів, вульгаризаторів, плагіаторів.

8. Добропорядність, працьовитість, кмітливість, постійна напруга мозку, певний фанатизм, цілеспрямованість, тренування у самовдосконаленні.

9. Уважне й шанобливе ставлення до джерел, застосування різних прийомів для встановлення автентичності, вірогідності, репрезентативності джерел.

## 10

Пробачте, але у мене не має можливості давати оцінку і навіть зробити побіжний огляд, не говорячи вже про фундаментальний і зважений, про шлях, що пройшла історична освіта та наука у Дніпропетровському університеті. Я реально не можу цього виконати. На це треба дуже багато часу й відповідні джерела, яких немає у моєму «острозв'язому» розпорядженні. Це – дуже відповідальна справа, до неї треба ставитись серйозно. Тим паче, що я «негість» в ДДУ, і не на «званому обіді», як Ви дозволили висловитись. На панегірики не розраховуйте, а займатись критиканством-верхоглядством не збираюсь також. На істфаці ДДУ є дипломовані історіографи різних рангів, нехай вони «зі сторони» і виконають це завдання, а я не зможу.

## 11

Також не маю власного судження і якихось думок, крім тих, що вже виклав з запропонованих Вами проблем. Писати щодо проблеми «історія та ідеологія» – не мій профіль, не маю власних оригінальних поглядів, а бути епігоном, переконаний, мені не личить.

## 12

Вище я зупинився на певних «історіографічних ситуаціях», до яких додати не маю нічого суттєвого.

## 13

Не бачу чогось особливо негативного в історіографічній ситуації в наші часи в Україні, поживемо-побачимо. Ще рано підбивати підсумки, не має достатнього матеріалу для аналізу. Наша інформація, на жаль, дуже обмежена, історична періодика у зашморзі матеріальних фінансових негараздів, навіть у ДДУ за минулий рік на істфаці вийшли збірники. Тому не маю достатнього фактичного, історіографічного матеріалу. Що стосується дисертаційних робіт, то за два-три роки захищено ряд дуже цікавих робіт у Києві, ДДУ, Харкові, Львові, автореферати яких є у моєму розпорядженні. Особливо плідно працює спеціалізована докторська Рада при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної Академії наук України, членом якої є автор з почату її функціонування.

Скажу Вам, як історіографу, що ще з такого близького інтервалу передчасно для генералізуючих висновків, навіть прелімінарних, попередніх. Я, принаймні, нездатний цього зробити.

Не знаю жодного «геніального» історика в минулому і тепер. Напевне, це тому, що історична наука ще не виробила, а може, й не виробить таких точно законів (скоріше, не виявить). Природа історичної науки відрізняється корінним чином від природничо-математичних наук. В юності у мене не було жодного історика-«кумира». Як викладач у мене й моїх колег на істфаці ЛДУ найбільш викликав шану і авторитет, можна сказати, пітєт професор Дмитро Леонідович Похилевич, прекрасний лектор, дослідник і зовнішньо «привабливий». Не говорячи вже про «геніїв», «кумірів», для мене зразком вченого-історика є ряд радянських дослідників – О.П. Пронштейн, Р.Г. Скринников, до певної міри О.М. Медушевська, С.М. Каштанов, О.В. Чистякова, В.А. Дунаєвський, імпонує цілеспрямованість Я.Д. Ісаєвича. Цей перелік не такий вже і великий у моєму уявленні та усвідомленні.

Про систему «вчитель-учень» в науці у мене є сакраментальна теза, яку я висловив на захисті дисертацій двох моїх аспірантів декілька років тому: «Вони повірили в мене, а я повірив в них». Цим сказано все. У мене ніколи не було проблеми пошуку учнів та послідовників. Хоч чим далі живу, тим більше позаду дисертантів, остаточно не знаю, як визначити, що таке науковий напрямок, що таке наукова школа. Сподіваюсь, що у жовтні 1995 р. на всеукраїнській науковій конференції у Харкові «Історичні наука на порозі ХХІ століття» проясниться колегіально це питання.

Острог. 15 – 16. III. 1995 р.

\* \* \*

Как уже отмечалось выше, в заключении мы позволим себе послесловие в виде небольшого комментария – своего рода «маргиналий»

Третий вопрос вызвал реплику: «зі сторони», тому, кто задає питання видніше». На мой взгляд, вся научная родословная Н.П. Ковальского восходит к «киевской документальной школе» или, как ее иначе называют, «школе Антоновича». При этом необходимо учесть, что подобно тому как не каждый русский писатель имеет право вслед за Ф.М. Достоевским сказать: «Все мы выросли из гоголевской «Шинели», – так и не каждый украинский историк прошлого и настоящего имеет основания вписывать себя в эту историографическую традицию.

К ответу на 4-й вопрос хотелось бы заметить, что возможно сам того не желая, Н.П. а своих ответах на 5-й и 6-й дает ключ к 4-му вопросу.

Относительно ответа на 5-й вопрос – вопрос не предполагал объяснений почему труды Н.П. преимущественно были написаны

на русском языке. Но сам факт того, что отвечающий увидел вопрос там, где его на самом деле не было, заслуживает внимания.

10-й вопрос как-то уж очень рассердил респондента и задающий их, ознакомившись с ответом, даже сначала обрадовался, что не оказался непосредственно перед очами Николая Павловича. И все же некоторый комментарий к 10-му вопросу, не дожидаясь пока на него ответят «дипломовані історіографи». Есть все основания полагать, что именно Н.П. Ковальский привнес через себя (свою научную, организаторскую, преподавательскую деятельность) черты «нормального образа» исторической науки и образования. В эти годы шел процесс внутренней борьбы на факультете между идеологическими и научными приоритетами, зачастую граница противостояния была не между отдельными личностями, а внутри них. Н.П. Ковальский был одним из немногих, научная закваска и историографическая культура которого позволяла небезболезненно, но все-таки успешно побеждать в себе «*Homo ideologicus*», а личный авторитет, особенно на молодежь, способствовал вживлению научного стиля мышления. Ближайшее время должно показать насколько устойчивыми окажутся ростки, выращенные в предыдущие годы.

**МИКОЛА ПАВЛОВИЧ КОВАЛЬСЬКИЙ:  
МАТЕРІАЛИ ДО БІОБІЛЮГРАФІЇ. –  
ОСТРОГ, 2002. – 149 С.  
(ЗАМІСТЬ РЕЦЕНЗІЇ)\***

Чому замість? Бо рецензування подібних видань потребує огляду низки сучасних біобіліографічних публікацій і порівнянь з ними, чого зробити немає можливості. Навіщо все ж таки взявся писати? А кому як не нам (до того ж у рік 30-річчя кафедри історіографії та джерелознавства) відреагувати на спробу синтезу біобіліографічними засобами понад 40-річного науково-педагогічного і громадського життя одного з провідних діючих істориків, чий розквіт та визнання

---

\* Напечатано: Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Міжпредметний простір історіїдей у вітчизняній науці: Міжвуз. зб. наук. праць / За ред. Болебруха А.Г. – Д., 2004. – С. 259 – 261.

як вченого-педагога та організатора науки і освіти стався саме в Дніпропетровському університеті, на кафедрі, в історичному «міфі» якої «легенда про М.П.» стала тією «животворною цеглиною», без котрої, як відомо, університети, факультети, кафедри залишаються тільки адміністративно-нomenклатурними назвами в уявленні сучасників і нащадків?

Зізнаюся, що не без ревнощів ми стежимо за тим, як Національний університет «Острозька Академія» все більше «приватизує» нашого професора Ковальського. І до того ж це робиться при активній участі самого Миколи Павловича та тих його учнів, які, здається, ще вчора були нашими студентами, аспірантами, колегами, а сьогодні поруч зі своїм наставником все більше і більше переймаються «острозвькою ідентичністю».

Але, залишаючи остроронь «ревнощі», висловлю задоволення тим, що зусилля установ, а головне, конкретних осіб, не залишилися без матеріальної реалізації. Тому візьму на себе відповідальність від імені усіх, хто зараз репрезентує колектив нашої кафедри висловити щиру подяку і ректору «Острозької Академії» професору Ігорю Пасічнику, і Президенту Українського історичного товариства професору Любомиру Винару, і чудовій нашій студентці, а зараз поважному доценту Аллі Атаманенку за цей труд.

Додам вже не від імені всієї кафедри, а від самого себе, що співпраця між професорами М. Ковальським і Л. Винаром можливо сприяла перегляду останнім деяких своїх поглядів нещодавнього минулого відносно того, що радянські історики не навчилися критично ставитися до історичних джерел (наводжу його вислів по пам'яті).

І все ж таки, залишаючи остроронь претензії на рецензування, висловлю деякі враження від надрукованих «...матеріалів до біобібліографії» Миколи Павловича Ковальського. Будемо вважати ці враження «матеріалами до рецензії...».

Перш за все, відповім на запитання, що може виникнути: наскільки доречними є спроби публікації біобібліографічних матеріалів діючих вчених? На мій погляд, вони є необхідним складовим елементом сучасного інформаційного простору історичної науки, а форми їх розповсюдження можуть бути різноманітними, але найбільш привабливими і «культурнотяглими», здається, все ж таки залишаються брошурно-книжкові форми. І справа не стільки в тому, що таким чином частково сплачуються борги вдячності, чи виховуються на прикладі

цілі генерації істориків (переслів з «Передмови» проф. Л. Винара до вказаного видання), а саме в наповненні інформаційного простору. Тому бібліографія праць тих, хто дійсно увійшов у структури історичного пізнання, потребує оприлюднення для фахівців. При її створенні та публікації дещо другорядним виглядає критерій – чи то ідеться про «полум'яного патріота» (Л. Винар), чи пересічного громадянина. Підкresлю, що бібліографічні покажчики діючого історика – це не «сплата боргу» йому самому, а робота на користь усього цеху істориків.

Та ці занадто банальні і узагальнюючи положення в кожному конкретному випадку мають свої особливості. Відносно даного, слід підкresлити, що «бібліографіана» професора М.П. Ковальського є одночасно і проявом деяких рис, притаманних йому як вченому, педагогу та організатору науки. Кожен, хто мав можливість співробітничати з Миколою Павловичем, або навіть спостерігати за його науковим доробком, можуть засвідчити, яке значення надавав і надає він сам бібліографічній справі. Він творчій носій тієї культурної традиції, яка ще з XVIII ст. заклала підвалини європейської модерної гуманітарної науки і освіти з притаманним для неї рафінованим бібліографізмом. Сам Микола Павлович як дослідник постійно відчуває необхідність у різноманітних бібліографічних студіях, як університетський викладач і педагог започаткував у Дніпропетровському університеті семестровий курс з історичної бібліографії, який протягом майже всіх років його існування у навчальному плані натхненно і разом з тим вимогливо читав студентам-історикам, склавши на допомогу їм цілу низку методичних матеріалів, в тому числі у друкованому вигляді, що знайшло своє відображення і в бібліографії, про яку йде мова. Додам, що як організатор науки і адміністратор (завідувач кафедри) він наполегливо вимагав, щоб усі кафедрали складали і періодично поновлювали бібліографії своїх праць у повному обсязі (як в кількісному, так і з точки зору вимог до бібліографічного опису).

Цікаво, що смак до бібліографії не заважав і не заважає історику чудово орієнтуватися і бути уважним до теоретичних питань історичної науки, особливо джерелознавства. Це поєднання відображене і в матеріалах до його біобібліографії.

Безумовно, упорядники провели копітку роботу по підготовці до друку цих матеріалів. Але, «герой» їх праці настільки зацікавлений у розвитку історичної бібліографії, настільки глибоко розуміється на її проблемах, що, певен, не залишився остронь, а намагався допомогти

їм скласти зразковий біобібліографічний покажчик. Не вдаючись у деталі аналізу, висловлю думку про те, що перед користувачем цього видання не тільки довідковий матеріал про діяльність професора-історика-джерелознавця, а своєрідний навчально-методичний посібник з історичної бібліографії, що буде до нагоди усім, хто викладає і вивчає спеціальні історичні дисципліни. В ньому створений своєрідний «зразковий формуляр» для подальших біобібліографічних видань.

А у тих, хто працював поруч з Миколою Павловичем, – у нас, хто залишається на кафедрі історіографії та джерелознавства Дніпропетровського університету перегляд цього видання викликає хвилю різноманітних почуттів переважно мемуарно-ностальгічного характеру, а разом з тим надає можливість через бібліографічні «окуляри» ще раз подивитися на М.П. і не без деякого здивування виявити, що таким чином подані бібліографічні матеріали дозволяють зрозуміти обличчя і долю історика можливо краще, ніж навіть аналітичні біографії. І з'являється бажання щось внести і від себе до цієї праці, і починаєш налаштовувати свій критичний погляд, прискіпливо придивляєшся до наведених фактів, і не без задоволення знаходиш прогалину... У рубриці «Участь М.П. Ковальського у наукових конференціях» (С. 19 – 23) не зафіксована його участь у конференції «Перестройка исторического образования в вузах страны: опыт, проблемы, поиск», що відбулася 23 – 26 жовтня 1990 р. у Дніпропетровську і була останньою загальносоюзною конференцією істориків, яка проводилася на базі історичного факультету ДДУ. Але в переліку публікацій наукові тези доповіді М.П. Ковальського на цій конференції відображені.

## К 60-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БОЛЕБРУХА\*

60-летие Анатолия Григорьевича Болебруха, несмотря на то, что он относится к числу самых титулованных действующих историков

---

\* Напечатано: Дніпропетровський історико-археографічний збірник /  
За ред. О.І. Журби. – Д., 2001. – Вип. 2. – С. 706 – 708.

в Днепропетровске, уверен будет отмечаться скромно, без «звона литавр», «фейерверков», «информационного шума» и т.п. И не потому, что не за что и некому «бить», «зажигать», «шуметь»... Наоборот, «виновник» и по формальным, и по неформальным качествам вполне отвечает необходимым характеристикам для того, чтобы претендовать на юбилей по высшему разряду, да и возможности для этого есть достаточные: бессменный декан исторического факультета на протяжении 13 лет, заведующий кафедрой историографии и источниковедения, председатель Ученого совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, – перечень регалий можно было бы продолжить... Но все же уверен в скромности торжеств, поскольку никак не вписывается в стиль Анатолия Григорьевича возможность его участия в подобного рода мероприятиях, не вижу его в этой роли, не готов он к ней еще, а если даже и обстоятельства заставят подыграть, то предвижу, что почти по Станиславскому очевидцы будут иметь право воскликнуть: «Не верю». Знаю, что чувствовать он себя будет как те жених и невеста, для которых чем торжественней и пышнее обряд венчания и свадебная процедура, тем больше хочется сбежать куда-нибудь подальше.

Вот почему, когда редакция предложила мне написать по поводу предстоящего 60-летия Анатолия Григорьевича, то для меня стало очевидным, что необходимо отказаться от панегирического тона, хотя бы для того, чтобы не отвратить самого юбиляра от чтения этого сборника.

Вместе с тем я определенно не чувствую себя готовым к написанию обзорно-аналитической статьи о научно-исследовательской или же учебно-педагогической деятельности А.Г., так как историографическая школа, одним из фундаторов которой вместе с Николаем Павловичем Ковальским, Виктором Ивановичем Шевцовым был и Анатолий Григорьевич всегда ориентировалась на изучение «ставшего», а не «становящегося». Как ученый и педагог профессор А.Г. Болебрух еще несомненно «становящееся явление», а явление подобного характера с методологической точки зрения некорректно постигать «из под», а необходимо «над». И поэтому остаются только заметки полумемуарного характера о своем преподавателе, коллеге и шефе, с которым знаком и поддерживаю отношения беспрерывно уже 28 лет. Раньше как-то не приходилось об этом задумываться, но вот сейчас, написав достаточно существенное число 28, вдруг осознал, что как-

то так получилось, что Анатолий Григорьевич (да простят ему этот грех) выступал по отношению ко мне своего рода «крестным отцом». В год поступления на исторический факультет одним из экзаменаторов в моей группе был А.Г. (вместе с В. Стецкевичем), преподавал общие курсы палеографии и, самое главное, историографии. В момент, когда моя дочь появилась на свет, я выступал с докладом в спецсеминаре доцента А.Г. Болебруха с очень подходящей к событию темой «Антропологические основы мировоззрения Н.Г. Чернышевского». В год поступления в аспирантуру А.Г. исполнял обязанности заместителя декана по науке, и именно он писал характеристику в Совет факультета для рекомендации к поступлению, когда скончался В.И. Шевцов, то моим научным руководителем стал именно Анатолий Григорьевич, который и был редактором моей первой опубликованной научной статьи. Затем именно замдекана по научной работе А.Г. Болебрух предложил мне взяться за чтение курса обществоведения на подготовительном отделении ДГУ, создав тем самым возможность стать штатным преподавателем кафедры историографии и источниковедения. Упомянул обо всех этих автобиографических деталях, чтобы еще раз убедить себя и читателя в наличии некоторых оснований для данных заметок. И хотя было и многое другое: и соавторство, и активное сотрудничество в научной, педагогической и организационных сферах, и, вместе с тем, нелицеприятная, а часто и жесткая критика друг друга (в этом отношении подчиненный, кажется, превзошел начальника). Были неформальные длительные беседы на разнообразные темы науки, политики, отношений между людьми, анекдоты, застольные шутки, ходатайства перед А.Г. за тех, кто, как мне казалось, нуждался в поддержке, выполнение и невыполнение поручений. Был и тот несомненно памятный для Анатолия Григорьевича день успешной защиты в Московском государственном историко-архивном институте докторской, на которой мне вместе с профессором Н.П. Ковалевским довелось присутствовать и первыми поздравить от коллег по кафедре и факультету. Поэтому есть что вспомнить и написать. И все же, когда сейчас думаю, что же представляется наиболее главным в личности Анатолия Григорьевича, чем можно объяснить его бессменное административное долголетие на столь «скользком» месте, каким является место декана нашего очень непростого факультета и заведующего архисложной кафедрой историографии и источниковедения, то, мне кажется, что нашел глав-

ный ответ на этот вопрос. При наличии многих других необходимых качеств, Анатолия Григорьевича отличает, если можно так выражаться, отсутствия вкуса к «антропофагии». В этом-то все и дело. За прожитую жизнь редко кому из людей, тем более подвигающихся на преподавательской и административной работе, удается не отведать «человечинки». Большинство вкусивших начинают испытывать потребность в этом продукте и даже привязанность и «наркотическую» зависимость от него. Легко удержаться от этого только тем, кого Бог миловал вкусить. И особенность профессора, декана, заведующего кафедрой Анатолия Григорьевича в том и состоит, что удовольствия не получает, привычки потреблять не имеет, а если по необходимости и приходится, то делает это только лишь «приличия ради». А так как каждый из нас бывает и «едящим», и «едомым», то как последние мы признательны ему за эту его «нелюбовь» к нам, а как первые не менее признательны, что не составляет конкуренции...

Обещал избегнуть юбилейно-панегирического тона, однако, кажется, обещание выполнить не удалось, сбылся на подлинный, с моей точки зрения, панегирик.

Да простит меня наш юбиляр.

## РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИОГРАФИИ\*

Предполагалось, что доклад на эту тему будет подготовлен профессором Ириной Ивановной Колесник, однако привходящие обстоятельства не позволили признанному специалисту высказать свое понимание 30-летней судьбы историографии как особой дисциплины на кафедре историографии и источниковедения. Поэтому доклад выпала честь готовить и представлять мне.

К сказанному следует добавить, что регламент, принятый на торжественном заседании, а также форма свободного устного сообщения определили возможные различия между слышимым и публикуемым.

---

\* Напечатано: *Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія та джерелознавство у часовому вимірі: Міжвуз. зб. наук. праць / За ред. А.Г. Болебруха. – Д., 2003. – С. 27 – 42.*

Очевидно, что разговор о трех десятилетиях историографии как особой научно-педагогической области в данный момент, с этой трибуны, я буду вести через осмысление деятельности в этом направлении нашей кафедры, с попытками соотнесения её с общими тенденциями в развитии историографии, характерными для того научно-исторического пространства, частью которого мы являлись.

Меньше всего хотелось бы достичь эффекта юбилейного отчета о проделанной работе или рапортишки об успехах. Поэтому заранее прошу прощения у коллег по кафедре и факультету (в прошлом и настоящем) за неупомянутое, неотмеченное, недооцененное.

Каждый, кто сталкивался с проблемами периодизации историографического процесса, знает, насколько трудно представить его в фиксированных хронологических образах, определяемых гармоническим взаимодействием экстерналистских факторов с интерналистскими, материально-организационного с интеллектуальным, персонологического (личностно-индивидуального) с социологическим (коллективно-групповым). Но применительно к тридцатилетней истории нашей кафедры, обозреваемой под историко-историографическим углом зрения, кажется, удается (при некоторых неизбежных хронологических погрешностях) представить её в виде трех этапов, укладывающихся в приблизительно десятилетние рамки. Правда, воздержусь от присвоения содержательных имен – названий – этим этапам и ограничусь лишь формально порядковой маркировкой: первый, второй, третий.

Было бы преувеличением считать, что историографическая составляющая в научно-педагогической деятельности исторического факультета Днепропетровского университета в момент создания кафедры занимала одно из ведущих мест. Насколько удалось проследить, пожалуй, только Н.Д. Мартынов и В.И. Шевцов, несмотря на молодость, обладали уже необходимым опытом, подготовкой и кругозором специалистов именно в области историографии. При этом отмечу, что Виктор Иванович Шевцов, был тогда единственным на факультете носителем субпрофессиональной идентичности «историографа». Очень существенным моментом, сыгравшим важную роль в дальнейшей судьбе историографии на факультете, было то, что оба они (Мартынов и Шевцов) прошли этапы первоначального научного выезивания на историческом факультете Воронежского университета,

что совпало по времени с процессом начала переосмыслиения в элитарных слоях тогдашней советской исторической науки роли и места историографии в системе научно-исторического познания и профессиональной подготовки специалистов, переосмыслиения, ведущегося в контексте памятной для старшего поколения нынешних историков многолетней дискуссии по поводу предмета и содержания историографии как науки и учебной дисциплины, дискуссии, начатой статьями проф. С.С. Дмитриева «О предмете и содержании университетского курса историографии истории СССР» (Вопросы истории. – 1963. – № 8) и докладом-статьей академика М.В. Нечкиной «История истории (некоторые методологические вопросы истории «исторической науки»)» (История и историки. – М., 1965. – С. 6 – 26) и подхваченной многими именитыми и (не очень) историками. Она создала особую интеллектуальную ситуацию, прививая вкус к пониманию профессиональной самодостаточности этой области, способствовала утверждению в сознании, что историография – это метанаучная дисциплина в системе исторической науки.

Подчеркиваю это в связи с воронежским происхождением как ученых Н.Д. Мартынова и В.И. Шевцова, потому, что именно там сложился уже в 1960-е гг. один из лучших региональных научно-исторических центров в СССР. Именно воронежская научная «родословная» одного из создателей нашей кафедры Виктора Ивановича Шевцова и определила ориентацию с самого начала его появления на факультете на московские научные круги, что сыграло огромную роль и в тематическом, и в методологическом отношениях в процессе становления и развития историографии на кафедре. К роли Виктора Ивановича Шевцова необходимо будет еще вернуться. Но объективности ради, отмечу, что в период зарождения кафедры пути развития историографии имели и другую как тематическую, так и методологическую альтернативу, персонологическими воплощениями которой были проф. Валентин Яковлевич Борщевский и (тогда еще доцент) Николай Павлович Ковальский. Это – альтернатива проблемно-прикладной историографии. Валентин Яковлевич к началу 1970-х гг. уже давно сложившийся ученый, достигший почтенного возраста, но сохранивший довольно острую интуицию на некоторые новые тенденции в науке и идеологии, в отношении и к источниковедению, и к историографии біл носителем здравого и традиционного образа прикладной, пропедевтической роли этих

научных областей. Отмечу, что применительно к изучению истории XX ст., к сюжетам Октябрьской революции, гражданской войны и советского периода такой подход для того времени представляется наиболее рациональным, так как в силу разных причин, в том числе и временной близости, источниковедческо-историографический разрез изучения был одним из лучших научных подходов. Поэтому Валентин Яковлевич любил даже синтетические темы для научных исследований в форме: «источники и историография...», что в первые годы существования кафедры проявилось в постановке диссертационных исследований его аспирантов: Н. Поливца, П. Бабца и в некоторой степени В.В. Подгаецкого.

Несколько по-иному трактовалась историографическая проблематика Николаем Павловичем. Как университетский преподаватель он до В.И. Шевцова еще в 1960-е гг. разработал и вел курс «историографии истории СССР» и со свойственной ему тщательностью и библиографической скрупулезностью «пропустил через себя» всю основную досягаемую для него литературу предмета. Вместе с тем его основные научные интересы к началу 1970-х гг. уже определились, и в их рамках обозначились стыковые узлы между источниковедческим и историографическим в контексте изучения источникования истории Украины в текстах, которые были памятниками историографии («Хроники» Гваньини, Сафоновича, сочинения Пастория и Кояловича, продолжающееся традиционное отечественное летописание, сюжетное повествование в летописных формах – Боболинского и мн. др.). Поэтому сам Николай Павлович и его ученики только подходили вплотную к специальному изучению историографической проблематики, но так и не вторгались в пространство изучения историографического процесса того времени (в том числе, возможно, по причинам затрудненности легитимации подобной тематики\*).

---

\* Мне кажется, что роль этого фактора при всей его общей значимости не была определяющей в данном конкретном случае. Определяющим был источниковедческий, а не историографический стиль мышления. Характерно, что например, одна из ведущих представительниц «школы Ковальского» этапа её формирования проф. А.К. Швидько, избрав историографическую тему для кандидатской диссертации и являясь автором многочисленных работ, которые тематически отвечают критериям историографических, в целом остались в источниковедческой исследовательской парадигме.

Общим же в подходах Валентина Яковлевича и Николая Павловича было стремление источниковедческо-историографическим путем подготовить изучение конкретных периодов истории. При этом могу засвидетельствовать, что к историографии сам Николай Павлович уже в 1970-е гг. подходил с большим пиететом и поэтому несколько подозрительно относился к возможностям неопытных историков самостоятельно решать сложные проблемы истории исторической науки.

Но повышение дисциплинарного статуса историографии шло на кафедре и факультете в 1970-е гг. преимущественно через В.И. Шевцова при поддержке и содействии некоторых коллег. Необходимо отметить, что ко второй половине 1970-х гг. на факультете сложилась уже когорта профессионально ориентированных на историографию исследователей (кроме упомянутых уже назову Анатолия Григорьевича Болебруха, Виктора Кузьмича Якунина, Лидию Васильевну Скрипникову, рядом с которыми уже появилась новая поросль через действующую аспирантуру). И все же не будет преувеличением утверждение, что олицетворением историографии на факультете стал в это время именно В.И. Шевцов, который успешно защитив персонологическое исследование научно-исторической составляющей творчества Густава Эверса и заслужив признание в среде специалистов, приступил к изучению так называемого прогрессивного (буржуазного) направления в русской исторической науке второй трети XIX в. Рядом с ним и в топологическом, и в хронологическом отношениях разворачивал свои исследования прогрессивной (просветительской) общественной мысли А.Г. Болебрух.

Таким образом, на кафедре утвердился в качестве ведущего интерес к историографии как области изучения процесса исторического познания в России, что нашло отражение и в проблематике, предложенной первым аспирантам В.И. Шевцова: И.И. Колесник «Полемика вокруг «Истории России...» С.М. Соловьева» и П.Г. Кожемякину «Становление исторического антиковедения в российских университетах в первых десятилетиях XIX в.». Если сопоставить проблемы, изучаемые уже в 1970-е гг., с научными интересами специалистов в области историографии в целом, то можно с уверенностью утверждать, что наблюдалось соответствие не только новым тенденциям, но выход на острье историографической

проблематики того времени. Интересен и тот факт, что вся основная тематика имела диссертационную направленность, а работающие по этим темам докторанты и аспиранты своими публикациями выходили из «тени» и сразу же попадали на «авансцену». Сложность избранных тем не всегда отвечала стартовой подготовке их исполнителей, а также абсолютно не отвечала возможностям библиотек Днепропетровска. Поэтому особую роль играли длительные командировки (преимущественно в Москву), где наряду с библиотечной и архивной эвристикой проводились консультации, личные профессиональные контакты, перерастающие со многими московскими коллегами в длительное сотрудничество, а иногда и в прочную дружбу, что облегчало и обмен идеями, и литературой, и, чего греха таить, прохождением через «габилитационное сито». Среди тех, кто способствовал формированию историографической оси «Днепропетровск – Москва», был Виктор Александрович Муравьев – тогда еще доцент кафедры «Истории СССР досоветского периода» Московского историко-архивного института, заслужившего уже в то время высокую научную репутацию как одного из перспективных молодых специалистов в области историографии. Будучи другом В.И. Шевцова, он, наряду с собственными консультациями обеспечивал возможность широких консультаций с такими специалистами, как, например, В.Е. Иллерицкий, А.М. Сахаров и другие.

Таким образом, претенциозный характер тематики, с одной стороны, мог способствовать торможению процесса выполнения, с другой, – резкому изменению ценностных ориентиров в сфере исторической науки, что приводило к особому психологическому настрою, заставляло критически, а иногда гиперкритически относиться к деятельности коллег неисториографов.

Теперь позволю себе в некоторых чертах дать характеристику образа историографии как особой научной и учебной дисциплины, сформировавшегося и проявившего себя уже на первом этапе деятельности кафедры:

- главное содержание предмета науки и преподавания – история исторической науки.
- убежденное представление об особой роли и месте историографии в системе исторической науки.
- понимание основной функциональной задачи историографии как регулятивно-нормативной. Но главным условием выполнения

этой функции считалась необходимость раскрытия процесса развития самой исторической науки в её пространственно-временных координатах.

– сам общий ход науки представлялся как определенным образом детерминированный через законы диалектического развития общества (толкуемые в канонах и логике догматического «советского» исторического материализма).

– отсюда главным «оправданием» историографии как истории исторической науки считалось раскрытие специфического проявления в ходе развития исторического познания основных общественных коллизий, описываемых в терминологии классовой борьбы, противостояния идей, за «научной ширмой» которых неизбежно должна была проявляться партийно-классовая борьба (так как всякая наука классовая и партийная).

– осознанное стремление преодолеть нигилистский взгляд на традиции «домарксистской историографии» как «ненаучной», «псевдонаучной», с малой версией научной значимости её результатов.

– ориентация на наполнение экстерналистски определяемых направлений в дореволюционной историографии «дворянского» и «буржуазного» содержанием, получаемым интерналистски. При этом руководствуясь логикой прогрессивного развития науки по линии «дворянская» – «буржуазная» – «революционно-демократическая» – «марксистская».

– хронологическое предпочтение изучению истории русской исторической мысли и науки XVIII – середины XIX в.

– в рамках указанного хронотопа – изучение процесса формирования и развития «магистрального» прогрессивного с ориентацией на самое «существенное» – концептуально-методологическое содержание этого процесса.

– невыработанность четкой методики (или методик) историографических исследований. Шел только процесс их наработки методом «проб и ошибок» средствами эмпирической стыковки «конкретного материала» с опытом старших, «образцов», выдержавших «стендовые испытания» (успешная защита диссертаций, публикаций, заслуживших одобрительные отзывы и рекомендации референтных лиц и структур). Во многом это объяснялось и господствующим методологическим стилем мышления, при котором

методология трактовалась догматически вне конкретики специфики исследования и форм его презентации.

– одной из отличительных черт было и повышенное внимание к историко-историографическим аспектам, так как историографические оценки, присущие исторической мысли изучаемых периодов, рассматривались как индикатор, через который проявляются основные характеристики историков, и направления, и течения, которые они представляют.

Но было и многое другое, которое не трудно зафиксировать через анализ опубликованных трудов. Как младший современник и потребитель (студент-аспирант 1970-х гг.) отмечу, например, признание, что историописатели XIX в. независимо от их идентификации – «дворянские», «буржуазные», «дворянско-буржуазные» – оказывали влияние на самих днепропетровских аналитиков-историографов, попадавших под обаяние уровня эрудиции и умения литературной подачи исторического материала. То есть срабатывал известный эффект, который пережили многие советские историки, подвившиеся на критике «буржуазных фальсификаторов» – постепенное попадание под «скромное обаяние буржуазии». В нашем случае речь идет о вольном или невольном сравнении «дореволюционного» историографического продукта с «советским». Сравнение, которое не всегда было в пользу последнего. Запомнилась реплика, брошенная В.И. Шевцовым проф. В.Я. Борщевскому: «Ну, что делать, Валентин Яковлевич, если Карамзин писал лучше, чем мы?».

В числе таких же трудноуловимых черт отмечу и вкус отцов-основателей историографического направления на кафедре, которые по мере возможности избегали в текстах «пошлостей» своего времени (сравнительно редкое цитирование и ссылки на необходимый набор: Маркс – Энгельс – Ленин, современных руководителей КПСС и советского государства), а также обладали развитым чувством языка, легким и изящным «пером». Вместе с тем, характерно было и избегание резких выпячиваний дискуссионно-полемических сторон своих идей и наблюдений. Субъективность рассматривалась как научный грех, и потому все, что могло быть квалифицировано таким образом по возможности отвергалось. При этом лидер направления – В.И. Шевцов верил в свою научную интуицию. Ему был свойственен и исследовательский азарт в поиске нового, неизвестного дотоле

материала, хотя как исследователь целого магистрального направления в науке он мог за этим особенно не гоняться. Но сказалась, с одной стороны, школа работы над персоналией – Г. Эверсом, с другой, – влияние Н.П. Ковальского и его учеников с их страстью к архивной эвристике.

Если к вышеотмеченному добавить завидную тенденцию роста публикаций, расширение круга занимающихся на кафедре и факультете проблемами историографии и вписать в ситуацию конца 1970 – 1980-х годов в сфере развития историографии, то есть основания говорить, что в Днепропетровске сложился новый региональный центр в этой научной области, что кстати, нашло свое оформление такого центра под председательством В.И. Шевцова, структурно входящего в научный совет по историографии при АН СССР, возглавляемого академиком М.В. Нечкиной.

Характерно, что внутри Украины научных контактов было еще сравнительно мало, да и в ориентациях на Москву были свои особенности.

«Коммунальные дрязги» на высших эшелонах советской исторической науки приводили к «партизации» и историографического направления. Элементы нашего провинциализма проявились в некотором повышенном интересе к этой борьбе. С нашего «угла» наблюдалось две основные московские партии: академика М.В. Нечкиной и её учеников и А.М. Сахарова – В.Е. Иллерицкого, на которую, стараясь не ссориться с Нечкиной и её кругом, ориентировался Виктор Иванович Шевцов. Были ли научно-теоретические и методологические различия одной из причин партизации, судить не берусь. Хотя позволю себе заметить, что для А.М. Сахарова характерно было наиболее строгое, узкосциентистское понимание задач историографии как истории науки, с главным вниманием на изучение смены идей и концепций, методологических подходов. М.В. Нечкина, ориентировалась на более широкую трактовку сущности предмета, на понимание исторической науки как части идеологии и культуры. Но наряду с внешними факторами влияния отмечу немалую роль внутрикафедральных взаимодействий. Выше уже отмечалось возможное влияние на историографическое направление вкуса наших источниковедов к архивному поиску. Но в сфере самого источниковедческого направления на кафедре намечается, в том числе и под влиянием историографов, рост

интереса к проблемам теории и методологии, а также к оформлению междисциплинарных полей: историография источниковедения и источниковедение историографии, историографическая археография. Это привело к таким результатам, как более внимательное и рафинированное изучение источниковедческих подходов при научной идентификации историков прошлого в ходе осмысления историографического процесса (например «скептической школы» М.Т. Каченовского), а со стороны источниковедов, – изучение предшествующей традиции при более глубоком вписывании её в общеисториографический контекст. Но самым главным результатом было повышающееся внимание к проблемам теории и методологии. При этом наиболее чутким в этом отношении оказался сам мэтр, успешно преодолевающий информационно-утилитаристские подходы к источникам, господствовавшие в исторической науке, занимающий достойное место в когорте тех источниковедов, которые стремились постичь природу исторического источника, особую логику источниковедческого анализа, что типологически отвечало и эволюции историографии. Поэтому к концу 1970-х – началу 1980-х гг. – период скрытого, а иногда и явного интеллектуального противостояния между источниковедами и историографами, сменяется конвергенционными тенденциями при сохранении различий в стилях мышления и дисциплинарно-тематических интересов.

Уход Виктора Ивановича из жизни (май 1981 г.) был, несомненно, большой потерей, но к тому времени историография как научное направление довольно прочно закрепилось на кафедре и факультете, и его смерть в расцвете сил, творческих планов и возможностей не привела к уничтожению направления, как это часто бывало и бывает не только на таких «молодых» кафедрах, какой была наша кафедра, но и имеющих «большую» историю.

Усилиями, в первую очередь Анатолия Григорьевича Болебруха и только недавно защитившей кандидатскую диссертацию ученицы Виктора Ивановича Ирины Ивановны Колесник, при очень лояльном и внимательном отношении со стороны заведующего кафедрой Николая Павловича Ковальского, не проводившего на кафедре узко-лоббистскую политику в отношении источниковедения, направление не только удержалось, но и не утратило интеллектуального и организационного динамизма. Более того, мне кажется, что качественные изменения на втором этапе так уж напрямую не связаны

со смертью Виктора Ивановича. Так как основные научные интересы А.Г. Болебруха все более склонялись к истории отечественной общественной мысли, в которой историческая мысль должна быть важной, но все же составляющей частью предмета, то движение в научном отношении историографического направления в дальнейшем во многом определялось логикой развития И.И. Колесник как ученого, которая мыслила себя по преимуществу как «историограф» и была полна определенных честолюбивых планов и стремлений реализоваться как университетский педагог и ученый именно в этом направлении. Но следует отметить и роль Анатолия Григорьевича, который большую часть 1980-х гг. оставался одним из главных преподавателей историографии на факультете и одним из главных экспертов в этой области.

Чтобы понять изменения, произошедшие на втором этапе в историографическом направлении на кафедре, следует обратить внимание на специфику базового научно-профессионального образования Ирины Ивановны и её первоначального самостоятельного научно-исследовательского опыта. Она прошла университетские лекции и аспирантские штудии по историографии у В.И. Шевцова, восприняв, по его выражению «все как губка» (сказано Виктором Ивановичем в личной беседе, за точность ручаюсь). Но стиль их научного мышления уже даже в конце 1970-х гг. значительно отличался: у руководителя – интуитивно-эмпирический с выходом на теоретические обобщения, у подопечной – логистический; ОН – преимущественно ориентировался на раскрытие содержания процесса, ОНА – на его логику. Виктор Иванович, как я уже отмечал, проявил повышенный интерес к историко-историографическим сюжетам, и предложив Ирине Ивановне тему кандидатской диссертации фактически вводил её в историко-историографическую проблематику, что и определило направленность её главных научных усилий – история историографии. О необходимости её изучения вопрос был поставлен ранее В.Е. Иллерицким, А.М. Сахаровым и др., а на практическом уровне реализовывался в исследованиях Р.А. Киреевой, что облегчило и выбор Ириной Ивановной собственного научного профиля. И, если изучающие историю исторической науки значительное внимание уделяли теоретико-методологическим аспектам научно-исторического познания, постижению природы и сущности исторического познания, что характерно было и для

научных исследований В.И. Шевцова, то специализирующиеся в области истории историографии должны были более глубоко задуматься над сущностью самого изучаемого ими явления. Но личный выбор И.И. Колесник, в конечном счете, определялся и состоянием самой историографии как научной дисциплины, которая, как уже отмечалось, с 1960-х гг. вступила в стадию углубляющейся рефлексии по поводу самой себя, одной из разновидностей которой и стал рост осознанного интереса к истории историографии. Кроме того в 1970-е гг. в теоретических трудах по историографии как истории исторической науки произошел существенный сдвиг – в них стали проникать идеи общей историографии и методологии науки, получившей в трудах Койре, Лакотоса, Куна, Тулмина, Фейрабенда и др. новое качественное содержание и понимание, оказавшее существенное влияние на советских методологов науки, находивших в историографии науки удобную «интеллектуальную нишу» для аprobации «диссидентских» идей в психологии, философии, науковедении. Советские историки исторической науки в основном не замечали этих усилий своих коллег, а те, в свою очередь, не проявляли реакций на тот очевидный историографический бум, который переживала историческая наука. Но уже в теоретико-методологических статьях А.М. Сахарова были открыты шлюзы для проникновения целого спектра идей из общей историографии науки. При этом если для поколения В.И. Шевцова теоретические рассуждения А.М. Сахарова, как и для самого их автора, выполняли функцию итогового результата, вывода, то для Ирины Ивановны – «посылки». Она безоговорочно приняла как парадигму сциентистскую концепцию Сахарова, что позволило ей приложить теоретические разработки в области общей историографии науки к области научно-исторического познания и тем самым «открыть», что историография как часть этой области имеет более длительную историю, нежели это представлялось тому же А.М. Сахарову. И, если Р.А. Киреева изучала историю историографии, восходя от С.М. Соловьёва до начала XX ст., причем преимущественно персонологическим путем, раскрывая вместе с тем причины, обусловившие становление истории исторической науки как дисциплины, то Ирина Ивановна обратилась к изучению периода от В.Н. Татищева до С.М. Соловьёва. При этом логицистский подход позволил ей представить и описать этот период как процесс, детерминированный внутренней логикой

исторического познания, прогрессивным ходом движения науки. Но возможность движения в этом направлении была обусловлена постепенным пересмотром целого комплекса представлений теоретического характера. Прежде всего, это коснулось вопроса о природе историографии.

Уже в первой половине 1980-х гг. мы на кафедре пришли к выводу, что «историографическое» (в последующей терминологии Ирины Ивановны «историографический компонент») постоянно действующая составляющая исторического познания-знания, и что только это знание приобретает научные формы, этот компонент начинает себя проявлять, и что научный процесс не складывается без историографического «раствора». И, хотя тогда еще не было в нашем лексиконе понятия дискурс, но мы мыслили в логике дискурсивного понимания хода исторической науки.

Таким образом, через общую историографию науки осуществлены были подвижки в понимании сущности науки и специфики её истории. Да, и сомнения в социально-классовых маркировках историографического процесса, которые давно уже не выдерживали испытания на конкретно-эмпирическом уровне, к тому же обветшавшие из-за декларативно-нормативного их использования, находили подтверждения и на теоретическом уровне. Появился новый научный идеал – изучать историю науки преимущественно как процесс, саморазвивающийся в определенных социокультурных условиях.

Кроме отмеченных идей, большое значение имела для исследований И.И. Колесник и еще большее для переработки её учебных курсов по историографии историографическая концепция М.А. Барга, согласно которой историографический процесс детерминирован историческими типами исторического сознания-мышления.

И так, для второго этапа в раскрытии историографического направления на кафедре новым, представленным преимущественно трудами И.И. Колесник, было:

- преобладание историко-историографической тематики;
- ориентация на раскрытие логических структур историографического процесса;
- разработка целой системы теоретических конструкций, призванной служить и теоретико-методологическим «поворотом» по местам присутствия «историографического компонента», и рычагом

его извлечения, и терминологическим аппаратом для его описания и представления.

Основной исследовательский интерес И.И. Колесник был сосредоточен не на содержании тех или иных историографических фактов, а на самом факте их проявления, формах существования, способах и уровнях их трансляции и рецепции русской исторической наукой. При этом вводился в оборот значительный эмпирический материал, в том числе и архивного характера, сопровождавшийся и источниковедческим анализом, и источниковедческими обобщениями, в чем проявлялось значительное влияние Николая Павловича Ковальского и его школы. Но методологические ориентиры и выстроенные на их основании изучаемые методологические каркасы, внутри которых проводился анализ, на мой взгляд, проиллюстрировали, что событие историографического синтеза и в историко-историографических исследованиях возможно только лишь за счет «жертвоприношений» в сфере анализа средствами конструктивными – постановкой синтезирующих понятий в начале и конце исследования. Зазор между теоретико-методологическим и конкретным становится одним из самых уязвимых мест для состояния историографического направления на кафедре в конце 1980 – начале 1990-х гг. При этом общенавуковедческий взгляд на историческую науку и сциентистский идеал только подчеркивали указанные противоречия. Схожие явления наблюдались в сфере источниковедения в рассматриваемое время, в котором наблюдалось движение в двух все более расходящихся между собой субдискурсах «теоретического» и «прикладного» источниковедения, что является очевидным признаком дисциплинарного кризиса. Одним из путей преодоление кризиса могло быть и частично стало переосмысление историографии с позиций истории культуры или историко-культурной антропологии.

Таким образом, к началу 1990-х гг., особенно после успешной защиты И.И. Колесник докторской диссертации, на кафедре сложились предпосылки к новому этапу в сфере историографии. К сказанному ранее следует добавить, что уже со второй половины 1980-х гг. начинается пересмотр и обновление содержания учебного курса историографии. Главным результатом этих усилий было введение в структуру предмета расширенных специальных частей,

а затем и отдельной дисциплины по изучению всемирной (в европоцентристском измерении) историографии.

Воздержусь здесь от оценок роли этого фактора для студентов, но трудно переоценить его положительную роль для самих преподавателей, у которых не только в значительной степени расширялась историографическая эрудиция, но и (что еще значимее) появились свежие идеи как конкретного, так и концептуального характера относительно отечественного историографического процесса. Считаю необходимым отметить, что этот поворот был результатом коллективных усилий всей кафедры\*. Но все же содержание нового этапа определили главным образом не факторы интерналистского характера, а экстерналистского. Речь идет, конечно, о переходе к преподаванию и научному изучению украинского историографического процесса. И если в начале этого перехода кафедра пыталась придать ему органический характер и не дать себя увлечь «сиренами» от актуального идейно-политического, то вскоре в силу совокупности различных причин историография на кафедре в лице её лидера Ирины Ивановны Колесник и активно работающих её аспирантов полностью отвернулась от конкретики проблемно-тематических интересов, определявших развитие историографии на кафедре в течение предшествующих 20 лет. В подчеркивании этого факта для меня суть не в осуждении, а констатации «разрыва». Осуждение здесь бессмысленно, так как альтернативой действия оставалось только бездействие. «И кто бы тогда за всеми не повлекся?...». Объективности ради, отмечу, что профессору И.И. Колесник, а вместе с ней и всему историографическому направлению на кафедре в этом «всеобщем влечении» удалось выделяться «лица не общим выражением». И если это последнее замечание справедливо, то полагаю, что не обижу Ирину Ивановну предположением, что дело здесь не только в индивидуальном обаянии того, кто это кафедрально-историографическое лицо представляет...

В одном месте «разрыва» не произошло – «пуповина» с той «историографической культурой», которая формировалась и утверждалась на кафедре в 1970 – начала 1990-х, не была разорвана,

---

\* Если мне не изменяет память, то формально «первопроходцем» в этом направлении следует считать А.Г. Болебруха.

хотя, на мой взгляд, в некоторых местах мы её «подорвали»\*. Но я охотно покину пространство метафорических намеков, с тем, чтобы высказаться более конкретно по поводу последнего десятилетия. Некоторая парадоксальность этого этапа мне видится в том, что он относится к числу наиболее результативно-продуктивных именно в области историографии на кафедре и в то же время – несущим очевидные черты стагнации и, возможно, «тупиковости».

Результативность – на лицо. Глава самого направления в этот период, несмотря на сложнейшие материальные условия, проявила высокую интеллектуальную мобильность и энтузиазм наставника-организатора. Ей самой пришлось фактически с нулевой отметки (для себя) возводить здание украинского историографического процесса, представив его в научно-дидактической развертке и став признанным украинистом-историографом. Но не меньшее значение и резонанс имели диссертационные исследования, выполненные под её руководством. Диссертации В. Андреева, К. Колесникова, Г. Мерникова, Д. Вырского, С. Легезы, С. Айтова, В. Головко и др. при разносторонности историографической тематики и разнообразии стиля и подходов объединены присущими им всем стройностью и продуманностью методологических конструкций самого текста, открытостью современным (по нашим меркам) веяниям в гуманитаристике. Этот перечень, иллюстрирующий тезис о результативной продуктивности, можно было бы продолжить, но в этом нет необходимости, так как все эти факты хорошо известны специалистам, да, к тому же не буду забывать и об обещанном намерении избегать «юбилейной отчетности». И все же другой тезис о «стагнации и тупиковости» так же не снимается. Возьму на себя смелость утверждать, что все эти исследования не выполняют функции «толчковых» для самого направления на кафедре и для историографии в целом. Они бесспорно заметные историографические факты, с которыми нужно будет считаться, но... За этим «но...» стоит уже повторение сказанного. Их результаты крайне необходимы нам сейчас, однако преимущественно для

---

\* Если оставаться в пределах «акушерско-медицинской» терминологии, то «подрыв пуповины» проявил себя в том, что на направление стало распространяться «неоидеологическая грыжа», которая так заметна на теле современной исторической науки и образования.

решения задач студенческо-преподавательско-просветительских. Они способствуют разработке современной «грамматики историографии истории Украины». Прилагательное «современной» точнее было бы заменить на «сегодняшней», так как потенциал для «завтрашнего» у этих «грамматических конструкций», кажется, невелик. И для меня, как посмевшего высказаться столь радикально о сделанном, главное состоит не в этих оценках, а в попытках выявления причин.

Первая из них связана непосредственно с нами – специализирующимися в области историографии на кафедре. Осуществив указанный поворот, мы всю нашу интеллектуальную энергию вынуждено направили на «школьярское» освоение преимущественно незнакомого материала. При этом императив «действия» заставил опереться на «технику» (культуру) и редуцировать новой генерации элементы этой «техники» фактически вне её идейно-культурного контекста. Вместе с тем, та теоретико-методологическая проблематика, актуальность которой вырисовывалась перед нами, в конце 1980 – начале 1990-х гг. утратила свою актуальность в ходе осуществленного поворота, так как главными становились задачи, типологически соответствующие во многом состоянию историографии в период создания кафедры.

Во-вторых, отмеченные уже мною признаки кризиса в конце второго этапа имели не только личностно-кафедральные основания, но и выражали собой «дисциплинарный перегрев» «историографии» в системе советской исторической науки. Особенно он стал резко ощущаться в связи с коррозией модерных сциентистских идеалов относительно истории. И сама эта область исторического познания стала восприниматься, с одной стороны, как универсальный «метод» исторического познания\*, с другой, как часть истории культуры. И в этой связи уместно напомнить, что проф. И.И. Колесник с начала 1990-х гг. все далее отодвигалась в своих теоретических размышлениях по поводу сути историографии от «сциентистского» образа в сторону культурологического.

В-третьих, в условиях реакций на так называемый «постмодернистский вызов» стало вдруг обнаруживаться некоторая

---

\* Идея, нашедшая свое радикальное выражение в методологических формулах проф. В.В. Подгаецкого, в который современная историческая наука представлена в «источниковедческо-историографической парадигме».

близость между тем, что мы понимаем под «историографией», и судьбой исторического познания в постмодерной перспективе. С психо-интеллектуальной точки зрения к концу 1980 – началу 1990-х гг. на кафедре и факультете складывались условия для того, чтобы то, к чему приходила генерация Колесник – Подгаецкого, в качестве вывода-результата стало «посылкой» для нового поколения, но упомянутый уже неоднократно разрыв не позволил придать этому процессу характер «научного дискурса». Без осознания этого факта нам будет трудно понять феномен Владимира Владимировича Ващенко, который при его очевидном своеобразии на общем фоне содеянного под знаком фирмы нашей кафедры представляется движением в одном из направлений, контуры которого были намечены уже ранее\*.

В названии доклада присутствует слово «перспективы». Велик соблазн забыть об этом обещании, ибо памятую, что «нет пророков в своем отечестве», а так же все больше утрачиваю иллюзию молодости по поводу регулятивно-прогностической функции историографии, а уж тем более «отдельно взятых историографов». Но еще больше искушение приоткрыть дверь и заглянуть в наступающее четвертое десятилетие, завершив эту попытку обзора прошедших трех очерчиванием оптимистической перспективы. И без всякой иронии замечу, что оптимистически оцениваю наше ближайшее будущее, – в нем будут превалировать преимущественно высокие оценки того, что было сделано кафедрой вообще и в области историографии в частности за первые тридцать лет её существования. Дальнейшее же движение научной мысли на кафедре в области историографии видится в следующий направлениях: проблемно-историографическом с тенденцией все большей устремленности исследований подобного рода в сторону изучения конкретно-исторической проблематики средствами историографии (например, выполняемая докторская диссертация М.А. Руднева); предполагается, по всей видимости, рост интереса к историографическим сюжетам со стороны наших археологов-этнологов (возможно, не от «хорошей

---

\* Считаю необходимым здесь отмежеваться от возможного обнаружения реминисценций с рецензией В.В. Харченко (См.: Харченко В.В. Три кроки вбік у правильному напрямку // ДІАЗ. – Д., 2001. – Вип. 2. – С. 647 – 667), так как далек от прямолинейно-оценочного: «правильний напрямок», «три кроки вбік».

жизни»); увлеченность проблемами методологии со стороны наших «клиометристов» приводит их к необходимости в себе погружаться в проблемы истории науки, и будем надеяться, что в историко-научных размышлениях они не забудут о том, что историческое познание пусть не очень «старая наука», но зато почтеннейшая по возрасту «эпистемологическая субкультура». Определенные перспективы видятся в изучении истории специальных исторических дисциплин, что было бы как логическим продолжением интеграции на кафедре историографии и источниковедения, так и исследований творчества А.М. Лазаревского В.И. Вороновым. Несколько проблематичной выглядит возможность продолжения исследований в русле «феномен историографии – феномен историка». Общая психо-интеллектуальная ситуация в социуме днепропетровских историков, к сожалению, может способствовать её дальнейшей маргинализации. Это тем более обидно, так как она, на мой взгляд, и есть путь удержания особой дисциплинарной физиономии историографии.

С точки зрения кадровых перспектив, судьба историографии на факультету в ближайшей перспективе зависит от успехов научной социализации таких днепропетровских историков, как: О.И. Журба, В.А. Василенко, В.В. Ващенко, М.А. Руднев, В.И. Воронов и, возможно, некоторых других. Но более отдаленная перспектива настораживает, так как на лицо резкое падение историографической культуры наших студентов, выявление причин которого требует специальных размышлений.

Опасаюсь, что как самостоятельный региональный центр в области историографии нам не просто будет поддерживать себя не на провинциальном уровне. Поэтому представляется необходимым изыскания возможностей для более оживленных контактов в области историографии с нашими отечественными и зарубежными коллегами, в том числе путем кооперации в реализации научных проектов, например, с Харьковским и Одесским университетами.

## РЕЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ВОЗЗРЕНИЙ И.Д. КОВАЛЬЧЕНКО В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ\*

К большому сожалению, после Третьих чтений памяти И.Д. Ковальченко из жизни ушли такие замечательные днепропетровские ученые как Н.П. Ковальский (1929 – 2006) и В.В. Подгаецкий (1951 – 2004), которые имели, конечно, больше оснований рассуждать на заявленную тему. При жизни им неоднократно доводилось изустно и в печати представлять свое видение Ивана Дмитриевича во всех ипостасях его образа: ученого-исследователя, организатора науки и образования, университетского преподавателя, теоретика-мыслителя, требовательного и вместе с тем внимательного коллеги<sup>1</sup>. Поэтому наше обращение к имени выдающегося ученого приобретает еще и дополнительный интимный смысл как дань уважения и признательности и этим нашим землякам. Возможно, благодаря именно их усилиям в последние годы, по нашим наблюдениям, в профессиональной среде днепропетровских историков проявляется интересная тенденция все большей мемориализации имени И.Д. Ковальченко. И в этом днепропетровском «мемориале» его образ приобретает черты ученого, эпиграфом, к биографии которого уже уместным могли бы быть хрестоматийные строки: «Да, были люди в наше время...» И что характерно они не вызывают возражение у представителей поросли другого времени, даже позиционирующих себя с «постмодерном».

Поэтому нашу задачу мы видим в попытке реконструкции образа, позволим себе так выразиться, «днепропетровского И.Д. Ковальченко», мемуарно-исследовательскими средствами и на материалах истории кафедры историографии и источниковедения нашего университета. В тоже время, мы далеки от претензий, что тем самым вносим существенный вклад в биоисториографию академика И.Д. Ковальченко, но рассчитываем, что через заявленную тему сможем выйти на некоторые дополнительные представления о функционировании исторической науки в коммуникационном

---

\* Напечатано: Идеи академика И.Д. Ковальченко в XXI веке: Материалы IV Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. – М., 2009. – С. 251 – 259 (соавтор О.И. Журба).

пространстве историографии и источниковедения позднего советского времени.

Всю мыслимую систему научных коммуникаций по линии И.Д. Ковальченко – Днепропетровский университет схематично можно представить в трех основных типах:

– первый уровень опосредованного типа коммуникации – в связи с его ролью одного из лидеров советской исторической науки в сфере источниковедения и историографии.

– второй уровень опосредованного типа коммуникации – через его коллег и учеников из МГУ.

– третий, прямой тип коммуникации – непосредственное организационное и интеллектуальное влияние самого ученого на деятельность кафедры историографии и источниковедения ДГУ и её отдельных представителей.

В начале 1970-х гг., ко времени организационного оформления источниковедения как особого научного и педагогического направления на истфаке ДГУ, уже сформировалась традиция изучения аграрной истории Украины XIX – начала XX ст., фундатором которой был известный советский историк-аграрий, профессор Дмитрий Павлович Пойда (1908 – 1992)<sup>2</sup>. Так как его исследования преимущественно были связаны с социально-экономическими процессами в украинском селе и крестьянскими движениями в предреформенную эпоху, то, несомненно, осуществлялась стыковка его исследовательских интересов с основной проблематикой уже к тому времени авторитетного специалиста И.Д. Ковальченко.

На этапе формирования кафедры историографии и источниковедения в нашем университете<sup>3</sup> необходимость её создания аргументировалась не только внутренними предпосылками, но и прецедентными обоснованиями, среди которых кафедра источниковедения МГУ – первенец подобных университетских структур, – и её последователь на Украине – кафедра историографии и источниковедения Харьковского университета – оказали огромное позитивное влияние на всех уровнях. К тому же, тот факт, что ДГУ в то время находился в непосредственном подчинении союзного министерства, несмотря на отсутствие в нашем распоряжении документальных подтверждений, дает основание предполагать, что без поддержки от кафедры, возглавляемой И.Д. Ковальченко,

возникновение днепропетровского «клона» вряд ли было бы возможно.

Фактически, создание кафедры совпало по времени с выходом первого издания учебника по источниковедению истории СССР, подготовленного под руководством Ивана Дмитриевича, который вместе с нормативной «Программой по курсу источниковедения истории СССР» сыграл решающую роль в изменениях парадигмального характера источниковедческих взглядов отцов-основателей кафедры, среди которых источниковедческое направление тогда представляли первый заведующий профессор В.Я. Борщевский (1910 – 1989) и еще доцент Н.П. Ковальский, возглавлявший кафедру с 1978 по 1994 гг.

Относительно сущности их «доковальченковских» воззрений на источниковедение, которые требуют специальных изучений, рискнем представить их несколькими штрихами.

Валентин Яковлевич, зарекомендовавший себя как специалист по истории Октябрьской революции на Украине и, взявший к тому времени курс на изучение источниковедения истории советского общества, как в научном, так и в дидактическом аспектах, был представителем той генерации советских историков, которые относились к историографии и источниковедению с почтением, но утилитарно-прагматически<sup>4</sup>.

Николай Павлович же, в самом начале своего научно-исследовательского пути стал на источниковедческие рельсы<sup>5</sup>, и, добавим, не сходил с них на протяжении всей своей деятельности. Но, до конца 60-х – начала 70-х гг., насколько нам удается судить, его теоретические представления об источниковедении в основном базировались на тихомировской источниковедческой парадигме (описательное источниковедение: «источники о...»), почерпнутые, прежде всего из двух изданий авторского учебника знаменитого академика. Правда, с выходом в 1969 г. сборника «Источниковедение. Теоретические и методические проблемы», начинается радикальное изменение в его понимании источниковедения. В этой связи уместно отметить, что упомянутый сборник Николай Павлович, в буквальном смысле этого слова, штудировал с присущей для него основательностью и тщательностью. И хотя бы поэтому, не мог пройти мимо знаковой статьи И.Д. Ковальченко<sup>6</sup>, опубликованной в этом сборнике. Несколько забегая вперед, подчеркнем, символичность того, что проблематика, поставленная и развитая

в данной статье-докладе, впоследствии будет положена в основу формирования нового направления на кафедре, возглавляемой Н.П. Ковальским, при непосредственном влиянии, участии, всесторонней помощи как самого академика так и плеяды его замечательных учеников во главе с Леонидом Иосифовичем Бородкиным.

Но, так как речь идет об университетской науке, то роль дидактического компонента и в этом случае нам представляется более значимой, чем собственно научно-исследовательского. Поэтому учебнику под редакцией И.Д. Ковальченко суждено было сыграть, повторимся, подлинно парадигмальную роль в формировании и традиций преподавания источниковедения в ДГУ, и в развитии научных исследований, представленных школой Н.П. Ковальского и аспирантами В.Я. Борщевского.

Однако, все же на этом этапе уместнее говорить об опосредованном влиянии И.Д. Ковальченко. Правда, уже в 1970-е годы наблюдается ориентация на согласование некоторых диссертационных тем исследования на кафедре непосредственно с Иваном Дмитриевичем. Так, например, со слов безвременно ушедшего Виктора Ивановича Шевцова (1940 – 1981) тема о научной деятельности Н.И. Надеждина была им устно согласована с ним, что обеспечило абсолютно безболезненное прохождение через кафедральные и факультетские инстанции процедуры утверждения.

Как известно из биографий 70-е – начало 80-х гг. был периодом утверждения тогда еще член-корреспондента АН СССР профессора И.Д. Ковальченко в качестве одного из ведущих ученых-исследователей и организаторов советской исторической науки. В этот же отрезок времени происходит становление и рост авторитета кафедры историографии и источниковедения ДГУ и её лидера с 1978 г. Николая Павловича Ковальского. Патронимическое созвучие для тех, кто придает значение магии личных имен, может служить прекрасным материалом для подтверждения их убеждений. Мы ж крайне далеки не только от подобных представлений, но и попыток соизмерения этих двух знаковых фигур отечественного источниковедения. Фигуры знаковые, но, подчеркиваем, неравнозначимые. При этом не можем все таки удержаться от выражения убежденности в том, что в днепропетровских и даже в украинских масштабах роль Н.П. была ничуть не меньше, чем роль И.Д. в московских. Однако,

возрастающая в эти годы роль Н.П. Ковальского, среди прочих причин, во многом объясняется осуществляемой им и под его руководством перекодировкой и переориентацией нашей кафедры на интеллектуально-организационную волну кафедры источниковедения МГУ, ведомую профессором И.Д. Ковалченко.

Оставаясь в русле заявленной проблемы научных коммуникаций позднего советского времени, отметим, что огромную роль в их налаживании и эффективном функционировании, на наш взгляд, играли Всесоюзные конференции по отдельным областям исторического знания, приобретшие регулярный характер; они не только претендовали, но и выполняли роль координатора и организатора научных исследований и вузовского профессионального образования.

Насколько нам известно, И.Д. Ковалченко был непосредственно причастен как академик-секретарь Отделения истории АН СССР к их проведению по различным областям исторического знания. Но в данном случае особое значение имела его роль идеолога, организатора и непосредственного участника Всесоюзных конференций по источниковедению и аналогичных форумов по историографии.

Свидетельствуем, что после конференции в Новороссийске (1979), участвовавшие в ней от нашей кафедры В.Я. Борщевский и Н.П. Ковальский, по возвращению были переполнены яркими позитивными впечатлениями, среди которых наиболее запомнившимся было появление представлений об источниковедении как информологической научной дисциплине. Здесь уже есть все основания говорить о непосредственном влиянии И.Д. Ковалченко, который именно в этот период перешел к осмыслиению феномена исторического источника под углом зрения теории информации<sup>7</sup>. Убеждены, что без непосредственного, личностного контакта в конференциальных формах только лишь посредством текстовым, уровень восприятия ковальченковских идей нашими старшими коллегами был бы намного ниже. Эта наша убежденность сформировалась под влиянием собственных наблюдений во время следующей IV Всесоюзной конференции по источниковедению, которая состоялась уже в родном Днепропетровске на базе нашего университета в 1983 г. и стала для, по крайней мере, её днепропетровских участников, одним из выдающихся событий в их научной биографии, а для последующих генераций – легендой.

К нашему общему удовольствию эти же впечатления сохранились в памяти не только днепропетровцев, о чем свидетельствуют и личные беседы с участниками этого события с других «городов и весей» нашей некогда необъятной родины, и официальные выступления, к примеру, Татьяны Александровны Кругловой на II Всеукраинских чтениях, посвященных памяти Николая Павловича Ковальского (Днепропетровск, март 2008 г.).

Именно на IV Всесоюзной конференции, собравшей весь цвет тогдашней советской исторической науки<sup>8</sup>, на пленарном заседании особенно запечатлелась в памяти короткая, но содержательная дискуссия о природе исторического источника между С.О. Шмидтом и И.Д. Ковальченко, во время которой, последний, задал докладчику вопрос (цитируем по памяти): «Сигурд Оттович, и все таки, что ты понимаешь под историческим источником?». Последовал, ставший хрестоматийным для днепропетровских студентов и аспирантов ответ: «Всё то, что источает историческую информацию». На что вопрошивший изумленно и сокрушенно, красноречиво развел руками. Постфактум, признаемся, что тогда, нам казалось, что «правда» на стороне Сигурда Оттвича, но жест И.Д. Ковальченко впоследствии стал «звучать» убедительнее афоризма<sup>9</sup>. Вот почему мы и убеждены, что на Новороссийской конференции слова и жесты И.Д. Ковальченко обладали тем же самым магическим воздействием на наших отцов-основателей.

К сожалению, на днепропетровской конференции не сумел, по семейным обстоятельствам присутствовать Н.П. Ковальский, который был инициатором и мотором её подготовки и автором одного из значимых пленарных докладов. Поэтому он был лишен возможности непосредственных контактов, но, беремся утверждать, что уже тогда, «воздействие» И.Д. Ковальченко приобретало характер «взаимодействия» с кафедрой историографии и источниковедения ДГУ, которая, с полным основанием, во внешнем мире ассоциировалась с именем Н.П. Ковальского. Об этом свидетельствует самая простая хроника последующих событий. Среди них наиболее «событийные»: прохождение докторской диссертации Н.П. Ковальского через кафедру источниковедения МГУ и её успешная защита в Специализированном совете МГУ, курсы лекций, прочитанные на истфаке ДГУ Леонидом Иосифовичем Бородкиным, заложившим тем самым основы клиометрического направления на нашей кафедре и обратившего

в «клиометрическую веру» Виталия Васильевича Подгаецкого, через которого при непосредственном участии Л.И. Бородкина с московскими коллегами прошли посвящение в клиометристы ученики Н.П. Ковальского и В.В. Подгаецкого. В зоне этого взаимодействия оказались не только собственно источниковеды, но и «историографы».

Роль И.Д. Ковальченко в дисциплинарном пространстве историографии как особой отрасли исторического знания сейчас кажется менее заметной, нежели в источниковедении. Однако, после смерти А.М. Сахарова, В.Е. Иллерицкого, М.В. Нечкиной И.Д. Ковальченко стал не только формальным лидером советских историографов, но и одним из действенных организаторов и идеологов (в научном смысле). Еще в конце 70-х – начале 80-х гг. после выхода в свет монографии о Н.А. Полевом как историке А.Е. Шикло (воспитанницы школы И.Д. Ковальченко) усилилось взаимодействие в сфере историографии между нашими кафедрами, приобретшее самые разнообразные формы и имевшие интенсивный характер. Говоря о научном влиянии И.Д. Ковальченко на наших историографов (В.И. Шевцов, А.Г. Болебрух, И.И. Колесник и др.), то наряду с организационным и общеметодологическим, следует отметить особую роль его статьи, написанной в соавторстве с А.Е. Шикло «Кризис буржуазной исторической науки» 1982 г., которая давала «легитимные основания» для изучения историографического процесса под углом зрения общенавуковедческих подходов и применения впоследствии куновской категории «парадигма» как историко-научной метафоры. Добавим к сказанному, что в 80-е гг. в историографическом сегменте нашей кафедры доминировали идейно близкие И.Д. Ковальченко сциентистские образы историографии и источниковедения. Правда, впоследствии, в сфере историографии наметился поворот в сторону культурологического образа. Источниковеды же внимательно присматриваясь к культурологическому толкованию источниковедения О.М. Медушевской и её последователями, все же остались верны сциентистским идеалам.

Из упомянутой выше хроники особое внимание следует уделить защите докторской диссертации Н.П. Ковальского<sup>10</sup>. Фактографическая сторона этого события с достаточной степенью полноты отражена в воспоминаниях самого диссертанта<sup>11</sup> и, на наш взгляд, к сожалению, извращена в интерпретации его ученика профессора Ю.А. Мыцыка<sup>12</sup>.

С нашей точки зрения, обсуждение и защиту диссертации в МГУ следует рассматривать не только как важный биографический, но и историографический факт. И роль этого факта не только в том, что получило признание одно из самых значимых исследований в области источниковедения истории Украины, но и в продолжившемся на нашей кафедре расширении представлений о сущности источниковедческих исследований. Замечания, которые были высказаны Николаю Павловичу при первом обсуждении его диссертации, заставившие его подвергнуть исследование значительной переработке, конечно же, были неприятны для него, так как он понимал, что уже сделанное им несомненно «тянет» на, может быть, не одну докторскую и вполне отвечает идеалам традиционного источниковедческого исследования, внося в него, к тому же, значительные инновационные элементы. Однако, И.Д. Ковальченко и его коллеги (насколько нам удается судить, прежде всего, Л.В. Милов) «предложили» Н.П. Ковальскому в специальном разделе продемонстрировать конкретную репрезентативность информационного потенциала реконструированного диссертантом массива источников. И если отбросить в сторону так называемую социальную справедливость, то само это предложение отражало стремление источниковедов масштаба И.Д. Ковальченко воспрепятствовать все более проявляющейся тенденции разрывов между источниковедческими и конкретноисторическими исследованиями. И это стремление было учтено не только в новом, блестяще защищенном варианте диссертации, но и в последующих диссертационных исследованиях наших кафедралов В.В. Подгаецкого, Ю.А. Святца, В.Ю. Дмитриевой уже и под влиянием Н.П. Ковальского.

Наряду с защитой докторской диссертации нашего заведующего в 1984 г., особо следует остановиться на стажировках преподавателей кафедры в МГУ, которые имели регулярный характер с середины 80-х до начала 90-х гг. включительно. Без них вряд ли могло произойти становление, например, В.В. Подгаецкого как признанного ученого-источниковеда, методолога-клиометриста. Примечательно, что в ходе стажировок кафедралы выступали не только в потребительской роли, но и, по мере возможности, старались вернуть «долги». Так, например, во время одной из стажировок профессора Н.П. Ковальского, он прочитал спецкурс по источниковедению истории Украины студентам истфака МГУ. По его устным воспоминаниям, занятия проходили

в огромной конференциальной аудитории, ради подготовки к спецкурсу дочери передали ему в Москву значительное количество редких книг из личной библиотеки и часть его исследовательского и преподавательского архива. Несомненно, в этом было проявление высокого доверия и признания со стороны, в первую очередь, И.Д. Ковальченко.

В ходе стажировки на стадии завершения докторской диссертации И.И. Колесник, Иваном Дмитриевичем было предложено ей выступить с научным докладом на семинаре кафедры, в котором, она имела возможность представить на обсуждение разработанную ею концепцию исследования зарождения историографических знаний и историографии как научной дисциплины в России. Таким образом, осуществлялась не только значимая апробация, но и не менее значимая, как нам кажется, трансляция идей, взглядов, возврений уже в реверсном направлении ДГУ – МГУ.

Несомненно, памятны для проходивших стажировку участников пятничных семинаров в лаборатории, возглавляемой Л.И. Бородкиным, в которых создавались широкие возможности интеллектуального общения представителей школы И.Д. Ковальченко с прямыми и побочными «отпрысками» школы Н.П. Ковальского. Некоторые выступления на этих семинарах затем превращались в статьи, которые публиковались в информационных бюллетенях Ассоциации «История и компьютер» и в других изданиях.

Говоря о непосредственном влиянии на стажирующихся И.Д. Ковальченко, нельзя не упомянуть прослушивание его спецкурса: «Методы исторического исследования», который, несмотря на уже существующую возможность ознакомления с его содержанием через одноименную монографию, оказывал на нас огромное влияние, не скроем, иногда возбуждая потребность в полемике, которая удовлетворялась через прямое общение с лектором, преимущественно в формах вопросов и ответов.

\* \* \*

Современные постмодернистски ориентированные историки не без оснований склонны рассуждать об историках как творцах истории. Авторы этих заметок готовы с определенными оговорками принять этот тезис. Но испытывают сомнения в своей значимой творческой роли в тех политических процессах начала 90-х гг., которые привели

к известным результатам. И в контексте темы данных заметок, мы, несомненно, испытываем разнообразные ностальгические чувства и ощущаем нехватку тех коммуникационных возможностей, которые были результатом творчества таких историков как Иван Дмитриевич Ковальченко.

И в завершение на алтарь памяти выдающегося ученого хочется возложить еще одно воспоминание. Одному из нас, довелось принимать участие в историографической конференции в Сыктывкаре во время «торжества идей перестройки», среди которых насильтственные методы разрешения общественных проблем в историческом процессе подвергалась уничтожающей критике. Насколько помнится, в ходе конференции Иван Дмитриевич вступил в дискуссию с Афанасьевско-Сироткинскими концепциями, высказав мысль о том, что недооценка объективности, органичности в истории фактора насилия, неизбежно приводит к «порче» исследовательской оптики. И тогда, осознавая несомненную справедливость этой мысли, вместе с тем не готов был её принять, так как находился в плену идеи «ненасильственного разрушения Карфагена». Прошли годы... И из всех тогдашних высказываний запечатлелась только мысль Ивана Дмитриевича, как и его жест на днепропетровской конференции.

## ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> См. напр.: *Ковальский Н.П.* Раздумья украинского источниковеда о светлой памяти академика Ивана Дмитриевича Ковальченко – человеке, ученом, организаторе науки // История и компьютер. – М., 1996. – № 18. – С. 182 – 194; *Подгаецкий В.В.* Парадигма «система – модель – знак» в познавательном пространстве аксиомы И.Д. Ковальченко // Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. – М., 1997. – С. 243 – 252; *Он же.* Нотатки щодо історії появи кліometрики на теренах істфаку ДНУ // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: історіографія та джерелознавство в часовому вимірі: Міжвуз. зб. наук. праць. – Д., 2003. – С. 18 – 26.

<sup>2</sup> *Пойда Д.П.* К вопросу о подготовке и ходе реформы 1861 г. В Екатеринославской губернии // Научные записки ДГУ. – Т. 42: Сборник работ исторического отделения историко-филологического факультета. – К., 1953. – Вып.2. – С. 85 – 106.; *Он же.* Крестьянское движение на Правобережной Украине в пореформенный период (1866 – 1900). – Д., 1960. – 488 с.; *Липовская Т.Д.* Антикрепостническое движение на Левобережной Украине в 40–50-е гг. XIX в. – Д., 1982; *Она же.* Социально-экономическое положение военных поселен на Украине (1817 – 1857 гг.). – Д., 1982; *Попова Р.С.* Социально-экономическое положение и классовая борьба помещичьих крестьян Юга Украины (1841 – 1860 гг.). – Д., 1986.

<sup>3</sup> Кафедра начала функционировать с декабря 1972 года.

<sup>4</sup> Чернов Е.А. Ретроспектива и перспективы историографии // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Історіографія та джерелознавство в часовому вимірі: Міжвузівський збірник наук. праць. – Д., 2003. – С. 28 – 29.

<sup>5</sup> Ковальський Н.П. Связи западноукраинских земель с Русским государством (вторая половина XVI – XVII в. // Автореф. дис... канд. истор. наук. – Львов, 1958. – 16 с.

<sup>6</sup> Ковальченко И.Д. О применении математико-статистических методов в исторических исследованиях // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. – М., 1969. – С. 115 – 133.

<sup>7</sup> Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации // Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции. Новороссийск, 1979. – М., 1979. – С. 31 – 46.

Позволим себе небольшой комментарий. С точки зрения историографии источниковедения это был один из поворотных моментов парадигмального характера в развитии теоретического источниковедения, нашедшее свое уже более полное воплощение в последующих теоретико-методологических трудах И.Д., синтезированных в середине 80-х гг. в его ставшей классической монографии «Методы исторического исследования». К сказанному добавим, что возможность впоследствии дисциплинарной трансформации от количественных методов в исторических исследованиях через клиометрику к исторической информатике в рамках отечественной историографической традиции в значительной степени подготовлена была именно этим поворотом.

<sup>8</sup> От одного перечисления сегодня уже легендарных имен захватывает дух – И.Д. Ковальченко, С.О. Шмидт, А.Я. Гуревич, Н.Я. Эйдельман, Л.Н. Пушкирев, Б.Г. Литвак, Л.В. Милов, А.Г. Тартаковский, О.М. Медушевская, В.З. Дробижев, А.Г. Соколов, В.И. Корецкий, Г.В. Вилинбахов, В.А. Кучкин, В.Б. Кобрин, М.А. Варшавчик, Н.П. Ковальский и др. Не говоря уже о тех, участниках, которые в тот момент рассматривались как «подающие надежды», среди них особенно отметим участников секции «Количественные методы в источниковедении», представленных, по преимуществу непосредственно «птенцами гнезда И.Д. Ковальченко».

<sup>9</sup> О докладе И.Д. Ковальченко на днепропетровской конференции см.: Ковальский Н.П. Раздумья украинского источниковеда...

<sup>10</sup> Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVI – первой половины XVII: Автореф. дис... д-ра ист. наук. – М., 1984. – 35 с.

<sup>11</sup> Ковальский Н.П. Раздумья украинского источниковеда... С. 184 – 186.

<sup>12</sup> Мицук Ю.А. Микола Ковальський (до 70-річчя з дня народження) // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 11 – 12.



# 3MICT



## ЗМІСТ

## ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

ЛІТВИНОВА Т.Ф., ЖУРБА О.І. От редколлегии	6
---	---

## ЮВІЛЯРУ

ПОСОХОВ С.І. Рассуждение по поводу и без повода	16
БЕЛКИН Д. Евгений Чернов за границей	19
ЛІТВИНОВА Т.Ф. Человеку, спящему на бильярдном столе (Шаг к формированию историографического образа Е.А. Чернова)	21

**РОЗДІЛ 1**  
**«НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НАДЕЖДИН...»**  
**(НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ)**

Историографические воззрения Н.И. Надеждина	26
К вопросу об источниках по истории русской социально-экономической мысли 30-х годов XIX века	43
Об отношении Н.И. Надеждина к первому «Философическому письму» П.Я. Чаадаева	48
Эпистолярное наследие Н.И. Надеждина	56

**РОЗДІЛ 2**  
**ПРОБЛЕМЫ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИИ**

О начале времени URBIS	68
Еще раз о начале времени URBIS (датировка начала Города как проблема исторической урбанистики)	72
Открытое письмо доктору исторических наук Виктору Брехуненко	86
Региональная история: опыт теоретической интерпретации	102
Региональная история и историософия	115

## РОЗДІЛ 3

### ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Проблема применения количественных методов при изучении авторских стилей в нарративных источниках по отечественной истории (к историографии проблемы)	126
Структура методологической подготовки студента-историка	138
Историографический образ: опыт расширения методологического арсенала науки истории исторического познания	147
Функція історіографії в сучасному пізнавальному просторі	155
Куновская история науки: «мир природы», или «мир истории»?	165

## РОЗДІЛ 4

### ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭССЕ

Несправедливость ли? (полемические заметки) [Январь 1989 г.]	170
Особенности историографических публикаций в 80–90-е годы XIX века (по материалам журнала «Историографический вестник» за 1880 – 1899 годы)	187
Рецензия на кн.: Чистякова Е.В., Богданов А.П. Да будет потомкам явлено... Очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах	199
Петроградские ученые и ссылка М.С. Грушевского во время первой мировой войны	205
М.П. Миклашевский: до історії соціальної еліти Півдня України початку XIX ст.	210
Роздуми про прочитане в стилі «A propo», або спроба доброзичливого памфлету (з приводу монографії: Миллер А.И. «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.)»)	216
«Письмо позвало в дорогу»: Опыт несостоявшейся рецензии	235
Ще раз про академічну культуру	247
«Извозчики» русской историографии XVIII – XIX вв., или роль географического фактора в концепциях истории России	251

## РОЗДІЛ 5

КАФЕДРА ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ  
И ЕЁ ОБИТАТЕЛИ

Н.П. Ковальский: О времени и о себе	258
Микола Павлович Ковальський: матеріали до бібліографії	275
К 60-летию доктора исторических наук, профессора Анатолия Григорьевича Болебруха	278
Ретроспектива и перспективы историографии	281
Рецепция личности и воззрений И.Д. Ковальченко в Днепропетровском университете	300

Наукове видання

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
ІСТОРИКО-АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК**

Головний редактор – *O.I. Журба*  
Верстка та дизайн – *Л.Ю. Жеребцова*

Формат 60x84x16  
Папір офсетний. Гарнітура Times. Друк офсетний  
Умовн.друк.арк. 18,37. Наклад 40 прим. Зам. № 319

Видавництво і друкарня «Ліра»  
тел.: (056) 721-92-60, 721-92-63  
49010, м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 25/57  
Свідоцтво про внесення до Держреєстру  
ДК № 188 від 19.09.2000.

